

№ 2

2007

КАЗАХСТАНСКИЙ ЛИТЕРАТУРНО-ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ
И ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ



Издаётся с 1991 года.

Выходит ежемесячно.

Главный редактор В. Р. ГУНДАРЕВ

Редакционный совет:

Р. К. БЕГЕМБЕТОВА (зам. главного редактора), **Ю. В. ГРУНИН** (г. Жезказган), **Э. Г. ДЖИЛКИБАЕВ** (г. Алматы), **Н. Н. ЖОРОВ** (г. Уральск), **В. Г. КОЧЕНОВ** (г. Астана), **Г. К. КУДАЙБЕРГЕНОВ** (г. Астана), **И. М. ЛАМОНОВ** (г. Астана), **В. Ф. МИХАЙЛОВ** (г. Алматы), **Ю. Д. ПОМИНОВ** (г. Павлодар), **А. У. САНДЫБАЙ** (первый зам. главного редактора), **И. Б. ТЕТЕРИНА** (г. Астана), **А. М. ШВЫДКО** (г. Алматы), **В. Г. ШЕСТЕРИКОВ** (г. Петропавловск).

В номере:

Проза

Л. Костевич. «Графиня, я стрелялся на дуэли». <i>Повесть</i>	3
Г. Пуссеп. Семь рассказов	64
М. Конуров. Иргиз. <i>Рассказ</i>	92

Поэзия

Г. Пуссеп. «Я ощутил себя частицей мира...». <i>Стихи</i>	56
О. Олгерт. «Поэзия — река души, моя религия...». <i>Стихи</i>	82
А. Ашим. «Мне помнятся минуты первой встречи...». <i>Стихи</i>	99

Документальная проза

Б. Самсонов. Мечтатель. <i>Повесть</i>	102
---	-----

Культура. Общество. Личность

- Р. Артемьева.** Три имени судьбой соединив... 122
- Т. Сыздыков.** Время «канатоходцев»! *Размышления о демократии, путях её становления и о политиках новой формации* 135
- В. Коченов.** Литературные встречи в Белокаменной 149
- Я. Абдеева.** Диалоги с Будущим Арсения Шаудера 156
-

Летопись Евразии

Точка зрения

- В. Дегтярёв.** Имя дома твоего. 161
-

Критика и литературоведение

- П. Поминов.** «Любил и жил по совести, как мог...» 168
-

Искусство

- Н. Курпякова.** В объективе — состояние души 170
-

В семейном кругу

- С. Муканов.** Непридуманные истории 172
-

На житейских перекрёстках

- Б. Щербаков.** В час Луны. Мелодии старой домбры 183
-

Изоальбом «Нивы»: из работ Генриха Куприянова.

На первой странице обложки: «Зимний пейзаж», на четвёртой — «Ответ К. Малевичу».



Леон КОСТЕВИЧ

“Графиня, я стрелялся на дуэли”

Повесть

Машина скучала у обочины. Мигала аварийной сигнализацией.

Человек сложил руки на руле, лёг на них лбом. С закрытыми глазами слушал, как по крыше “Ситроена” стучит дождь. Боковое зеркало отражало вывеску: “Bistro”. В таких декорациях его могли звать, к примеру, Тьерри. Допустим, Лакро. На самом деле человека в машине звали Матвей. Вывеска и “Ситроен” сохранялись. Этого добра у нас сегодня — на каждом шагу. Автомобиль — маленький, старый, выпущенный много лет назад. Шестаков купил его за какие-то смехотворные, накопленные, на занятые деньги.

Болела левая часть головы. Хотелось вывалиться из машины и расколотить черепную коробку об асфальт. Тошнило. Так повторялось время от времени. Начиналось с того, что внезапно исчезали фрагменты предметов, как бывает, если сначала посмотреть на солнце. Тогда Матвей закрывал глаза и ему казалось — под нижним веком сидит мотылёк с трепещущими крылышками.

Вчерашний абитуриент, на первую пару он опаздывал: часы на панели приборов показывали восемь ноль четыре.

Сзади сигналили, объезжали. “Дворники” смахивали со стекла облепиху светофора. Внутри стоял тяжёлый запах мокрой одежды.

Прежде чем войти, Шестаков постучал. На всех повернувшихся к нему лицах одновременно появилось удивление возрастом опоздавшего. Вернее — немолодостью. Худощавый парень, выделенный Матвеем из общей массы ещё на вступительных экзаменах, картаво отреагировал: “Вы ошиблись, товарищ, школа рабочей молодёжи — через дорогу”.



**Леон
КОСТЕВИЧ**

родился в 1968 году в Грозном. Трёх лет был привезён родителями в Алма-Ату. Окончил педагогический институт (КазПИ). Два года работал учителем русского языка и литературы в школе. Писать начал 12 лет назад. Повести Л. Костевича печатал журнал “Простор”. В “Ниве” выступал впервые.



Обычно так изображают акцент плохие рассказчики еврейских анекдотов. Все заржали.

Красиво постаревшая женщина на возвышении у доски сделала в направлении двери лёгкое движение подбородком: “Кто опаздывает?”. Шестаков отрекомендовался. Преподавательница кивком разрешила пройти. Взяла мел. До этого она уже вывела на обитой зелёным линолеумом доске: “Введение в языкознание”. Стала писать дальше. Мел скользил и крошился. Слова читались плохо.

Стараясь не привлекать лишнего внимания, Матвей сел на ближайшее свободное место. Некоторое время он не сообщался с окружающим миром. Прислушивался к головной боли. Восстанавливал нервные клетки, разрушенные плохой погодой, дёрганьем в пробке и реакцией сокурсников. Недавно он прочитал, что клетки всё-таки восстанавливаются.

Шестаков стал замечать, как на полу под доской густеет ровный млечный путь. Снежинки крошащегося мела в воздухе. Ноги соседки по парте в брюках со стрелками. Уходящие вниз затылки и спины. На всём факультете только здесь сохранились настоящие парты. Расположенные амфитеатром, с едва угадывающимися под многими слоями голубой краски круглыми углублениями для чернильниц-непроливашек. Тридцатилетний первокурсник Шестаков сильнее скосил глаза и постарался рассмотреть лицо девушки в брюках. Короткие — на его вкус даже слишком — тёмные волосы. Карие глаза. Неуловимая неправильность черт лица мешала назвать его красивым, но в то же время не давала определить саму причину некрасивости. Как с картинкой в учебнике психологии: всё видишь, но не можешь определить, что нарисовано. Матвей сразу вывел, что влюбиться в такую не смог бы и принялся смелее рассматривать однокурсниц.

Перемену он провёл в одиночестве. В коридор не выходил. Ему не мешали. Пока шли вступительные экзамены, Матвей сумел не познакомиться ни с кем из будущих сокурсников. Думал, ничего же общего: они месяц назад закончили школу, а у него уже одно высшее образование, неудачный брак, двое детей. Десять с лишним лет разницы в возрасте.

Отталкивала узость их кругозора. Один крепыш на вступительной “литературе-устно” не стал юлить и признался, что не читал “Повестей Белкина”: писатель Белкин прошёл мимо него по причине отсутствия оно-го в библиотеке.

После звонка на продолжение пары девушка в брюках дотронулась до локтя Шестакова. Протянула узкую ладонь:

— Меня зовут Настя.

— А я Матвей, — он пожал тёплые пальцы.

— Нечасто нынче встретишь Матвеев. Купеческое такое имя.

— В честь деда.

— Твой дедушка купец?

Матвей кисло улыбнулся шутке:

— Мой дедушка военврач. Был. С Блюхером воевал.

— Кто победил?

— То есть?



— Ну он Блюхера или Блюхер его?

— Они вместе воевали.

— Я пошутила. Я поняла.

Преподавательница у доски перестала рассказывать о фонамах. “Обычно студенты слушают мои лекции внимательно”, — не повышая тона, укорила она.

В коридоре щёлкнули выключателем.

— Это Ларионова, — шепнула Настя. — Третий курс её хвалит. Редкий талант: никого не наказывает, но её уважают. А Жовтиса боятся.

— Кто такой Жовтис? — пошевелил губами Матвей.

— Литературоведение будет читать. — Настя поймала взгляд Ларионовой и замолчала.

Весь семестр Шестаков никак не поддерживал отношений с коллективом. Однокурсники не интересовались им, он — ими. Замечал изменения в жизни курса периферийным зрением. Если при поступлении все радовались друг другу, как дворняжки, то скоро принципиально разошлись во взглядах, разбились по интересам. Зубрили хорогодились по библиотекам, “больно умные” обменивались монографиями корифеев.

Ещё один “кооператив” не относился ни к тем, ни к другим. Эти обращали на себя внимание больше остальных. При безразличии к жизни курса Матвей знал их имена. Рекомендовавший ему поискать школу рабочей молодёжи пижон — Вадим Племянников. К нему примыкали Таня Делибаш, собиравшаяся стать журналисткой, экзальтированная Марина Валеркина с тёмным пушком над губой и крепко сбитый Слава Гуков, не прочитавший в своё время “Дубровского”. Гуков ностальгировал по посёлку, откуда его семья недавно перебралась в город, и надоедал воспоминаниями. Все сходились во мнении, что после первой сессии Слава вылетит. Сам он считал так же. Неясным оставалось другое — как Гуков поступил. Очевидно, роль сыграла военная форма, в которой сдавались вступительные, и традиционный дефицит мужчин на факультете.

Однажды в курилке под лестницей он хлопнул Матвея по плечу: “Дядька Матвей, угости сигареткой!”. Не переносивший фамильярности Шестаков выпустил дым в пол и тихо ответил: “Я не курю”. После этого с ним перестали искать общения.

Матвей приходил, слушал лекции, писал конспекты. Сидел, если оставались пустые столы, один. Если нет — с Настей. Относился к ней со смесью снисхождения и удивления. Его приятельница смотрела сериалы, любила певицу Эллу Богачёву, для души читала гляцевые журналы. Но, как ни странно, сразу стала “надеждой курса”. Преподаватели слушали её ответы на семинарских занятиях не просто благосклонно, а с интересом. Ошибки воспринимали как отрицательные результаты поиска. Ларионова подумывала в будущем патронировать её курсовую, затем диплом, а там, кто знает, может, и до аспирантуры дойдёт. Шестаков долго недоумевал. В конце концов списал всё на хорошую Настину память, развитое логическое мышление и умение себя подать.

Не воспринимая Настю как предмет ухаживания даже теоретически, морщась от её духовных притязаний, он с удивлением признавал, что ему не неприятно находиться в её обществе. Молодая женщина со вкусом,



не броско, одевалась, пользовалась хорошими духами и обладала лёгким характером. В отличие от Матвея, Ружникову однокурсники привечали. Не найдя языка ни с зубрилами, ни тем более с умниками, она бывала в племянниковской компании.

— Ты взрослый человек... — время от времени заводил разговор Матвей. Настя не кокетничала по поводу возраста. Шестаков знал — она не намного младше. Успела поискать себя в других областях, сходилa замуж. Супруг оказался ревнивец и деспот: жена сидела дома, готовила и пылесосила. Они расстались. — Ты взрослый человек. Что тебя с ними связывает?

— С ними интересно.

— Они побрякушки. “Хи-хи, ха-ха”, ни к чему в жизни не стремятся по большому счёту.

— Они учатся. Что они, по-твоему, должны делать?

— Не учатся они, а штаны протирают. Племянников через день с похмелья. Гуков конспекты сдувает. Им просто надо было куда-то поступать! Родители давили.

— Ты же не знаешь! Делибаш уже сейчас в газеты пишет, Вадик вообще талантливый...

Матвей не хотел слушать. Хотя Делибаш в самом деле строчила на лекциях статьи и заметки.

Он всякий раз жалел, что заговаривал об этом: его подруга тоже не лелеяла высоких идеалов. Но удержаться не мог.

— Ужасно! — кривился он, когда Настя напевала какую-нибудь модную мелодию.

— Ты старый, — отмахивалась она.

— Нет. Я просто умею отличать хорошее от плохого.

— А к чему стремишься ты? — однажды жёстко спросила Ружникова. — По большому-то счёту?

Сокурсница никогда не разговаривала с ним таким тоном. Вдруг она всё-таки догадывается о его высокомерном к ней отношении?

— Чтоб моим именем улицу назвали.

— Конечно, разве ж мы поймём..!

Впервые Ружникова увидела, как живёт Шестаков, месяца через два после знакомства. Он не считал нужным выводить общение с однокурсницей за стены института.

“Слона бы сожрала!” — помечтала Настя как-то после занятий. Они отсидели четыре пары, после сдавали лабораторные по “Введению в языкознание”. От информационно-когнитивной системы ныл желудок.

— Дома есть сосиски и макароны, — сознался Матвей. — Слона нет.

— А ты приставать не будешь? — кокетливо пошутила Настя.

“Пусть к тебе Чарли Чаплин пристаёт”, — подумал Шестаков. Но, что-бы сделать приятное, уклончиво промолчал.

Он обитал в трёхкомнатной квартире сталинского дома. Высокие потолки, гипсовая лепнина по периметру, паркет. Родителям Матвея жилище осталось от деда-полковника, Матвею — от родителей. Отец умер, мать снова вышла замуж.

— Книг у тебя! — удивилась гостя. Кивнула на полупустые полки. — А стеллажи с запасом, что ли, делали?



— Жена забрала при разводе.

— Ты не говорил, что у тебя жена была.

Настя заметила рядом с книгами фотографии мальчика и девочки, деликатно замолчала.

— Она взяла ту часть, что мы вместе покупали, — объяснил Матвей. — Остались, которые дед собирал и папочка мой.

Настя удивилась, услышав от своего замкнутого, часто надменного приятеля — “папочка”.

— А это что? — она выудила лежавшую поверх книг пачку машинописных листов. Прочла на верхнем: “М. Шестаков. Похождения Кота Кособрюха”.

Матвей бесцеремонно отнял листы, затолкал повыше:

— А это нельзя.

Почувствовал неловкость:

— Смотри, даже по переплётам видно, когда что издавалось. Вот эти, с рифлёными названиями, — Матвей провёл пальцами по корешкам, — дед покупал. Эти — отец за макулатуру брал. Помнишь, чтобы Эдгара По купить, надо было сорок кило бумаги сдать?

— Не помню, — призналась Настя.

— А я застал. Помогал отцу газеты собирать. Приносишь пять килограммов, тебе марку дают: “пять кэз”. Ты её на карточку клеишь. Но тоже переплёты добротные. А это отец после Перестройки приносил. Достоевский и Толстой в мягких обложках! Уже на пенсию жил — в основном не покупал, обменивал около “Букиниста”. — Матвей вытянул увесистый том, — “Тихий Дон”. Не книги, а “Мурзилки”: кадр из фильма на обложке. Рынок!

Настя молча слушала. Соглашалась.

— Раньше уважения к литературе в целом больше было, — продолжал Матвей. — В конце книги обязательно отчество автора указывалось. А теперь? — он поднял заднюю корку. — Писатель, как собака: имя и фамилия.

Папа и умер около своих книг. Я в “скорую” позвонил... У них тогда транспорта подходящего не нашлось. Второпях, в горячке помогал тело в алюминиевую труповозку грузить, суетился. Только потом осознал, что произошло.

Матвей ушёл на кухню. Послышался запах еды и звук ложки, скользящей по дну сковороды.

— А где тут у тебя руки помыть? — крикнула Настя.

— Руки — в коридоре слева. Всё остальное рядом!

Ружникова вошла на кухню с книгой, заложенной обрывком туалетной бумаги:

— Настоящий русский интеллигент познаётся в мелочах.

— Несколько поколений и века культурного отбора понадобились, чтобы прийти к этому, — не смутился Шестаков.

Настя вернулась в комнату, продолжила ревизию. Достала рулон ватмана с изображением гортани в разрезе. Пока разворачивала, на пальцах оставалась пыль.

— Ты ухогорлоносом, что ли, был? — крикнула она.

— Да. Лором. Отоларингологом. Ненавижу.

— Значит, гортань рвём?

— Я тебе покажу — рвём. На память лежит. Иди есть.



— Матюша, а какого лешего тебя туда вообще понесло?

Даже в детском саду Матвей не мечтал о какой-нибудь определённой профессии. Вопрос “кем быть?” он задал себе только в седьмом классе, когда заставили писать сочинение. Ему нравился дед-военврач. Очаровывали его хромированные инструменты, сопровождающий его медицинский аромат, смешанный с запахом тройного одеколона. Впечатляли коллеги деда, приходившие в эту квартиру. После ужина они рассаживались вокруг журнального столика расписать под армянский коньяк пульку и поговорить не о работе. Да всё равно выходило о работе.

Матвеем нравилось представлять себя в наброшенном поверх костюма идеально белом халате.

В сочинении подытожил: “Хочу стать врачом, чтобы люди, с которыми мне довелось жить в одно время, не болели и могли ещё лучше трудиться на благо Родины”. Получил пять с минусом: пропустил запятую после слова “время”. После школы на “Лечебное дело” — самый традиционный, тяжёлый факультет — дед поступать не помогал принципиально. Усидчивый внук прошёл и так.

В вузе юному Шестакову нравилось. Преподаватели любили его за успеваемость, сокурсники отдавали должное принципиальности. По причине молодости ему казалось, шесть лет учёбы — почти вечность. Не кончатся никогда. А если всё-таки кончатся — впереди аспирантура. И они, шесть лет, прошли. Только с аспирантурой пришлось повременить: на предпоследнем курсе будущий медик женился, а на последнем у них родилась девочка. Матвей сел в поликлинику. На время. Полдня принимал больных в кабинете, полдня летал по вызовам. Зимой, во время эпидемий, засыпал вечером в кресле у телевизора. Накрахмаленный халат на плечах больше не вдохновлял. Собственное отражение в никеле носоглоточного зеркала выглядело искажённым. Ещё через год родился мальчик: аспирантуру снова отодвинули. Денег не хватало. После приёма в поликлинике и беготни по микроучастку он теперь ездил на своём “Ситроене” колымить. Ларингиты, тонзиллиты и фурункулы вызывали уныние. Но что обиднее всего, молодого врача медицина перестала интересовать. У него стал портиться характер.

А ещё через несколько лет ушла жена. Вместе, разумеется, с детьми, которых Матвей любил больше, чем, может быть, положено. Ночью мог проснуться и заплакать, если ему снилось, как с ними произошло несчастье.

Существование стало тоскливым, как попавший под дождь велосипедист. Шестаков попробовал найти причину и быстро нашёл: из жизни медленно, а значит, почти незаметно, исчезло всё положительное. Поликлиника обрыдла, семья развалилась.

Матвей перебирал варианты выхода, но, как часто бывает в таких ситуациях, не находил. Работу можно поменять только на такую же. Другая поликлиника, другие больные. Пить он не любил. Вспоминал лучший, более весёлый и интересный, период собственного бытия — учёбу в институте.

Молодой, но бесперспективный специалист уволился из поликлиники. Проходя мимо университета, сунул документы в приёмную комиссию филфака, лишь бы завтрашний день ничем не напоминал вчерашний. Захотел начать жить сначала.



Получив в кассе поликлиники расчёт, вышел на улицу никому не подотчётным человеком. Мог пойти, куда захочешь. Шестаков чуть не взлетел, осознав это. На свете счастья нет. Но разве многим доступны покой и воля?

— А почему жена ушла, Матвей? — Настя опустила в раковину сковороду с болячками прижарившихся макарон.

— Закроем тему.

До зимней сессии оставался месяц. В глазах даже самых успевающих студентов плавала озабоченность. В курилке под лестницей вместо скабрёзных анекдотов первокурсники пересказывали друг другу “Теогонию” Гесиода и обсуждали наиболее коварные вопросы, которые любил задавать Жовтис.

Прочесть всё, что требовали на зачётах и экзаменах, было можно. Но тогда пришлось бы отказываться от остального. По одной только античной литературе список составлял десятка два книг. В основном толстые тома. А ещё изучались введение в языкознание, латынь, культурология...

Матвею нравилось учиться. Забавляло, что чтение книг вменяется в обязанность. Зато неожиданностью стало языкознание. Изучение русского языка напоминало точные науки. Он путался в консонантах, флексиях, лексемах и не мог смириться. Днём сидел на лекциях. Дома читал или писал конспекты. Вечером садился за руль: стипендия кончалась быстро. Иногда начинал выискивать поднятые у обочины руки сразу после занятий. Новый образ жизни не только утолил прошлые печали, но оказался привлекательнее и в материальном отношении: оставалось больше свободного времени для пополнения бюджета. Можно было, конечно, посвящать себя этому без остатка, но бросить институт и крутить руль с утра до вечера — скучно и неинтересно.

Первым шёл зачёт по “Истории античной литературы”. Курс заранее полушутя прощался с Гуковым. Остроумный Племянников успокаивал Славу тем, что теперь в графе “Образование” тот сможет писать “неоконченное высшее”. По признанию самого Гукова, из материала семестра у него в голове остались только верховный бог Зевс и мальчик-виночерпий Ганимед. Тем не менее, древних греков он с грехом пополам сдал. Даже рассказал, в чём заключается специфика комизма у Аристофана.

Загадочным образом получил зачёт по “Русскому устному народному творчеству”, стиснутому в зачётной книжке до напоминающей барабанную дробь аббревиатуры РУНТ. Ему ставили: представителей мужского пола на филфаке берегли. Пестовали. Хотя все понимали — дальше Жовтиса Славе не пройти. Сессия напоминала Гукову компьютерную “стрелялку”, где на следующий уровень можно пробраться, лишь победив врагов в предыдущем (и где герои почему-то похожи на прибалтийских киноактёров).

Экзамен по “Введению в литературоведение” шёл последним. Гуков даже не готовился. Пришёл из привычки никогда не сдаваться, верить в случай.

Жовтис ценил лишь искреннюю заинтересованность предметом. Настоящие знания. Мировоззрение нынешних студентов ему претило.



Каждую зиму профессор отсеивал значительную часть первокурсников. В ректорате с ним устали ругаться и спорить.

Сам Жовтис всегда много работал. Превратил это в черту характера. Даже романы читал не для развлечения. В юности писал стихи, которые одобрял Маршак. Любил рассказывать студентам, как Самуил Яковлевич кормил его супом. Но добиваться признания как поэт не стал. Считал, что его стихи не достойны опубликования. Занялся переводами. Написал знаменитую книгу “Кому нужны стихи”. Ещё три с лишним десятка трудов. На них часто ссылались советские литературоведы.

Внешне — маленький, щуплый. С высоким, если не сказать — женским, голосом. Костюмы носил почему-то исключительно в полоску. Матвей где-то вычитал, что в старину китайцы называли тигра “почтенный полосатый старик”, и за глаза профессора иначе не величал.

В общем, Гукову, отличавшему на портретах Чехова от Дзержинского исключительно по наличию пенсне, рассчитывать было не на что. Он зашёл в аудиторию, без колебаний взял билет, уселся впереди Шестакова. Ответа ни на один из двух вопросов Слава не знал абсолютно. От нечего делать разглядывал в окно бегающих в шерстяных спортивных костюмах второкурсников. Развлекался, дуя на порванные шпаргалки за батареей. Вспомнил, как до армии зимой каждый день ходил за посёлок на лыжах. За компанию брал собаку. Написал первый вопрос билета и зачем-то свою фамилию. Представил, как будет пересдавать экзамен. Как не сможет. Ему стало жалко расставаться с новой для него атмосферой, с компанией. И даже с Жовтисом.

Заглянул декан факультета Лашибабаев. Матвей сначала не мог уяснить, отчего русской филологией заправляет человек, не всегда верно спрягающий глаголы и разговаривающий с сильным акцентом. “Филфак” у него выходил “пилпак”. Однако скоро выяснилось, что перу Лашибабаева принадлежит монументальный труд о Достоевском. Учёный всесторонне рассмотрел влияние тюркских эпосов на творчество писателя. Вклад высоко оценили тюркологи мира. Так что связь с русской филологией налично. Правда, на факультете декан в основном занимался хозяйственными вопросами. Сейчас из-за его спины выглядывал завхоз. Лашибабаев молча указал ему на две перегоревшие лампочки, прикрыл дверь.

Вошла секретарша с кафедры русской литературы: “Александр Лазаревич, Вас к телефону”. Жовтис поднялся со стула, кивнул аспиранту Коле — следы, мол, — и вышел. Гуков на секунду заоченел. Ассистент профессора, рано начавший лысеть молодой человек, оторвался от брошюры, сурово посмотрел перед собой. Покосился на страницу. Снова строго посмотрел, опустил голову и ушёл в чтение.

Слава повернулся к Матвею, сдвинул брови и закрыл глаза. Шестаков кивнул. Он пожалел его. Гуков показал свой билет. Матвей взял листок. Но едва успел написать ответ на первый вопрос, вернулся экзаменатор. Листок проделал под столом обратный путь.

Если ответ на один из двух вопросов у иного преподавателя может означать “удовлетворительно”, у Жовтиса он не означал ничего. Почтенный полосатый старик смотрел на вещи трезво: студент не может хорошо знать одно, но вовсе не знать другого.

Профессору звонили из больницы. Сказали, жене стало хуже.



Он опустил на стул. Пальцами с антикварного вида ногтями взял с двух сторон карандаш “Конструктор” и начал катать, сильно нажимая на грани.

Подошла очередь Гукова. Слушая его уверенное повествование, Жовтис задумчиво кивал. Слава заранее потрудился перечитать каракули бывшего врача несколько раз. Отвечал, почти не сверяясь с источником. Разделался с ответом на первый вопрос. Напористо произнёс последнее, что мог теперь произнести: “Вопрос второй”. Александр Лазаревич перестал терзать карандаш. “Вы ведь, помнится, отвечали на семинаре...”. Студент согласился.

Гуков действительно отвечал на семинаре. Назвал белыми пятнами “Слова о полку Игореве” интервалы между абзацами. Заявил, будто в найденном памятнике древней литературы в этих местах находился текст, по сю пору не разобранный учёными. Тогда так и не дознались, сам ли он это выдумал, или кто подучил.

Сейчас профессор не помнил мелочей. Он выпустил из пальцев карандаш, взял у Славы зачётку. Ручкой в графе напротив своего предмета чиркнул “отл.”.

— Н-нэ? — подняла брови Делибаш, когда Гуков вышел в коридор.

— “Отлично!” — заявил он так, словно иначе не могло быть.

— Всё же завалил тебя изверг? — посочувствовала Валеркина.

— Я тебя прошу, Марина! Что там было валить, — возмутился Племянников.

— Полегче на поворотах, парнишка, — Гуков самодовольно развернул зачётку. — Вы ещё на моём имени деньги делать будете!

Находившиеся вокруг не преминули заглянуть.

“Герой. Дай пять!” — удостоверившись, протянул ладонь Вадим.

Добросовестная Люда Вальтер, только что тоже получившая “отлично”, заплакала.

Собиравшегося уходить Шестакова догнал Вадим. Из ворота тёмновышнёвого пуловера выглядывал галстук. Подбирая слова, Племянников вежливо произнёс:

— Матвей, мы сегодня собираемся у меня. Хотим отметить окончание сессии. Надо больше общаться. Приходи. Поболтаем, выпьем. Попоём.

— Когда? — спросил Матвей, чтобы как-то отреагировать.

— А как Валеркина с Делибаш отстреляются, сразу и поедем.

Матвей понимал — его хотели отблагодарить за Гукова. Приглашения принимать не собирался. Уговорила Настя: “Соглашайся, Матюша. Они хорошие ребята, правда. Что дома делать?”. Определённых планов на ближайшее время действительно не имелось. К тому же могло показаться, будто он капризничает. Матвей сдался. Последней из компании от профессора вышла Валеркина. Улыбнулась, растопырила четыре пальца.

Матвей предложил:

— Можем на моей машине поехать. Не по отдельности же добираться.

— Отлично! — обрадовался Племянников. — Чего ждём?

— У нас одежда на кафедре осталась, — заканючили все.

— Только давайте быстро, быстро! А то я знаю, как вы собираетесь...



Валеркина и Делибаш, положив сумки на холодный подоконник, суетливо засемили по коридору. Их подгонял Гуков. Ружникова, не роняя достоинства, двинулась следом.

Первым вернулся Слава.

— А я уже! — радостно доложил он, натягивая куртку.

— Как тебя зовут, сынок? — Племянников одобрительно потрепал его по щеке.

— Сержант Готовченко, сэр! — вытянулся тот во фрунт.

С первого взгляда становилось ясно — уместиться в такой шарабан шестером будет нелегко.

— А я-то думаю, чей это “Запорожец” тут постоянно торчит! — всплеснул руками Гуков.

— Ты сам “Запорожец”, — парировал Матвей. — Это “Ситроен два Си-Ви”. Легенда французского автомобилестроения.

— Ну-ка, тётка Танька, дай-ка... — Слава легонько отщёр Делибаш, пробираясь к окну.

— Друг мой, — остановил его Племянников, — мужчина имеет право перестать быть джентльменом только в одном случае: если корабль тонет, а в шлюпке осталось единственное место.

Прежде чем протиснуться на заднее сиденье, Настя подобрала полы элегантного пальто:

— Не хотела бы я с тобой плавать.

Ей пришлось сесть на колени Делибаш.

— Каков же возраст данного лимузина? — деликатно осведомилась Валеркина, усаживаясь рядом с водителем.

— Никто этого не знает, — трагически сообщил Матвей. Завёл мотор. — По техпаспорту семьдесят восьмой год выпуска, но думаю, всё гораздо хуже.

Вадим назвал адрес. Несколько перекрёстков проехали молча. Пару раз машину заносило на льду, как тележку в супермаркете.

— Лихач! — прокомментировала Валеркина. — Нужно заехать купить к ужину снеди.

— Снеди? — уточнил Племянников, излишне чётко проговаривая слово. — Давайте купим снеди.

Матвей не придавал реплике значения, но заметил, как лицо Марины погрузнело, а в зеркале заднего вида Делибаш торкнула Племянникова в плечо.

— Ой-ой! — вдруг заголосила она. — Мимо моего дома проезжаем. Заскочим на секундочку, я сапоги переобую. Напялила сдурю осенние.

Подрулили к подъезду. Племянников предложил:

— Пошли уж все вместе, всё равно вылезать.

— Да я мигом.

— Пошли-пошли. С бабушкой поздороваемся.

Бабушка была в той поре, когда возраст уже не имеет значения. За отсутствием собственной личной жизни пыталась продолжать себя в близких. Принимала в них чересчур живое участие.

— Здравствуйте, ребятки, — поприветствовала она вошедших голосом пионервожатой на пенсии.



- Здравствуйте, бабушка, — ответил за всех Племянников.
— Танюшка, ты Жовтика сдала?
— А-ай! — махнула рукой Делибаш. — Где сапоги мои? Зимние где?
— Она сдала Жовтика, Вадик? — встревожилась “пионервожатая”.
— Она сдала, бабушка, сдала, — успокоил Вадим. — На “четвёрку”.
— А вы сдали?
— Сдали, бабушка, сдали. Славёныш “отлично” получил.

Гуков потупился.

Делибаш нашла сапоги. Шёпотом костеря итальянскую обувную фабрику, застёгивала “молнии” на икрах.

Валеркина и Матвей вышли из тесной прихожей на лестницу.

— Портфель дома оставь! — предупредила бабушка, убирая на вешалку кожаную папку Делибаш.

— Мы пошли, — бросила внучка. — Дверь запри.

— А шапочку, Таня, шапочку, — запричитала старушка, размахивая вязаным изделием неопределённого цвета.

— Бабушка! — сконфузилась Делибаш. — Отстань. Я её в пятом классе носила. Идиотка старая, — буркнула она себе под нос.

Родители Вадима уехали на дачу поправлять забор. Оставили записку: “Вадюк, рассол на балконе”.

Расположиться решили в большой комнате. Курить выходили на кухню, в форточку.

Они действительно оказались неплохими ребятами. Шестакову стало неловко. Он начинал постепенно узнавать их, они — его.

Оказалось, Племянников не такой “зелёный”, как представлял Шестаков. После школы он ничем толком не занимался. Сидел на шее у родителей — пытался поступать в Щукинское училище. С пятого, кажется, захода поступил. Три года отучился на курсе Александра Калягина. Считался одним из его любимых учеников. В прошлом году Вадима отчислили. Он вернулся домой. Увиливая от призыва в армию, начал осваивать филологию.

— Чего же ты натворил там, что тебя, фаворита, да ещё с третьего курса погнали? — изумился Матвей.

— Вот за это самое дело, — любимый ученик “тётки Чарлея” постучал себя по горлу, выщёлкивая большой палец из-под указательного. — Ерунда, восстановлюсь через год.

— Жаль, — опечалился Гуков.

Раньше Матвей не понимал, какими путями Слава попал в это сообщество. На фоне остальных он проигрывал. Всё объяснилось просто: Гуков обладал добродушием и лёгким характером, за которые ему прощали недалёкость и некоторую провинциальность. Его не звали, но когда просился — принимали. Матвей задумался: если недалёкий человек хочет любви других, он не должен быть злым. Всё простят только умному.

Делибаш принесла рюмки. Как в советских ресторанах — стеклянные, с золотым ободком по краю.

— Я за рулём, — отказался Матвей.

— Бро-ось, — легонько толкнул его в плечо Вадим. — Родители на даче, гараж пустой. Хочешь, давай ключи, я сам загоню.



— Пойдём вместе.

“Гараж пустой, родители на даче”, — на блатной мотив пропел Племянников. Они спустились во двор, загнали машину.

Пили за каждый отдельно взятый экзамен, за профессоров и авторов учебников. За Жовтиса и Лотмана. За Ларионову и Реформатского.

Вадим балагурил, рассказывал театральные байки. Называл Райкина Костей, Раневскую Фуфой. Говорил: “Эту историю рассказывал Басик...” или “Когда Зяма ещё работал у Образцова”. Матвею было неловко. А вообще, чёрт их знает, артистов. Вдруг у них так принято?

Вадим пребывал в приподнятом настроении. Острил. Рассказывал анекдоты. Задирал Валеркину, дразнил её Маткой боской.

— Почему Матка боска? — удивился Шестаков.

— Потому, что Вадик олигофрен, — выдала Марина свою версию.

— Потому, что Марина у нас польская княжна! — пролил свет “олигофрен”.

— Да, представь себе! Мой предок, — Валеркина гордо повернулась к Матвею, — князь Понятовский, племянник польского короля Станислава-Августа. Он был маршалом Наполеона. И, если тебе интересно, Наполеон на острове Святой Елены писал, что сделал бы Понятовского королём Польши, когда бы одержал победу в России. Валеркина-то я по отцу.

Матвей почтительно шевельнул ушами.

Вадим принёс гитару. Первые аккорды звучали грустно, но все заулыбались: романс слышали не впервые.

*Графиня, я стрелялся на дуэли
За то, что граф сморкался в Ваш платок.
Я каждое пятно на Вашем теле
Расцеловал бы, если б только мог...*

Перебирая струны, Вадим иронично поглядывал на Валеркину. Пел красиво, с мягкими, доверительными интонациями. Припев все, кроме Матвея, выводили вместе:

*Прошу Вас, Ваша честь,
Вниманья маломальского,
А то ведь вымру весь,
Как лошадь Пржевальского,
Как лошадь Пржевальского!*

Петь скоро надоело. Помолчали.

— Вот у меня случай был, — оживился Гуков. — Мы со старшей сестрой в детстве...

— Как вы в посёлке петухов уродовали? — скептически перебила Де-либаш.

— Ты знаешь, так молчи! Человек вот не слышал, — кивнул на Матвея Слава. Рассказал, как в детстве они с сестрой натрясли из копилки монет и решили купить цыплят. “Выбираем только тех, что головки вверх тянут!” — предупредила на рынке сестра. Они купили четырнадцать птенцов. Родители посмеялись и оставили всех. Два скоро умерли. Два оказались курами. Остальные десять выросли мощными задиристыми петухами. Терроризировали всю живность во дворе. Кидались на хозяев. Не давали подойти до сарая. Тогда Гуков-старший подобрал внушительных размеров палку, которую стали держать у крыльца. Выходя во двор, брали с



собой. Иногда напористых птиц приходилось охаживать всерьёз. Лохматые тяжёлые комья летали над землёй, теряя перо. Когда кого-нибудь из них решали отправить в суп, отец не мог без смеха разделявать тушки: все кости переломаны.

— Очень смешно, — тяжело вздохнула Делибаш.

Снова возникла пауза.

— Давайте, как в прошлый раз, в спички играть, — предложила Валеркина. Её поддержали. Делибаш сходила на кухню, взяла коробок. Настя предложила Шестакову:

— Будешь?

— А как играют?

— Зажигают спичку и передают по кругу. У кого погаснет, тот отвечает на один вопрос. Любуй! Отвечать обязательно честно.

— Иначе игра смысл теряет, — закивал Гуков.

Шестаков согласился. Он изредка отхлёбывал из фужера, люди казались ему всё симпатичнее.

В центре стола поставили свечу. Валеркина зажгла от неё первую спичку. Капля серы, получившаяся на фабрике вдвое гуще положенного, истово полыхнула, тени на стене зашатались. Спичка перешла к Гукову. Он деловито схватил её толстыми пальцами, быстро передал Делибаш. Огонёк было увял, но разгорелся снова. Немного задержав спичку, Таня с сожалением протянула её Матвею. Он уже хотел отдать её Племянникову, как от обугленного дерева отделилась перламутровая паутинка.

— Можно, я — вопрос? — вызвалась злопамятная Настя. — Матвей, почему вы с женой разбежались?

— Разбежались и разбежались.

— “Условия игры одобрили не все...” — задумчиво тронув струны, хрипло пропел Племянников.

— Я протестую! — “возмутился” Гуков. — Мой подзащитный не обязан отвечать на вопросы интимного свойства!

Шестаков усмехнулся:

— Протест отклонён. Другой человек показался Юле интереснее меня. Незаурядная личность. Скульптор. Приглашал на свои выставки. Посвящал в замыслы. Водил по ресторанам. У меня была очень красивая жена. А он собирался её лепить. Много ли женщин устоит? Я-то что мог ей предложить? Показать кабинет с табличкой “ЛОР”, где заглядывал в не всегда приятно пахнущие рты? Скажите: а-а-а... Она порядочно поступила. Сказала: “Не хочу тебе изменять, ты хороший. Но и жить с человеком, которого не люблю, не буду”.

Матвей помолчал. Вспомнил, как строил планы. Собирался прожить с бросившей его женой всю жизнь. Не замечать её возраста, умиляться лишним килограммам, если они появятся.

Насте захотелось вернуть вопрос назад.

— Детей жалко, — продолжал Матвей. — Кстати, ведь скульптор этот Юлю потом бросил. Она приходила. Предлагала снова жить вместе.

Племянников усмехнулся:

— И заплакали блюдца: “Не лучше ль вернуться...”.

— А ты? — Марина достала из пачки тонкую сигарету.

— Отказался. Простить не смог бы. Просыпался бы ночами и рисовал себе, как она с другим.



— Ты идеалист, — с сожалением вынесла приговор Ружникова.
— А незаурядных людей с тех пор ещё сильнее не люблю.
— Что так? — заинтересовалась Делибаш.
— С ними тяжело жить. На расстоянии — да: интересно, эффектно. Но представь, что у твоего мужа каждый день запланирован подвиг, и он считает, что в мае 32 дня. Его же в стационаре лечить надо!

Настя посмотрела разочарованно:

— Как скучно ты рассуждаешь...

— Такова моя точка зрения. Не могу слушать красивые истории любви кинозвёзд или поэтов. Ах, они встретились и поняли, что дня не могут друг без друга. Ах, он ушёл от жены, а она забрала детей и оставила мужа! Только никто не вспоминает, каково было тем, кого они предали. Разве обыкновенного человека нельзя любить просто так? Не за талант? Конечно, люди, совершающие яркие глупости, привлекательны. Но за эпатажем они часто скрывают недостаток ума. Заставить себя восторгаться неумными людьми не могу. Дайте мне быть нормальным! Умным и добрым.

— Да пожалуйста, — разрешила Настя.

— Положительных героев неинтересно играть, — высказался Племянников.

— А ты изменял жене? — заинтересовалась Делибаш.

— Я же не святой. Правда, потом такие угрызения совести испытывал, что неизвестно, чего больше получал — удовольствия или мучений. Целую теорию вывел. Мораль на измену мужчины смотрит снисходительно, а женщину порицает. Поэтому слабый пол подсознательно свою похоть облагораживает. Когда гуляет мужчина, он считает: я подлец, а жена святая. Когда изменяет женщина, то говорит: он не уделял мне достаточно внимания, и я полюбила другого.

— Ну уж так уж... — засомневалась Валеркина.

Матвей побрякал коробком. Следующая спичка, пройдя полтора круга, погасла у Гукова.

— Чё б спросить-то? — пробормотала Делибаш. Знали друг друга не первый день.

— Вот, — вскинул голову Племянников. — Слава, что означает эта твоя странная фраза: “Вы ещё на моём имени деньги делать будете”? Жду-не дождусь, когда это произойдёт.

Гуков смутился.

— Ну-ну, мой самонадеянный, ослеплённый успехом друг, такими заявлениями не разбрасываются. Извольте объясниться.

— Вот так определённо, дядька, я сказать не могу, — выдавил Слава. — Но, понимаешь, чувствую в себе что-то... Почти наверняка знаю — взлечу! А когда, что...

Племянников криво усмехнулся.

Новый огонёк пополз по кругу.

Делибаш несомненно хотела распахнуть душу: делала вид, будто задумалась со спичкой в руке. Ей снова не повезло. Движение оборвалось на Марине. Вопрос придумывали до неловкости долго.

— Валеркина, скажи, какая у тебя заветная мечта? — отчаялся Гуков.

— Выйти замуж, — не задумываясь, ответила Марина.



— Ну это мы знаем. А самая-пресамая?

— Самая-пресамая. Хочу мужа и ребёнка.

Действительно, Валеркина уходила из института то с одним, то с другим кавалером. Мама Марины называла их “кобельки”, Племянников — “поводыри”. Слава растерялся:

— Ну как же? Ты у Жовтиса на хорошем счету... аспирантура...

— Мне не нужно.

Зажгли очередную спичку. Становилось скучно. Племянников обжёг пальцы, потёр их. Догоревшая спичка упала на край тарелки.

— Вадик, — открыла рот Делибаш, — а если бы тебе годков несколько сбросить, ты бы всё так же в жизни сделал?

— Глупый вопрос, — пожал плечами Вадим. — Мне и так всего двадцать пять.

— Отчего же глупый? — наморщила пушок над губой Валеркина. — Вопрос занимательный. Ты ведь уже идёшь по определённом пути.

Племянников задумался:

— Тогда не годков несколько, а жизнь полностью! Другую судьбу. Если бы такая возможность на самом деле была, я бы хотел родиться году в тридцать пятом. Это значит.. — он позагигбал пальцы, — значит, в пятьдесят втором поступил бы в театральный. В школу-студию МХАТ. Жил бы в Москве. Небогато, конечно. В общежитии, в комнатухе с каким-нибудь никому не известным Табаковым. Или Гафтом. Потом — какой-нибудь невероятный театр с дичайшими интригами, с гениальнейшей труппой... Не такой, как сейчас. Как раньше: в буфете — кофе с коньяком, в фойе — костюмы и вечерние платья, на стенах — чёрно-белые портреты актёров. Очень хотел бы у Эфроса работать. В “Чайке” играть у него.

— Чехова и сейчас ставят, — перебила Делибаш.

— Не та-ак...

— Вадюля, а где это ты, позволь спросить, Чехова в постановке Эфроса видел? — съехидничала Валеркина.

— Чехова в постановке Эфроса, Марина, я видел на восьмимиллиметровой плёнке, с пятнами и хреновым звуком. И у меня горло сдавливало! А недавно пошёл в нашу Драму “Трёх сестёр” смотреть. Не проняло, понимаешь? Живые актёры на сцене, а не проняло! До конца первого действия не досидел. Забрал плащ в гардеробе и ушёл...

— А дальше? Дальше? — заёрзал в кресле Гуков.

— В начале шестидесятых сыграл бы в кино по сценарию какого-нибудь оттепельного писателя. И режиссёра такого же. Чтоб вся страна узнала. Приз в Канне, портрет на обложке журнала “Советский экран”, открытки с моей рожей в ларьках и новая жена раз в три года. Поклонники автографы кланчат...

Матвей и слушал и не слушал. Иногда, подхватив мысль Племянникова, отвлекался: додумывал её. Неожиданно понял: это неправильно, когда кто-то хвастается тем, что видел знаменитость. “Я видел Высоцкого!”. На самом деле человек гордится, что знаменитость его видела. Только отчёта себе не отдаёт. Что из миллиардов людей именно ты смог запечатлеться на сетчатке кумира.

— ... Переиграл бы я сотни две ролей и стал легендой отечественного кино, — фантазировал тем временем Племянников. — Ну и театра, само



собой. — Он загрустил. — Мне кажется, так уже было. Я их будто знал всех когда-то. Когда вижу по телевизору, особенно тех, кто умер уже, слёзы бегут. Словно чья-то душенька из них во мне. Душа чья-то, а таланта Бог не дал. А она помнит всё, и бьётся внутри. Однажды приснилось, как к нам на дачу Тарковский приехал. Сценарий обсудить. Малину с куста рвал... В дощатый сортир наш ходил. — По щекам Племянникова покатались слёзы. Шестаков понял — хозяин квартиры сильно нетрезв. И ещё ему показалось — между ними много общего.

За весь вечер спичка у Делибаш так и не погасла.

В первый день каникул Матвей проснулся рано: организм не успел перестроиться. Дома тихо. Тепло и уютно.

Он всегда пил с неохотой. Не знал настоящего похмелья. Любил ясное сознание. Полежал, вплывая в день. Квадрат света на потолке мигом исчез — выключили фонари. Он давно приучил себя просыпаться за полчаса до звонка будильника. Даже когда работал в поликлинике, куда приходилось ездить к семи утра, просыпался раньше. Нравилось подумать, настроиться. Помечтать.

Шестаков сходил в душ. Позавтракал. Забрал у опохмелившегося жизнерадостного Племянникова машину. Поездил до обеда по городу, разжился деньгами. Заехал в столовую. Вернулся домой. Валялся на диване, читал. И к вечеру захотел увидеть Настю. Странное желание списал на привычку. Сбой в распорядке.

Долго не мог выдумать предлог. Набрал номер. Когда Ружникова сняла трубку, спросил:

— У тебя учебника нет? Реформатского?

— Ведь каникулы?

— Да хотел там...

— Я брала у Валеркиной.

Матвей попрощался. На другой день желание увидеть однокурсницу не исчезло. Шестаков удивился и снова позвонил ей. Классически пригласил в кино. В ближайшем кинотеатре афиша предлагала ретроспективу индийских фильмов.

— Как я их любил, — простонал Шестаков, — как любил...

— Ты?! Индийские фильмы? — не поверила Ружникова.

— Что ты! Когда я увидел свой первый индийский фильм, мне десять лет было. Я катарсис испытал. Океан света и добра на экране! Домой на крыльях летел: думал, открою для родителей параллельную вселенную. Но, оказалось, родители уже знали, что такое индийские фильмы, и в восторг не пришли. Я их потом обманом затаскивал.

— И как?

— Отец всё время жалел, что серий всего две, а не хотя бы три, — Матвей указал на афишу, — “Мечь и закон” я пять раз смотрел. “Зиту и Питу” — четыре. Амиттабх Баччан и Дхармендра — кумиры моего детства. “Чтобы раздавить гадину, не нужны руки. Достаточно раздавить её ногами, Габбар!” — процитировал он и засмеялся. — Правда, сильно сказано?

— Ты бы не признавался никому, — предупредила Настя.

— А я не комплекую, — встал в позу Шестаков. — Потому что искренне люблю Феллини. Потому что был неглупым ребёнком. Сидел в библиотеках,



читал историю индийского кинематографа и “Махабхарату”. Знал курс рупии и все индийские праздники.

— Может, всё-таки в следующий раз? — взмолилась Настя.

И они пошли в другой кинотеатр. Смотрели американскую комедию. После сеанса Матвей отправился провожать Настю. Брели по тротуару вдоль витрин. Задержались около автосалона. Шестаков грустно рассматривал блестящие за стеклом кузова с претенциозными названиями “Land Cruiser”, “Matrix”, “Diablo”... Вслух предположил: “Должно быть, достойно в этом ряду смотрелись бы “Форд Мартиролог” или “Тойота Эпитафия”. Сокурсница не оценила. Механически улыбнулась. Навстречу прошёл ледащий солдатёнок.

Ружникова сняла варежку, взяла Матвея под руку.

У лужи на короточках сидел чумазый мальчик. Веткой, зажатой в бортовой от холода руке, таскал по грязной воде льдинки.

— Хочется ему... — поёжилась Настя.

— Может быть, он пытается сложить слово “вечность”?

На следующий день они встретились снова. Сначала просто ходили по улицам. Гулять показалось холодно. Зашли в пустое кафе. Полистали меню в толстых, как автобусные сиденья, кожаных папках. Вполголоса обсудили соседей за столиком в углу. Попросили официанта убавить музыку. Матвей пил зелёный чай из перламутровой фарфоровой чашки, Настя попросила сухого вина.

— Погорячилась я с вином, слушай, — пожалела Ружникова, когда они вышли. — Ты меня домой не проводишь? Папа будет кричать.

— Из-за одного фужера?

— У него строго. Ну, пожалуйста...

Сначала отец Насти показался Матвеем радикальным оппозиционером. Не успел гость войти, папа ткнул пальцем в экран телевизора: “Вот! Они жрут на фуршетах чёрную икру, а пенсионерам не хватает элементарно на хлеб”.

Когда закипел чайник, Матвей склонялся к мысли: самые вкусные жёлуди этого дуба остались на аллеях парка под названием СССР. Хрустя ванильным сухарём, Мэлс Владимирович рассказывал, как в своём КБ множил на ротапринте “Сказку о тройке” и тишком давал читать проверенным людям.

К финалу чаепития как-то сам собой сложился вывод — с молодых ногтей папа просто имел немножко сволочной характер. Фрондёрствовал при любой власти. Про таких говорят — хоть мёд на голову лей. Но диссидентствовал ровно настолько, чтобы не погореть. Будучи комсомольцем, называл ВЛКСМ “волкасьем”. Среди своих пел на мотив известной песни: “По долинам и по взгорьям шла коза, задравши хвост, и на Тихом океане прохватил её понос”.

Обладал суровым нравом. Дочь держал строго. Когда Настя училась в десятом классе, нашёл у неё в кармане крошки табака. Выпорол. К старости стал мягче, даже слезливее, но Настя всё равно его побаивалась.

Другое дело — мама. Перенесённый в детстве грипп дал нешуточные осложнения на органы слуха. Как следствие — нарушение речи. Соображающие люди посоветовали дать девочке специальность, не связанную



ни с тем, ни с другим. Теперь Настину маму в городе знали как хорошую портниху. На столе в большой комнате стоял оверлок. В ворсе ковра застряли лоскутки. Домашние были одеты с обложечной безупречностью.

В семье с Зинаидой Андреевной общались по тому же принципу, что в фильмах для глухих пишут субтитры. Например, Матвей за столом возмущался беспросветным положением медиков. Сетовал — зарплаты хватает только за квартиру платить. Вспоминал, как, стесняясь, принимал от благодарных пациентов шоколадные конфеты. “Сто он говорит?” — вежливо улыбалась мама. “Говорит — врачам хреново живётся!!” — членораздельно отвечивал Мэлс Владимирович. Или когда сам глава семейства рассказал хохму про соседа, мама спросила Настю: “Посему ты смеёшься?”. — “Папа анекдот рассказал”. Сначала Шестакова это покорило. Потом он решил — наверное, тяжело из года в год повторять кому-то анекдоты.

Уходя, он позвал Настю на лестничную клетку. Взял за руку. “Ты, что ли, Мотя, ухаживаешь за мной?” — серьёзно спросила она. Матвей притянул её к себе. Поцеловал. Ружникова не отстранилась. Внизу скрипнула дверца почтового ящика. Он обнял её, снова поцеловал в губы. Прижал крепче. Настя энергично повела плечами.

Матвей шёл домой и улыбался. Он не чувствовал себя счастливым несколько лет подряд.

Теперь Шестаков хотел видеть однокурсницу постоянно. Приглашал к себе. Уже не пообедать, просто так. Целовались, но ничего больше она не позволяла.

Ходила по большой квартире, снова и снова разглядывала книги. Почитать ничего не просила. Раз, улучив момент, достала с верхней полки пачку листов, отнятых у неё в первый визит. Открыла наугад. Наткнулась на стихотворные строчки, графически делавшие текст похожим на песочные часы:

*Вот вам рассказ о коте Кособрюхе.
Он по серёжке имел в каждом ухе,
Был комсомольцем в 20-е годы,
Сплачивал в Азии злые народы,
Сталина был компаньон и соратник,
Позже, в ГУЛАГе, носил тёплый ватник...*

Заслышав приближение Матвея, сунула страницы на место. Чуть погодя нерешительно полюбопытствовала:

— Мотя, а всё-таки — что такое “Похождения Кота Кособрюха”?

— Сказку пишу.

— Про Красную Шапочку? — хихикнула Ружникова. — Извини.

— Ничего. — Сейчас он хотел прощать ей всё. Хотел удивлять. Заинтересовать собой. Рассказал, что пишет давно. Три его повести напечатал местный “Восход”. Показал номера журнала. Настя вежливо полистала. Вернула:

— На книгу наберётся.

— На книгу... Когда первую повесть писал, самоуверенный был. Представляешь, даже про “Новый мир” слышать не хотел. Перевёл краткое содержание на английский, разослал по киностудиям. “Двадцатый век



Фокс”, “Коламбия”, “Трай стар”... Ещё там пара, не помню уже. Думал, если не с руками оторвут, то заинтересуются обязательно. Закажут сценарий, поставят кино.

— А они?

— Ответили. Сказали, я не зарегистрирован в какой-то их конторе и у меня нет агента. Нет агента — нет прецедента. Сейчас понимаю — им таких писем миллион в день приходит.

— Поди руки опустились?

— Нет, я писать продолжал. Учился. Получалось лучше. “Восход” вон с дорогой душой печатает.

— Ты бы в Москву отправил...

— Потом посылал. В разные толстые журналы. Ни гу-гу в ответ. Я долго всем хотел доказать — можно создать что-то настоящее, стать хорошим писателем — вне литературной среды. Но, видимо, нельзя... А какая у нас тут литературная среда? Это же невозможно читать. И сами себя успокаивают: в Москве своя писательская мафия вокруг журналов, чужака с улицы близко не подпустят. Мне кажется, они просто плохо пишут — те, кто так говорит.

— И ты всё-таки бросил писать?

— Бросают пить. Я перестал доказывать. Всё же ясно. Раньше неудачи оправдывали цензурой. Сегодня не печатают — значит, не талантливо. Нечем оправдываться. Не вешаться же теперь. Единственные люди, кого я сейчас хочу в чём-то убедить — мои дети. Напишу сказку, которую их мать будет читать им перед сном. Таковую, чтобы они весь день ждали. Чтобы говорили — это написал наш папа.

— Как трогательно! — съязвила Настя.

— Тем не менее.

До конца каникул они не встречались: Настя простудилась, температура. Из дому не выходила. Общались по телефону. Шестаков не торопил события. Внутри вихрилась разная романтическая стружка. Душа напоминала лавочку старьевщика, где в одном углу невнятно играет патефон, в другом висят старые цирковые афиши, а с полки большими пуговицами таращится плюшевый медведь. В голову лезли банальные сравнения: он стережёт чуткий сон бабочки, которая сама прилетела в ладони. Она не улетит. Надо только ждать, когда она проснётся, и не тревожить.

Второй семестр начался с длинных списков книг, которые требовалось осилить до летней сессии. В приёмной декана факультета поменяли мебель.

У Валеркиной появился новый ухажёр. Старшекурсник, до сих пор не обращающий на Марину внимания ни в коридорах, ни в курилке под лестницей, случайно встретил её где-то на танцах. Посмотрел другими глазами. Дождался лирической музыки. Щёлкнул каблуками и, резко наклонив голову, осведомился:

— Вуле ву дансе, мадемуазель?

— Пошляк, — хмыкнула Валеркина. Но танцевать согласилась. С тех пор он каждый день дожидался её после занятий.



Сразу после каникул Матвей подсел к Ружниковой на лекции по русской литературе. Предложил провести вечер вместе. Настя отказалась: вечером у них гости. Шестаков не скрывал огорчения. Решив, — нет худа без добра, весь длинный вечер посвятил, бюрократически выражаясь, частному извозу. Хотелось больше времени проводить с Настей, тратить на неё больше денег, водить по кафе и театрам. Покупать красивые вещи, хорошо одеваться.

Дальше Настя тоже не смогла. Обещала помогать маме. Что-то там помогать — она бессвязно объяснила. В пятницу — снова нет: по пятницам они “генералят” квартиру. В субботу Шестаков попросил назвать ему подлинную причину небрежения его ухаживаниями.

Перемена закончилась, они стояли в коридоре вдвоём. Матвей попытался обнять Настю. Она решительно взяла руки Шестакова, протянула их ему по швам, как делают, когда велят ребёнку — стой смирно!

Мимо пробежала Делибаш, на ходу рассовывая по карманам сигареты и зажигалку. Выронила ручку. Ружникова улыбнулась ей.

“Ты хороший человек, Матвей...” — начала она. Шестаков знал — если женщина говорит мужчине, что он хороший, это не комплимент. Он уже всё понял и расстроился. Будь люди порациональнее, они тратили бы в несколько раз меньше слов. “Ты хороший человек” плюс интонация — зачем дальше сотрясать воздух? Ничего не изменится. Но Настя говорила ещё. Рождала бесполезные части речи. “Не обижайся, Мотя. Сначала я думала, это обычный флирт. Потом — а вдруг смогу тебя полюбить? Но я не смогу. Ты добрый, умный, мне не хочется тебя обманывать. Ты мне нравишься. Хочешь, будем так же вместе сидеть на лекциях? Можем, как раньше, иногда встречаться вечерами. Ты будешь моим самым лучшим другом. Ладно? Давай? Не сердись”.

Матвей слушал. Смотрел на неё. Отвечал: “Я не хочу быть тебе другом”.

Он напоминал себе человека, у которого на вокзале украли чемодан. Новый хороший чемодан. Со всей одеждой, деньгами и документами. Ещё не верил в случившееся и по инерции сохранял способность иронизировать.

Добравшиеся до второго семестра виделись Александру Лазаревичу существами, преодолевшими некую, хоть и начальную, ступень на пути к человеку. Им можно было осторожно протянуть если не всю руку, то во всяком случае палец.

Жовтис осведомился, пишут ли первокурсники стихи. “А разве может человек, учащийся на филфаке, не писать стихов?” — удивился Племянников. Профессор неопределённо улыбнулся. Предложил учредить “Поэтические пятницы”: слушать и обсуждать стихи друг друга или признанных поэтов. Местом проведения выбрали ту самую аудиторию с партами амфитеатром.

Храбрецов читать своё сразу не нашлось. Для затравки вечером ближайшей пятницы профессор принёс магнитофон и плёнки с песнями Галича. Аппарат — ламповый, массивный, с закруглёнными углами. Катюшки, некогда белые, с разметкой на спицах — пожелтели от времени.

Заправляя в магнитофон толстую светло-коричневую ленту, Жовтис рассказывал, как записывал автора “Баллады о прибавочной стоимости”



у себя дома. Тот приезжал из Москвы в конце семьдесят второго, уже исключённый из Союза писателей и Союза кинематографистов, официально запрещённый. После третьего инфаркта, с недавно полученной инвалидностью. Выдавливаемый из страны. Галича привели и познакомили общие приятели. Аня осталась в Москве — пить ему никто не мешал. Он опрокидывал одну рюмку за другой, хмелел, наполнял комнату своим скрипучим, как рассохшееся дерево, баритоном. На плёнке между песнями слышался неясный разговор, смех. Кто-то просил передать холодец. Хлопнула по гитаре ладонь.

Жовтис часто выключал магнитофон: объяснял, кому посвящена песня или что стоит за той или иной фразой. “Облака”, допустим, — Шаламову. Хотя многие не знали, кто такой Шаламов, кивали: Почтенный полосатый старик мог закрыть глаза на пропуски лекций, но не прощал невежества. Слушали “Памяти Пастернака”. К случаю Жовтис рассказал, как прятал в раздвижном кресле “Доктора Живаго”. Когда пришли с обыском из КГБ, перерыли всё. Не стали будить сына, спавшего в кресле. Этот “Живаго” пять лет пролежал потом закопанным в саду, завёрнутым в целлофан, на дне жестяной коробки от печенья. Страх страхом, а английское издание на тонкой белоснежной бумаге уничтожить рука не поднялась.

— Вот Вы же говорите, не посадили Галича, — приподнялась над партией Делибаш. — Ну уехал за границу. Так зато в отличие от СССР там свобода слова была. И потом, извините, в бытовом плане... — она смутилась. — В бытовом плане тоже нельзя отметить. Может, даже лучше там ему стало.

— В Советском Союзе, Таня, — тихо возразил профессор, — Галич как сыр в масле катался. Режиссёры дрались за его сценарии. Был выездным. Деньги и море любовниц. А свобода слова... Кому нужны стихи на русском языке в чужой стране? Писатель и поэт всегда теряет, уезжая. Это уже общее место — то, что я говорю. Но Вы как студент-филолог должны бы понимать такие вещи.

— А если, — вступил Шестаков, — Галич был просто легкомысленным? Известный на всю страну, обласканный, избалованный. Вдруг он просто не предполагал, что с ним так поступят? Так рухнет всё вдруг?

Жовтис задумался. Прошёл до стены и обратно:

— Отчасти верно. Даже тогда, — профессор кивнул на магнитофон, — хорошо помню, он не казался обозлённым. Скорее, снисходительным. Сильно немолодой, больной человек, выгнанный отовсюду, лишённый всего — и, представьте, шутил, смеялся... Но не в одночасье всё вышло. Именно потому, что он был заметным, его вызывали, увещевали, просили. Долго просили.

— Что же он не послушал?

— Всё, созданное им до того, до пятидесяти лет почти, говоря по правде, легковесно. Безусловно талантливо, но поверхностно. Галич апеллировал к чистым, однако, не очень глубоко лежащим чувствам. Не видеть этого, конечно, не мог. И вдруг у него пошла эта волна. Обострённая совесть, гражданственность. Всё настоящее он написал ближе к пятидесяти, после пятидесяти. Но от этого настоящего потребовали отречься. И он выбрал. Хотя кому-то, — Жовтис скользнул взглядом по Делибаш, — это, возможно, будет нелегко понять.



Профессор с усилием толкнул пальцем клавишу агрегата. “Я купил радиолу “Эстония...” — зазвучало из овального динамика. Галичу привезли из Италии стерео-комбайн “Грюндиг”. В бытовом плане он действительно неплохо жил во Франции: работал на “Радио Свобода”, много писал, пел для иммигрантов. “Когда пробегу, не касаясь земли, по февральскому снегу, по еле заметному следу — к теплу и ночлегу — и, вздрогнув от счастья, на птичий твой зов оглянусь — когда я вернусь...”. Только он не вернулся. Упал, побеждённый своей победой, на пол парижской квартиры, сжимая обуглившимися пальцами антенну. И ткнулся головой, как в пристань, в колени своей Нюши. Должно быть, он слышал ещё, как страшно она кричала, звала его. Как прибежали люди из находившейся напротив пожарной охраны. Как приехал его шеф со “Свободы”, как слонялись по комнатам полицейские.

Закончили поздно. В здании давно никого не осталось. Темно в коридорах. Только откуда-то, непонятно, откуда, раздавался голос декана Лашибабаева.

Прежде чем разойтись по домам, спустились в курилку. Племянников облокотился о шкаф, под изречением “Белый медведь мёда не ведаёт”. Шестаков закрыл спиной надпись “Мы стояли на бордюре и де-факто и де-юре”. С того отчисления сдачи экзаменов у Матвея установились с компанией приятельские и даже в некотором роде семейные отношения. Правильнее сказать, семейность исходила с их стороны, но носила всегда доброжелательный характер. Всегда чуткий к подобным проявлениям Матвей не обижался. Его больше не чурались, признали.

“Он не мылил петли в Елабуге и с ума не сходил в Сучане...” — вслух вспомнила Валеркина. Вынула платок, поднесла к глазам. Обычно несентиментальная Делибаш грустно улыбнулась: “Жену жаль. Они тридцать с лишним лет прожили, а она до последнего любила его сильно”.

— Кстати, к нашему давнему спору о незаурядной личности, — напомнил Матвей. — Ты знаешь, что ему при живой жене, которая его любила сильно, костюмерша киностудии имени Горького сына родила?

— Ну-у, Шестаков, — протянул Вадим, — понеслась в рай душа.

— Живая жена к его романам относилась спокойно, — парировала Настя.

— Какая женщина спокойно отнесётся к тому, что у её мужа на стороне появился ребёнок? — встряла в спор Марина.

Племянников оттолкнулся спиной от шкафа:

— Творческому человеку необходим импульс для творчества! Если бы поэты были святыми, что бы мы читали сейчас?!

— Да это элементарное оправдание собственных пороков, — не сдавал позиций Шестаков. — Почему нельзя всю жизнь любить одну женщину, одного мужчину? Мы предаём от скуки. Но давно не страдаем от этого, и уж тем более не боремся с собой, а говорим: “Такова жизнь!”, “Человек сложен!”. Только дело не в сложности. Дело в душевной лени и нашей слабости. Давай скажи ещё: не будь Веня Ерофеев алкоголиком, он бы не написал ничего...

— “Москву — Петушки” точно не написал бы. А пил от жизни тяжёлой: ему кислород перекрывали.



Матвей зевнул:

— Тогда пьянство режимом оправдывали. Уход тоталитаризма лишил пьянство романтического флёра. Водка больше не актуальна.

— Водка всегда актуальна! — провозгласил Племянников. Поймав осуждающий взгляд Валеркиной, спохватился: — Но я борюсь.

— Заметно! — скрестила на груди руки Делибаш.

— Правильно, дядька Вадька. Лечи подобное подобным, — осклабился Гуков.

На лестнице раздались шаги. Все, кроме Марины, на всякий случай спрятали сигареты. В курилку заглянул декан Лашибабаев. Посветил фонариком. Из-за его спины выглядывал завхоз.

— Курм, студэнт Валеркин? — сдвинул брови Лашибабаев.

“Студент Валеркин” потупился, разжал пальцы и коротким движением ноги шугнул окуроч под шкаф. Декан многозначительно указал на шкаф пальцем. Завхоз вздохнул и вынул из кармана чёрного халата складной метр.

Матвею было плохо. Но его состояние ещё не называлось болезнью. Он пока верил — всё можно вернуть. Успешно скрывал переживания от Насти. Не находя в себе гордости избегать её, садился рядом на занятиях. Развлекал, зная по опыту — придавленные, отчаявшиеся в лучшем случае вызывают жалость или равнодушие. В худшем — отторжение. Почти совсем перестал думать об учёбе. Несколько раз устаивался порицания на лекциях Ларионовой. Однажды, уйдя в прострацию за рулём, еле увернулся от встречной машины. Иногда, не сдержавшись, заговаривал с Ружниковой на не дающую ему покоя тему. Неизменно наталкивался на увещевания остаться друзьями. Если при этом она брала его за руку, Матвею хотелось закричать.

Время от времени он по обыкновению брал к себе на выходные детей. Теперь это ещё и помогало отвлечься. Потом рассказывал Насте, как интересно они разговаривают. Дочка предупреждает брата: “Не пачкай рубашку, а то мама из тебя говяжий шоколад сделает”. Сын говорит таракану: “Дурак ты, насекомочка”.

В компании отметили перемены. Ни Настя, ни Матвей никого во взаимоотношения не посвящали. Все догадались сами. Сочувствовали Шестакову. Простодушно старались их сблизить: лестно отзывались о нём в присутствии непреклонной Насти, звали в гости.

Большой любитель копаться в себе, мастер обдирать сложную ситуацию до каркаса, Матвей пытался поверить гармонию алгеброй. Вспоминал себя, когда спокойно жил, не зная Ружниковой, пробовал эмоционально вернуться в то время. Ставил себя на то своё место. Пробовал вырезать период из жизни и склеить концы. Выходило неважно. Вернее, не выходило никак. Тогда он решил отнести всё за счёт физиологии и мужских комплексов. Будем откровенны друг с другом, коллега. Как медик медику: любовь есть химические процессы в коре головного мозга. Нам ли не знать.

Вспомнил несколько примеров, когда добившись близости с женщиной, переставал ею интересоваться. С этим возникли трудности: предмет страсти перестал заходить в гости. Ни под каким предлогом. Ни пообедать,



ни за учебником. Ни даже ознакомиться с новейшими исследованиями австралийских учёных в области среднего уха из недавно купленного медицинского журнала. Утратив интерес к прежней профессии, Шестаков по старой памяти старался быть в курсе.

В конце января Валеркина праздновала день рождения. Позвала университетских, бывшего одноклассника и подругу детства. Племянников оглядел приглашённых:

— А где твой этот... поводыр-то?

— Собака он, а не поводыр.

— Не расстраивайся. Хочешь, Гуков ему морду набьёт?

Сели за стол. Шестаков трогательно ухаживал за Настей. Мама Марины, постоянно улыбаясь, светски общалась с гостями:

— Славик, вы такой молодец. Как лихо Жовтиса сдал! Вадим, вы слышали — МХАТ приезжает? У нас в школе некоторые учителя уже билеты купили. У кого мужья богатые, ха-ха-ха! Таня, мы вашу последнюю статью в школе читали. Я всем говорю: эта девочка с Мариной учится. Журналистика — так интересно!

— Ничего интересного, — припечатал быстро набравшийся Племянников.

— Ну как же...

— Вы посмотрите, кто этим занимается, Эвелина Станиславовна. Старые журналисты пишут, как раньше в газету "Правда" писали! По-другому не умеют. И ещё считают — их канонизировать надо. "Нам в редакцию письма мешками приходили!" — передразнил кого-то Вадим. — Где? Дайте, я хочу видеть. Не письма — их они хранят. Где то, что вы сделали?! Достоевский, простите, сгнил давно, а "Идиота" до сих пор читают. А эти живы, да того, что намарали, на следующий день нет. Не бывает великих журналистов! Не бы-ва-ет! А молодые — тупые и самовлюблённые!

— Вадик, я не пойму: ты хочешь поссориться? — переплела пальцы у подбородка Делибаш.

— За присутствующих здесь дам! — поднял в ответ рюмку Племянников.

К середине вечера мама Марины отяжелела от выпитого и съеденного. Испытала потребность излить душу. В качестве жертвы безошибочно определила Шестакова. Оттёрла его от Ружниковой. Похвалилась значком "Отличник народного образования". Пожаловалась на директора, давшего мало часов. "Но мы же, мягкотелая интеллигенция, не можем вырвать из горла!". Посетовала — Мариша помешалась на замужестве.

Расходились поздно. Недвижимого Племянникова оставили до утра. Гуков с Делибаш быстро поймали такси. Настя взяла Матвея под руку. Он прижал локтем её запястье.

— Мотька-а-а, я так напилась...

— По тебе не скажешь.

Настя обладала тем качеством порядочных женщин, когда излишки выпитого мало отражаются на поведении.

— Папа меня пришибёт. Надо было у Валеркиной остаться.



— Вернись.

— И так Вадька там дрыхнет.

— Хочешь, поедem ко мне, — бесстрастно предложил Матвей. И задержал дыхание.

Нетрезвая попутчица задумалась:

— Только давай договоримся на этом берегу — спим в разных комнатах. Пообещай.

— Клянусь! Клянусь! Клянусь!

В прихожей он помог ей снять дублёнку. Позволил без приключений разуться.

Вошёл за ней в комнату. Обнял и поцеловал в губы.

— Мотя!

Не давая вырваться, притянул к себе.

— Матюша!! Ты обещал.

Он расстёгивал на ней платье, целовал шею, плечи. Настя добросовестно сопротивлялась, но кровь стучала в его висках. Она видела, как пульсирует серая жилка у брови.

— Матвей Шестаков, прекрати!

Ему только сильнее хотелось. Треснула ткань.

— Матвей, я прошу...

Он совсем раздел её. Ласкал живот, кусал губами твёрдые тёмные соски. Женщина противилась слабее. Она ощутила тепло внутри себя, внизу. Почувствовала слабость. Обхватила Матвея рукой за шею, прикоснулась горячей щекой к груди. Расстегнула на нём джинсы, сунула туда руку, сжала пальцы. Матвей застонал. Выбрался из остатков одежды. Настя обняла его ногами, подтолкнула в себя. Прерывисто вздохнула. Сначала он брал её бережно, потом, с каждым движением, — всё более страстно. Возбуждение росло. Теперь больше всего он боялся взорваться раньше, чем должен. Но любовница не давала остановиться. Обнимая и прерывисто дыша, размеренно двигалась ему навстречу. Ещё чуть-чуть, и произойдёт то, чего он себе не простит.

В такой ситуации надо уйти мыслями как можно дальше. Думать о совсем постороннем. Шестаков стал лихорадочно искать. Метнулся к тому дню, когда увидел Ружникову впервые. Не то. Вспомнил строчку: “Графиня, я стрелялся на дуэли...”. Правильно будет — “подрался на дуэли”? Или “стрелялся” допустимо? Настя поцеловала его в губы мокрым поцелуем, впиалась пальцами в плечи.

Думать о постороннем, о чём угодно... Он шаркнул взглядом по тёмным книжным полкам. В полоске света с улицы различил надорванный корешок Тынянова. Увидел Пушкина, едущего в санях. Сани — через Троицкий мост. Данзас сидел рядом или напротив? Где-то так же спешил Дантес. Холодно. Больше четырёх часов дня. Матвей старался не увеличивать темп. Настя положила ноги ему на плечи, вскрикнула, когда он вошёл в неё глубоко и резко. Качаясь в санях, хотел ли Пушкин убить Дантеса? Именно убить? Хотел ли Дантес застрелить его? Или оба надеялись на что-то? Что один выстрелит вверх. Что другой только ранит. Голова кружилась от ощущения кожи её бёдер. Она протянула руку, неровным движением вытерла ему пот со лба. Пушкин сел на сугроб, равнодушно смотрел, как секунданты выбирают



площадку. Наконец Данзас спросил, устраивает ли его. “Мне это решительно всё равно, только, пожалуйста, делайте всё это поскорее”. В глубоком снегу протоптаны дорожки для дуэли. Данзас и Д’Аршиак кинули на снег шинели: обозначили барьеры. Матвей смял ладонью груди Насти, засмотрелся на бледно-голубые вены, просвечивающие у сосков. Она сжала его бёдрами. Инженер-полковник Данзас махнул шляпой, противники начали сходитьсь. Матвей увидел срезы стволов. Очень крупно, крупнее, чем в действительности. На стали — микроскопические царапины толщиной в след карандаша. Властно повернул женщину лицом к окну. Поцеловал родинку на спине. Провёл ладонями по всему её телу. Взял за талию, качнул к себе. Она послушно подалась навстречу, жадно приняла его в себя. Пушкин быстро подошёл к барьеру, прицелился. Дантес опередил его, не дойдя до своего барьера шага. Поэт упал на шинель. Остальные бросились к нему. Он жестом вернул Дантеса на место. Француз встал боком, закрыв грудь правой рукой с пистолетом. Пушкин лёжа прицелился. Выстрелил. Пуля пробила Дантесу предплечье, ударилась в пуговицу. “Быстрее, Мотя, ещё... — Настя задышалась, — я хочу... ну!”. Её мускулы ходили под блестящей от пота кожей. Пушкин говорил отрывисто, часто проваливался в обморок. Его рвало. С предосторожностями он был привезён домой. Лежал в своём кабинете, на чёрном диване. 29 января набережную Мойки заполнила толпа. Много людей находилось в доме. За несколько минут до смерти пульс стал падать. Руки похолодели. “Кончена жизнь, — произнёс поэт. — Теснит дыханье”. Можно восстановить всё, подумал Матвей: как он улыбался, как смотрел. В музее потрогать сукно его одежды. Нельзя только услышать голос. Несложно вообразить тембр, придыхания, оттенки. Но не услышать. “Что он?” — негромко спросил Жуковский. “Кончилось”, — ответил Даль. Весь окружающий мир для Матвея вопреки воле начал стремительно сжиматься до размеров собственного гипоталамуса. Одновременно он почувствовал, как податливое тело Насти в его руках слабеет и опускается на ковёр.

Потом они перебрались на диван и продолжали до утра. В паузах болтали.

— Расскажи что-нибудь, — просила Настя.

— Всё равно — что?

— О себе расскажи. О детстве, например. Какой ты был тогда?

В голосе улавливалось едва заметное раздражение. Матвей задумался.

— Даже не знаю... В детстве я считал, что врачи никогда не болеют, а в Москве нет алкоголиков. Ведь нелогично болеть, если умеешь лечить, и пить, когда живёшь в таком замечательном городе.

— Смешно. Ещё.

— О детстве?

— Угу.

— В роддоме я подхватил сепсис...

— Что такое “сепсис”?

— Заражение крови. Мама сказала: родите себе другого. Мама ответила: я не хочу другого, хочу этого. Мог помочь один препарат, стафилококковый анатоксин. В городе его не было. Тогда дед поднял все связи, и лекарство доставили на самолёте с другого конца Союза...



— Что же он не поднял связи, когда его невестку в грязный роддом клали?

— Он никогда не требовал ничего лишнего. Ни для себя, ни для родственников. И такая же была бабушка. Когда я ещё не родился, дед служил в Чечено-Ингушетии. Они жили в Грозном, в Доме актёра. Этажом выше — Махмуд Эсамбаев. Потом отец женился на маме. Она увезла его сюда, к себе на родину. Тётка замуж вышла. Квартира сразу стала большой. Когда при размене им предложили доплату, бабушка ответила: “Мы жилплощадь не торгуем!”.

— Ну и... зря, — Ружникова приподнялась на локте. — У советских — собственная гордость?

— Гордость не зависит от строя. Она или есть или нет. Но если смотреть под таким углом, то у советских её было больше, чем у нас сейчас.

— Ты бывал в Грозном?

Матвей бывал в Грозном. Ездил с отцом. Дом, где после обмена жили его дед с бабкой, стоял на улице Красных фронтовиков. Рядом с Домом офицеров. Тут же — летний кинотеатр. Засыпая, маленький Матвей слышал заплывающие с тёплым летним ветерком в распахнутое окно неясные диалоги кинокартин. Вскоре дед перевёлся служить поближе к сыну: уехал из Чечено-Ингушетии. Это было очень давно. Говорят, потом и дом на Красных фронтовиков, и летний кинотеатр вместе с обителью офицеров разрушила война.

— Иди ко мне, — позвал Матвей.

Потом Настя снова лежала у него на плече и донимала вопросами:

— Твой отец тоже был военным?

— Дед хотел. Но папа военное училище бросил. Зачем-то, не ясно — зачем, поступил в сельхозтехникум. Думаю, он сам не знал, чего хотел в жизни. Единственной его страстью было лежать на диване и читать книги. Он отличался отвратительным характером. Умный хороший человек любил унижать других: как это сочетается? Когда в компании мужчины начинали хвалиться жёнами, он скромно дожидался очереди, а потом, при сидящей рядом маме, изрекал: “А мне моя жена по лотерее досталась”.

— За что?!

— Бабушка всю жизнь прожила за дедом, как за каменной стеной. Он на неё, как говорится, надышаться не мог. Ни дня в жизни не работала. Дома всегда были первое, второе, салат и компот. К пирожкам — непременно бульон. А мама ходила на работу. Особых разносолов, само собой, не наблюдалось. Отец называл её еду затирухой. Потом, когда они уже развелись, но ещё жили вместе и готовили каждый себе, она говорила, что его стряпню надо сыпать в щели между плинтусами: тогда тараканы передохнут.

— Я бы сразу ушла, — высказала своё мнение Настя. — Давно умер твой отец?

— Пять лет назад.

Матвей вспомнил, как в салоне ритуальных услуг им подсунили рубашку на несколько размеров меньше. Как потом в морге её пришлось разрезать на спине. Коротких рукавов в пиджаке не видно. После похорон ему приснился сон. Пришёл отец и попросил: “Купи мне



рубашку”. — “Как же я её тебе передам? Туда?” — оторопел Матвей. “Ты приходи на кладбище, — ответил он. — Там собаки бегают. Отдай им. Они мне принесут”.

— Маме с ним всегда приходилось нелегко. Он в жизни гвоздя в стену не вбил. Если она его в этом упрекала, отвечал: “Надо было выходить за плотника”. Когда кран ломался — за слесаря. Всё на себе тащила. А папа приходил с работы, укрывался одеялом в пододеяльнике и читал. В выходные с утра читал.

— А ты далеко ушёл?

— Не надо стараться меня обидеть. Невозможно не любить меня больше, чем я сам себя не люблю. Относиться ко мне хуже, чем я сам к себе отношусь.

— Я так спросила...

— Иногда смотрю в зеркало и говорю себе: ты — урод. Никто. Дерьма кусок. В 30 лет у тебя никого и ничего нет. Когда-то ты думал: не станешь писателем — ну и пусть. Тогда скажешь себе: у меня отличная семья. Верная жена и любящие дети. Но семьи нет. И вряд ли я уже стану хорошим литератором. Я не озлобился и не стал считать, что в этом виноват кто-то. Никто не виноват. Так вышло. Или виноват сам.

Настя скинула одеяло, подняла повыше подушку. Встала, подошла к окну, приоткрыла створку:

— Жарко топят здесь... Я тебе, Мотя, хочу вопрос задать, как Вадьке тогда задавали: если бы тебе предложили на несколько лет назад вернуться? Лет на десять. Как бы ты жизнью распорядился?

Шестаков перевернулся со спины на бок:

— Почему-то принято это как подарок воспринимать. Вадик правильно сказал — частями не получится. Другим человеком родиться надо. А иначе для меня это оказалось бы наказанием: снова те же десять лет тащить на горбу. Не надо!

Настя закрыла окно:

— Дует. Матвей, зачем ты мне всё это говоришь? Ведь если я правильно понимаю, ты хочешь, чтобы у меня возникли к тебе чувства или что там... Симпатия.

— Мне нужно, чтобы чувства ты испытывала ко мне такому, какой я есть. С комплексами, ничего не добившемуся в жизни, с заурядной внешностью.

— Внешность-то тут при чём? — улыбнулась Ружникова.

— Внешность — очень важно. Помнишь, как социализм развенчивали? Сначала Сталина с грязью смешали, потом Хрущёва. Над Брежневым и Черненко ржали. Андропова — туда же. И только Ленина до последнего не трогали. Ленин долго святым оставался. И всё-таки потом и его. Но я уверен — если бы он был не маленький, лысый и в кепке, а молодой, длинноволосый и голубоглазый — такой Сен-Жюст — его бы не тронули. А так оказалось — прищур никакой не лукавый, а просто хитрый.

Матвей взял руку Насти в свою. Прижался губами к ладони. Он снова был счастлив. От обладания той, которой болел, а не той, какая подвернулась. Подумал — теперь обязательно станет хорошо. Ведь женщина не ложится в постель с мужчиной просто так.



Шестаков проснулся после полудня. Настя ушла, будить не стала. Он долго ей не звонил: боялся, спит. Вечером набрал номер. Трубку сняла мама. Несколько раз переспросила, кто звонит. Сказала — Насти нет дома. У неё получилось “Наси”. А звонившему чудилось — в космосе телефонной мембраны витает Настин голос.

На следующий день он приехал в институт пораньше. Ружникова опоздала. Избегала его взгляда. На перемене Матвей догнал её в коридоре. Делано-игривым тоном поинтересовался: “Девушка, что вы делаете сегодня вечером?”. “Девушка” остановила его: “Мотя, всё! Не надо больше ничего, ладно?”.

Ему показалось, в этот момент он стал прозрачным. Организм нашёл такую форму защиты. В воздушном шарике желудка стоял чай. Трубками неоновой рекламы белели рёбра. Пузырь сердца качал по целлофановым венам воду. Колба черепа защищала желе мозга. Настины слова прошли насквозь, как свет, нигде не осев. Жаль, нельзя простоять так, замерев, всю жизнь. Матвей переступил с ноги на ногу и снова обрёл пигмент.

— Послушай, для меня это важно. Коридор — не самое удачное место, — схитрил он. — Поедем ко мне, спокойно обсудим.

Ружникова поцокала языком:

— Это мы уже проходили. Нет, Мотя, мы никуда не поедем. И говорить я тоже больше не хочу.

— Нет, говорить мы будем! — Матвей больно встряхнул её за плечи. — Я по крайней мере имею право знать!..

На них стали оглядываться. Протрещал звонок.

— Хорошая, милая, я прошу тебя, — скороговоркой заумолял Матвей, — что мешает? Ты не замужем, я ничем не связан. Не дурак и не квазимодо.

Мимо спортивно прошагал Гуков. Хлопнул Шестакова по спине: “Дядька Матвей, пошли учиться”. Шестаков скривил губы в подобие улыбки. У Насти повлажнели глаза:

— Прости меня, Мотя. Пожалуйста. Ты действительно не дурак и не квазимодо. Ты замечательный, честный, хороший. Я думала о тебе. О нас. Даже себе не могу объяснить — что мешает. Но — мешает.

Матвей заморгал, чтобы не заплакать:

— Зачем же тогда ты целовалась со мной? Спала?

— Хотела, чтобы у нас всё было хорошо. Старалась. Не получилось. Прости. Мне стыдно.

— Тебе не понравилось?

— Не очень.

— Мы притрёмся.

— Не притрёмся. Мы не совсем совпадаем физиологически.

— И только?

— Не только...

Порядок “поэтических пятниц” был такой. Согласившемуся принести своё творчество на алтарь критики вменялось заранее распечатать стихи в нескольких экземплярах. Раздать потенциальным рецензентам



для ознакомления. Потом, уже во время самого действия, автор читал, а желающие высказывались после каждого стихотворения. Жовтис, не желая давить авторитетом, говорил после всех, немногословно, пунктиром.

В ближайшую пятницу отважился Племянников. Небрежно совал всем без разбору по десятку распечатанных на институтской машинке произведений. Говорил, сам знает цену своим стихам. Демонстрировал безразличие к грядущему мероприятию. Но, конечно, волновался. Иногда ему возвращали “слепые” копии.

Вечером “дня икс” Вадим выглядел очень богемно: с трёхдневной щетиной и чёрным шейным платком в крупный горох. Послушать пришли многие, в том числе с других потоков. Жовтис сидел во втором ряду с краю. Студенты передавали друг другу листки с колонками строф.

Племянников читал грамотно, правильно расставляя акценты. Не тянул, не завывал. Словно делился мыслями:

*Нищим у церкви подайте на водку:
Громче Христу пусть поют.
Пусть они сядут в дырявую лодку
И до Него доплывут.
Пусть, с ними выпив, не станет Он спорить,
Дескать, грехов через край —
Просто покажет им дырку в заборе,
Которым очерчен рай.*

Стихи принимались по-разному. В основном нравились.

Встала Валеркина. Держась обеими руками за поднятую крышку парты, объявила, что в очередной раз убедилась: поэзия действительно делится на мужскую и женскую. И переживания поэта, представившего сегодня на суд товарищей свои творения, ей лично понятны, но, пусть он не обижается, не близки. Ибо души их настроены на разные октавы.

Матвей от публичного выступления воздержался. Для себя определил стихи Племянникова как интересные.

Жовтис высказался в конце по всем текстам сразу. Отметил сильные и не вполне удавшиеся места. Как удачную выделил рифму “Ленина — пельменями”. Похвалил образ “давайте же в души друг к другу, как дети с мороза войдём”. Назвал свежей мысль насчёт дырки в заборе рая...

— Спасибо, Вадим, — поблагодарил Жовтис. — Кто-нибудь вдохновился примером и познакомит нас со своим творчеством через неделю?

Желающих не оказалось.

— Может быть, тогда в следующий раз почитаем кого-то из мастеров? Все согласно загудели.

— Кого же?

— Цветаеву, — предложила Ружникова.

— Евтушенко! — выкрикнул Гуков.

— Ещё не хватало, — вырвалось у Шестакова.

— А чем Вам плох Евтушенко? — провокационно осведомился Почтенный полосатый старик.

Матвей неопределённо улыбнулся. Не хотелось ввязываться в спор.

— И всё-таки? — не отставал профессор.



— Хорошие же стихи! — наддал Слава. — “Со мною что-то происходит — ко мне мой старый друг не ходит”.

Матвей объяснился. К самым стихам Евтушенко он, можно сказать, относится неплохо. Но нельзя же в самом деле получать от режима сладкие куски, лезть в лучшие советские стихотворцы и в то же время алкать любви народа, а в определённых кругах ещё и желать слыть диссидентом. Так не бывает.

— Старина Мат правильно говорит, — поддержал Племянников. — Когда у одних всё отнимали, сажали и на Запад выгоняли, Евтушенко с Советской властью в бирюльки играл! У меня даже про него стихотворение есть.

— Ну?! — удивился Жовтис. — Любопытно. Не прочтёте ли?

Вадим театрално прочистил горло, поправил платок на шее. Объявил: “Легенда о посещении поэтом Евгением Евтушенко детского приюта в городе на Неве”!

*В наш приют, поддавши хорошенько,
Будучи проездом в Ленинграде,
Заходил Евгений Евтушенко
И давал нам денег Христа ради.*

*Ласково нас гладил по головкам,
Импозантен, худ и не бездарен.
Мы купюры комкали неловко
И шептали тихо: “Добрый барин...”.*

*Он привёз нам книжечек штук пятнадцать,
Но для нас невелика цена им:
Только мы стеснялися признаться —
Мол, звиняйте, грамоте не знаем.*

*Купим жмыха, монпансье грамм двести,
Сходим в клуб, посмотрим фильм “Бродяга”
И любого загрызём на месте,
Кто нам скажет, что стихи — бодяга.*

*Вот же как бывает! Вот везуха!
Никогда нам не забыть про это.
Голод, тиф, безграмотность, разруху
Победят советские поэты!*

Теперь Матвей встречал предмет своих воздыханий только на занятиях и в ставшей для них общей компании. Настя не отказывалась сидеть рядом на лекциях, изредка соглашалась сходить в кафе. Правда, неукоснительно за себя платила и пресекала разговоры о чувствах.

Шестаков ощущал себя отвратительно. И, что хуже всего, постоянно. Мысль о ней, единственная, сидела в его мозгу. Отвлечься удавалось редко. Даже когда среди ночи его вытаскивал из постели излишек выпитой перед сном жидкости, первое, о чём он думал — что не нужен Насте.

Вопреки ожиданиям, обладание Ружниковой его не охладило. Скорее, результат получился противоположным.



Он хотел снова залучить подругу к себе. Надеялся — если не помогают слова, подействуют руки и губы. “Надежда курса” категорически пренебрегала гостеприимством. Не помогали ни просьбы, ни наивные хитрости. За последнее время она переступала порог известного жилища дважды. Один раз вместе с Гуковым и Делибаш, нагрянувшими пообедать. Другой — с Валеркиной, решившей передать детям Шестакова вещи подросток-племянника.

Матвей пробовал найти лекарство в себе. Смотрел, на что можно опереться. Ворошил накопленное за годы. Перечитывал самые любимые книги, слушал всегда вдохновлявшую его музыку, смотрел тонкие, лиричные комедии. “Вот же всё это никуда не исчезло, — убеждал он себя. — Ты читал и слушал то же самое, когда не было её. Восхищался, переживал, смеялся, даже не подозревая о её существовании. Литература, музыка — они были, есть сейчас и останутся потом, когда ты забудешь её”. Даже в таком состоянии Шестаков допускал: когда-нибудь должно стать легче, вечной любви не бывает. В настоящем такие экзерсисы не помогали. Как последнее средство он использовал плохие, недостойные мысли о той, которую желал. Что у него может получиться с женщиной, знающей наизусть песни Эллы Богачёвой? Увлекающейся телесериалами? Но и очевидность Настиных недостатков не помогала. Он как-то незаметно пересмотрел взгляды на спутницу жизни в принципе. Если любишь, разве важно, какие книги читает твоя избранница?

Вопрос — сколько продлится такая любовь?

Он не мог ни на чём сосредоточиться. Если бы существовала таблетка, выпив которую можно было ощутить себя человеком, каким он впервые входил в аудиторию с синими партами, Матвей отдал бы за неё если не всё, то очень многое. И дверь не открыл бы. Он хотел снова задышать глубоко.

Шестаков выглядел рассеянным и невесёлым. Ему шло. Стороннему наблюдателю хотелось применять к нему слова высокого штиля. Грусть в глазах называть тоской или печалью. Уходы в себя, чередующиеся с жаждой общения, — метаниями.

От несчастной любви Матвей стал, как выразилась Валеркина, звенящим. Без причин говорил о том, как мало мы иногда ценим друг друга, как не стараемся разглядеть то хорошее, что в нас есть. К нему относились с пониманием. Однажды Шестаков заметил на обочине бомжа. Притормозил: “Отец, давай подвезу?”. Державший путь к свалке через дорогу дед не нашёл в себе сил отказаться. Назвал пункт в другом конце города, откуда потом, матерясь, возвращался полдня.

Как-то в курилке отвергнутый влюблённый взялся разглагольствовать перед Гуковым и Племянниковым на тему “жизнь — лишь сон”. Внезапно оборвал себя на полупhrase, задумался, повернулся и стал подниматься по ступенькам.

— Чего он? — не понял Слава.

Племянников сочувственно вздохнул:

— Видишь ли, друг мой... Человек полюбил другого человека...

— Тётку Настьку? — уточнил Гуков.

— Тётку Настьку. А она его — нет. Не полюбила. И, кажется, надежды никакой. Теперь человек задаёт себе вопрос, который без малого полтора



века тревожит русскую интеллигенцию. Какой вопрос, Слава, полтора века тревожит русскую интеллигенцию?

— Куда уехал цирк?

Племянников взял Гукова под локоть, повёл наверх:

— Это — вопрос “что делать?”.

— И что ему делать? — искренне посочувствовал Гуков.

— Самое печальное в этой ситуации то, что, как мне видится со стороны, сделать совершенно ничего нельзя.

В последнее время у Шестакова стала чаще болеть голова.

После первой сессии на курсе стало вольнее. Лекциям чаще предпочиталась пивная в двух кварталах. Книги из длинных списков открывались уже через одну. Перед семинарами те, кто прочёл, пересказывали в коридорах тем, кто не дал себе труда просмотреть хотя бы по диагонали. Стыдливый с похмелья Племянников, посыпая голову пеплом, зывал к добросовестной Валеркиной: “Ты Расскажи мне, пани Марина, как там Сомс Форсайт... Всё хорошо у него? Я, пся крев, хотел дочитать вчера, да брат заглянул”. Валеркина надменно топорщила пушок под носом и снисходила.

Уже не так благоговейно относились к профессорам. А тут ещё вышел инцидент с Жовтисом. Его аспирант Коля угодил в аварию. Переломал обе ноги. Через это потерял способность вести аудиторные занятия. Лекции, которые он читал, перешли к Александру Лазаревичу. Выход был: профессор мог поделиться студенческой писаниной. Коля работал бы, сидя дома. Жовтис отказал. Имел право.

Обиженный Николай захотел выглядеть жертвой. Некоторые преподаватели его жалели. Осуждали профессора. Под сводами факультета бушевали страсти.

— Чего он жмётся! — кипела преподаватель зарубежной литературы Лиля Альбертовна. — Ему на пенсию давно пора! Три дня назад смотрю — наш Александр Лазарич в разных ботинках пришёл.

— Это он от рассеянности, Лиля, — заступалась Ларионова.

— Да от старости, Вера, от старости...

Не укрылось и от студентов. То там, то здесь перемывали Почтенному полосатому старику кости. Сцарапывали с крестика эмаль.

Однажды среди своих разговор об этом завела Делибаш. В газете, куда она писала, ей рассказывал о Жовтисе пожилой ответсек, знавший профессора страшно сказать сколько лет.

Блестящий литературовед, Жовтис никогда не пытался разглядеть в студентах что-то, если оно скрывалось за растерянностью, неумением формулировать. Отсеивал сразу. Зато безошибочно выхватывал кропотливых, которые сумели бы развить его идеи. И уж этим давал щедро. Воспитывал свободные личности, учил нестандартно мыслить. Иногда с риском для себя. Происходила выгодная обеим сторонам разумная эксплуатация.

В конце пятидесятых, распространялась Делибаш, он взял потрясающую аспирантку, Вересову. Редкое чувство слова, талант учёного. Она молилась на мэтра и писала под его руководством работу о Пастернаке. Работа была почти готова, когда в 1964 году с Борисом Леонидовичем произошла та самая неприятность. И Жовтис ученицу оставил.



— А что он мог сделать? — выдохнул захваченный историей Гуков. — Отстаивать тему?

Отстаивать работу о Пастернаке тогда было не просто глупо, а губительно. Но он не предложил Вересовой ничего нового, никуда не повёл. А ведь у неё ушла на это молодая, самая свежая, мысль. Лучшая кровь. Из неё так ничего и не вышло впоследствии.

— Как непорядочно, — осудила профессора Ружникова.

— Неправда ваша, — возразил до сих пор молча куривший рядом старшекурсник Аксюта. — История-то известная. Жовтис ради Вересовой в лепёшку расшибался, устроил ей встречу с Пастернаком. А когда вся эта трехомурдия произошла, Вересова в штаны наложила. От работы откровенно отключилась, а с Жовтисом и здороваться перестала. Как чёрт от ладана шарахалась от него.

— А если бы даже и так, Делибаш, как ты говоришь! — возмутился Племянников. — Почему он должен был эту Вересову куда-то вести?! Он и так много дал ей, возился. Если она действительно обладала талантом, что ей мешало?

Жовтис дружил с Лотманом, ездил к нему в Тарту. Их связывала работа, похожие взгляды на жизнь. Но стиховедение постепенно перестало быть актуальным. Механическую работу по подсчёту количества рифм стали делать машины. И в начале семидесятых Лотман ушёл от структурализма в культурологию. А Жовтис не нашёл, куда уйти. Или не захотел отказываться от дела. Продолжал учить аспирантов рассыпать чудо на составляющие.

— Да-а, сложный человек... — неопределённо произнесла Делибаш. — Неоднозначный.

— Да! — вспыхнул Вадим, — он пачками отсеивает студентов. Это обидно, но это не преступление. Просто он любит нестандартных людей. Да, он не нянчится с аспирантами! Но разве он обязан? Такой человек может себе позволить!

— Я с Вадькой не согласна, — вполголоса сказала Ружникова Матвею. — Все: Жовтис! Жовтис! Ну что Жовтис? Всю жизнь, как папа мой, самиздат читал, да “голоса” по ночам на кухне слушал. Сидел он? Не сидел.

Шестаков с минуту колебался. Наконец решил:

— Ты знаешь, как я отношусь к тебе и не надо бы мне говорить то, что я сейчас скажу... Но ты асфиксию с эвтаназией не путай. Папа твой всю жизнь тявкал, как пёс из подворотни. А Жовтис учил студентов не бояться. В этом разница. А что не сидел... Ну, не сидел.

Настя оскорбилась. Потом они, конечно, помирились, но отношения лучше не стали.

Матвей долго не мог определить природу своего чувства к Насте, копался в себе. Когда сомнений не осталось, позвонил и признался: “Я люблю тебя”. Она повесила трубку.

Он использовал любой предлог, чтобы просто побыть рядом. Провожал домой. Таскал по кафе. Тратил на неё все деньги. В любую погоду мотался на машине по городу, их зарабатывая. Предлагал себя в качестве шофёра, если ей было куда-нибудь нужно. Настя испытывала некоторые сомнения морального порядка, но не отказывалась.



Он вспомнил, как давно не сочинял стихов. Написал в её тетради по фонетике, на последнем листе:

*Если врач мне, глаза свои пряча,
Скажет: “Завтра ты — в мире ином”,
Я всю ночь, как собака бродячая,
Простою под твоим окном.*

Она вырвала лист.

Матвей постоянно чувствовал усталость. Нервничал. С трудом засыпал. Утром хлебал крепкий кофе и ехал в университет.

Как-то после занятий они с Племянниковым забрели в гастроном. Вадим прихватил с полки бутылку коньяку. Протянул товарищу:

— Возьми.

Шестаков без слов отстранил ёмкость. Племянников не отставал:

— Коньяк — не водка: благородный напиток. Жалко смотреть на тебя. Поверь моему богатому опыту, станет легче.

Матвей так же молча сунул бутылку в пакет, где уже покоилась выпотрошенная курица. Добавил банку шпрот, окаймлённую традиционной, чёрной с золотом, этикеткой. Подумал: может, в шпроты попадают Богом избранные рыбки? За особые заслуги перед Нептуном их, маленьких, невзрачных, хоронят по высшему разряду.

Как классическое дополнение к коньяку, в пакет упал нуждающийся в наблюдении у дерматолога лимон.

Масло на толстой чугунной сковороде раскалилось быстро. Матвей распластал в нём курицу. Отклонившись, сколько мог, придавил ко дну длинной двузубой вилкой в вытянутой руке. Прижал, как борца к татами. Масло зашипело, на кафеле сбоку появились жёлтые капли.

Тонко нарезал лимон. Открыл консервную банку. Обнаружил в углу холодильника оливки. Отвинтил с бутылки крышку. Налил. С предосторожностями перевернул поджарившуюся курицу. Большим глотком выпил коньяк. Отправил следом медальон лимона и рыбёшку. Чуть погода прожевал оливку. Внутри немного отживело. Вроде бы. Едва-едва.

Матвей посолил курицу, немного посыпал без разбору какими-то приправами, снова перевернул. Налил ещё. Выпил. Закусил в том же порядке. И теперь абсолютно уверенно мог сказать — стало легче.

Нашёл в комнате кассету с джазом, включил. Вынул из шкафа турку, начал варить кофе. Закурил. Мысли стали приятнее, картина мироздания обрела контуры. Если в жизни действительно нет счастья, то остаются уютные вещи, вкусная еда. Их не надо стесняться. Не надо пренебрегать простыми, вечными ценностями. Они не предадут, как мечты. Ещё есть музыка. Универсальный материал, примиряющий со всем и вся, помогающий сочетать не сочетаемые компоненты.

Матвей разрезал курицу на куски, сдобрил золотистую корочку мятым чесноком. Снова выпил. Выключил свет. Умиротворённый, смотрел в тёмное окно. Коньяк — то, что нужно. Люди, его пьющие, несомненно добрее тех, кто предпочитает водку. Пусть и не такие весёлые.

Он выпил всю бутылку и лёг. Заснуть оказалось нелегко. Стоило смежить веки, комната начинала опрокидываться, как вагон пущенного под



откос поезда. Матвей открывал глаза и видел на окне перед собой едущие шторы. Километры бегущего льна.

Комната переворачивается... Шторы едут.. В конце концов он дотащился до уборной и с утробными звуками выблевал ужин в унитаз.

Утро было inferнальным. Проглотив таблетку от головной боли, Шестаков на трамвае потащился на занятия. Хотелось увидеть её. Благодаря Насте в последнее время ему открылось совершенно первобытное значение слова “хочу”. Какое, наверное, вкладывал в него человек, прорывавший “хочу” впервые на Земле.

Одной рукой Матвей держался за поручень над головой, другой запихивал у горла воротник пальто. Смотрел на чёрно-белую улицу, двигавшуюся за окном. Его знобило.

В этот день она не пришла. Он хотел позвонить. Из гордости не стал. Стараясь реже дышать в сторону Ларионовой, сдал лабораторную по системе гласных фонем. Подремал на “психологии” и “латыни”. Обменялся мнениями о Достоевском с Гуковым, который два раза тщился читать “Преступление”, три — “Братьев Карамазовых”, но ни разу не забрался дальше середины. “Сколь несоизмерим масштаб личностей! — самокритично сокрушался Слава. — Достоевский мучительно искал Бога, а я так трудно ищу Достоевского”.

Как не искущённому во пьянстве, мысль опохмелиться Матвеем не приходила. Пожалуй, напрасно. “Где ты, Настя... где ты, Настя...” — терзал он себя. А ведь как врач, лучше многих понимал смысл формулировки “алкоголь не решает проблем”. Но бутылку коньяка в конце дня всё-таки купил. Теперь без посторонней помощи.

На следующий день он снова маялся. Сидел рядом с Настей, не решаясь взять за руку. Жался к ней больными нервами. Травил себя её дыханием и голосом. Зато вечером выпил и — отпустило.

Спиртное было лекарством, шло впрок. Ставило на ноги. Матвея это пугало. Он искал оправдания. Успокаивал себя. Лучшего антидепрессанта, чем алкоголь, не существует. Медицина рекомендует. Меж приличными людьми водится за ужином каждый день. Но пить начал всерьёз. Внезапно и крепко. Болел по утрам. За ничтожностью стажа его ещё не качало с похмелья из стороны в сторону. Не штормило, как говорят. Лишь когда вставал за анальгином, чувствовал, будто в затылок всаживают пулю за пулей. А он всё не падает и не падает.

Не опохмелялся стоически. И не опускался до дешёвых напитков. Зато стал их разнообразить. Выучился пить водку.

Как неглупый человек, извлекал из создавшегося положения пользу. Изучал новое для себя состояние. Наблюдал себя, как доктор Павлов. Открыл, что если сочинять под градусом — выходит чушь. Зато именно с похмелья, когда чувства обнажены, надо читать хорошие, умные книги: восприятие глубже.

Постиг, сколь нуждаешься поутру в любви, не важно, чьей. И как хочется поговорить с Богом.

Лекции отошли на задний план. Шестаков изменил тактику: решил, если видеть источник боли реже, скорее пройдёт. Не проходило. Тогда через два дня на третий Матвей добирался до университета, улыбался Насте и начинал сначала.



Иногда отправлялся к её дому, ждал у подъезда. В один из таких вечеров, довольно нетрезвый, столкнулся с папой-инакомыслящим. Хватило ума не вступать в переговоры. Шестаков с подлинно виндзорским достоинством полуприкрыл в приветствии глаза и сел на скамейку. Увидев Настю, пошёл навстречу. Вынул из-под пальто цветы в кульке, похожем на большую мутную сосульку. Взял её ладонь в свою, поцеловал. Ружникова досадливо отняла руку. Оглянулась, не смотрят ли соседи:

— Мотя, опять за рыбу деньги...

Он снова взял её за руку:

— Выйди за меня замуж.

— Матюша, — голос Насти стал мягче, — поезжай домой.

— Все женщины хотят замуж.

— Я тоже. Но не за тебя. Человек, за которого я выйду, будет другим.

— Каким?

— И ты станешь? — она усмехнулась.

— Даже не попытаюсь. Но я хочу знать.

— Другим, Мотя, другим. Не унижайся.

Из любого положения всегда есть выход. Здравомыслящий Матвей привык так считать. Так у него всегда и получалось. Теперь, впервые за тридцать лет, выход не находился. Он не мог перестать думать о Насте и не мог заставить её быть с ним. Не имея привычки любоваться собственными переживаниями, искренне не видел, зачем продолжать жить. Цепочка удлинилась. Хотел стать литератором — не получилось. Хотел семью — семья развалилась. Хотел любви женщины — женщина его не любит. Оставалось пить, блевать в унитаз и мучиться головными болями, которые возникали всё чаще.

Заканчивался декабрь. Предлагать Насте вместе встречать Новый год казалось бессмысленным. Идти ни к кому не хотелось. На последние деньги он купил смирновской водки, сливочного масла, красной икры и длинный батон. Брёл домой, не замечая людей, гирлянд в витринах, шума. Он давно ничего не замечал. Ходил, будто по трубе из тёмного стекла.

Дома сунул водку в морозилку. Намазал куски хлеба маслом, поверх — икрой. Крупные оранжевые шарики выглядели ненатурально. Взмахнул над столом белой, жёсткой от крахмала, скатертью. Включил телевизор. Вынул из шкафа брюки от костюма. Надел хрустящую рубашку, повязал галстук. Проводил уходящий год. Встретил наступающий. Попереключал каналы. Вышел на балкон подышать. Во дворе весёлая компания играла в снежки. Вверху женский голос повторял: “В перспективе такое не исключается...”. Ещё где-то в пространстве — не ясно, где — душевно и нестройно пели “Спят курганы тёмные, солнцем опалённые...”.

Ближе к часу ночи позвонила бывшая жена. Поздравила. Потом говорили дети. Дочь похвалилась оценками за четверть. Сын с непосредственностью шестилетнего мальчика спросил: “Папа, ты напишешь сказку, которую обещал, когда мы вырастем?”.

Шестакову стало стыдно. Противно от того, как он стал жить. Тем более накануне слышал тот же вопрос от Ружниковой: “Ну что, дописал



ты детям сказку?”. Следом Настя вынесла вердикт: “Лень вперёд нас родилась”. — “Лучше быть талантливым лентяем, чем трудолюбивой бездарью”, — отбрехался он в тот раз, хотя давно разуверился в собственном таланте.

После телефонного разговора Шестаков дал себе слово с утра сесть за пишущую машинку. Вымыл посуду, допил водку и лёг спать.

Оказалось — тяжело писать сказки с похмелья. Стук клавиш отдавался в голове. Фразы рождались болезненно. Главный герой — кот Кособрюх — вёл себя неубедительно. Хамил другим персонажам. Не слушался автора.

В конце концов Шестаков отодвинул машинку. Перемучившись день, вновь взялся писать на следующее утро. Старался ограничивать себя в алкоголе, вытесняя его работой. Замена получалась неравноценной. Кроме того, Шестаков постоянно себя за пьянство грыз. Но остановиться не мог. Пил и грыз.

Вопрос отчасти решался с помощью Вадима. Тот оказался верным и творческим собутыльником. Поддерживал. Подкреплял возлияния теориями. Звонил без причины, звал в гости.

— Кто придёт? — обычно спрашивал Матвей.

— Делибаш, Валеркина, Славка. — Иногда добавлял: Насти не будет.

— Гараж свободен? — уточнял Матвей. — Сил нет в автобусах трястись.

— Водки купи.

Матвей вешал на шею колючий шарф. Не застёгивая пальто, выходил из дому. Загребая туфлями снег, мимо ржавых гаражей двигался к стоянке, где под шапкой снега стоял и правда похожий на “горбатый” “Запорожец” “Ситроен”. В последнее время его хозяин всё реже садился за руль. Преимущественно когда заканчивались деньги. Тогда он с усилием приводил себя в нормальное состояние и возил людей.

Матвей поворачивал ключ в замке зажигания. Ехал неторопливо. У бровки, на скользкой дороге осторожно притормаживал перед перекрёстками. Задолго до нужного поворота переползал в левый ряд. На светофоре останавливался перед вереницей других машин. Инстинктивно жмурился, если по глазам мазал солнечный блик, катившийся по никелированному бамперу впереди стоящего автомобиля.

В один из дней он так же добирался к Племянникову. Слушал радио. Передали сигналы точного времени. Заиграла музыка, под которую по телевизору, сколько Шестаков себя помнил, читали погоду. По-французски запела женщина. Он удивился: всегда считал, что эту музыку написал какой-нибудь советский композитор. Самой песни никогда не слышал. Машины впереди двигались в час по чайной ложке.

Ему никогда не нравился французский. Раздражали все эти “ко-ко” и “люлю”. Почему считается, что на французском лучше всего объясняться с женщиной? Французский больше подходит для общения с маленькими детьми.

Он думал так и слушал. Печальная мелодия. Женщина пела наивно-трогательно. Матвею казалось, певица обращается к нему. Он без труда вычленил из припева “шерше” и “же тэм”. И силился шире открыть глаза, чтобы влага равномерно расплывалась по главному яблоку, а не скатывалась по щекам. Но влаги было больше. Слезы текли,



воспаляя веки. Он вытирал их ладонью. Выключил радио, не сразу попав пальцем в клавишу.

Настойчиво сигналили сзади. Из проезжающих машин заглядывали любопытные. Он не мог ехать дальше. Плакал горько. От любви, бессилия и жалости к себе. Злился на себя и не мог прекратить.

Потом долго сидел в машине у подъезда Племянникова. Глаза всё равно оставались розовыми, но его ни о чём не спросили.

Валеркина листала в кресле сборник статей по стиховедению. Отыскала там какую-то работу Жовтиса.

За столом Вадим обсуждал с Гуковым наметившиеся в русском языке тенденции к упрощению. Негодовал, что нормированным стали “чечен” в единственном числе и “килограмм” во множественном.

— Эй! Шляхта! — отрывисто позвал он. — Как тебе нововведения в языке?

— Хреновина, — не отрываясь от чтения, прокомментировала Валеркина.

— Как-как?

— Говорю — вздор, — подняла глаза Марина.

Книга ей скоро надоела.

— Я могу взять домой почитать? — спросила она.

Племянников отрицательно покачал головой.

— Отчего же? — судя по интонациям, Валеркина не ждала отказа.

— Потому что тебе это не надо.

— Откуда ты знаешь, что мне надо, а что нет?

— От верблюда. Хочешь думать, что читаешь умные книги.

Марина покраснела, оскорблённо отложила книгу. Матвей думал, она сразу уйдёт. Но она осталась в кресле. Стремясь развеять неловкость, обратилась к нему вполголоса:

— А ты пишешь стихи?

Он задумался:

— И да, и нет.

— Я знаю, пишешь. Настя говорила. Ты ей про собаку написал.

— Смеялась? — помрачнел Шестаков.

— Нет-нет. Просто прочитала. Сказала: вот, мне Мотя посвятил.

— Она ведь выбросила.

— Значит, запомнила. Если бы мне такое написали, я бы не знаю...

Потом Валеркина куда-то позвонила, назвала кого-то канальей, пообещала: еду — и откланялась.

— Ты чего так долго? — полюбопытствовал Племянников.

— Машина не заводилась, — соврал Шестаков.

Гуков посоветовал:

— Продавай её, пока ездит. “Жигули” купи — и то лучше.

— Много ты понимаешь.

— А что? Сейчас разбалованные все. Вот, помню, раньше, когда мы в посёлке жили... — Слава затосковал. На спелых щеках померк румянец. — Отца бывший одноклассник “восьмёрку” купил. Тёмно-вишнёвую. Приехал обмыть. Оставил за воротами. Сидят, обмывают. Я в окно смотрю. Вижу — к машине конь соседский подходит. Беспутный такой конёк. Дурашливый. Смотрел, смотрел. Потом наклонил шею и укусил



“девятку” за капот. Глубокие мятые борозды оставил. Одноклассник отцов потом как увидел, чуть удар его не хватил. На колени перед машиной опустился. И на отца зачем-то обиделся. Сколько лет уж прошло, так и не помирились.

Луков взял пальцами кусок колбасы, отправил в рот:

— Ну, я пошёл. Бывай, дядька Вадим. И ты, дядька Матвей, бывай.

Они остались вдвоём.

— Ночуй, — предложил Вадим. — Родителей до понедельника не предвидится.

— На даче?

— Там.

— Часто они...

— Они бы туда навечно переехали. Боятся — сопьюсь.

Болтали, пили. Шестаков старался не выглядеть подавленным. Вспоминал весёлые случаи из медицинской практики. Рассказывал, как сосед выиграл грин-карту.

— Завидуешь? — обронил Племянников.

— Я редко кому-то завидую, — очень серьёзно отреагировал Шестаков. — Только тем, у кого есть нечто, чего у меня не может быть никогда, как бы ни сложились обстоятельства. Например, певцам завидую: ни слуха, ни голоса мне не дал Бог, а петь люблю. А вот к богатым отношусь ровно. Ведь может у меня завтра отыскаться родственник, который оставит миллиард в наследство?

— Сомнительно, — возразил Племянников голосом, каким обычно говорят человеку правду, способную убить.

— Скажу больше, — понизив тон, Матвей поманил Вадима пальцем. Несостоявшийся актёр великого Эфроса заинтересованно наклонился. — Этого точно никогда не случится. Но ведь теоретически возможно, а?

Племянников не спорил.

— Тебе вот завидую, — полусерьёзно добавил Матвей. — Если бы у меня была такая морда, может, она бы меня полюбила.

— Брось. Между нами: она тебя недостойна.

— Я знаю. Но разве в этом дело? Вообще думаю — ещё лет сто назад мир был устроен правильнее. Благородные сильные мужчины и слабые тонкие женщины. Правда, они находились на разных полюсах. Общение сводилось к схеме: “Не утомляют ли тебя дети, отрада моя?”. — “Пустое, друг мой, они сущие ангелы”. Когда мужчина собирался поговорить о внешней политике России, он отправлялся в клуб. Если женщина хотела обсудить новый парижский фасон, она ехала к приятельнице. А потом полюса стали стремительно сближаться. Сейчас мы слишком мало требуем от самих себя, но многого от женщин. Зачем?

Шестаков вдруг застыл. Не поворачивая головы, посмотрел по сторонам, закрыл глаза. Прислушался к чему-то внутри. Убедившись в подозрениях, досадливо поморщился. Попросил анальгин и аспирин.

— Если можно — быстро. Я прилягу тут?

— Голова? — обеспокоился Племянников.

— Сосуды. Мигрень.

— О-о, — уважительно протянул Вадим. Принёс таблетки и воду в чайной чашке.



— По латыни — гимекрания, — лёжа с закрытыми глазами, просветил Шестаков.

Болезнь возникла у него в четырнадцать лет, после сотрясения мозга. Свалился с качелей. Приступы начинались на пустом месте, в любое время. Сначала исчезали фрагменты предметов. Заслонялись солнечными пятнами. Чтобы удостовериться, Матвей закрывал глаза и наблюдал мотылька, часто-часто мерцающего крылышками под нижним веком. Мотылёк — симптом. Учась медицине, из учебников он почерпнул — мерцание называется аурой. Ещё узнал, что есть понятие “мегренозный инсульт”. И что мигрень не лечат.

С наступлением приступа Матвей старался быстрее выпить спазмалгетик и лечь. Лучше — заснуть. Тогда не начинали сами собой забываться слова. Через час всё приходило в норму. Оставалась только сильнейшая головная боль, тянувшаяся весь следующий день.

Отлежавшись, он поднялся, присел к столу. Попросил ещё таблетку.

Они не спали полночи. Разговаривали о театре, литературе. Если спорили, то не стремясь переубедить друг друга, а ради давно забытой сути всех споров: родить истину.

С тех пор встречались регулярно. Когда случались длинные перерывы, Племянников укоризненно напоминал: “Из вереска напиток забыт давным-давно”. Чаше приезжал к Матвею он. Иногда, если квартира Вадима оказывалась свободной от родителей — наоборот. Тогда Шестаков вынимал из шкафа старый портфель-“дипломат”, куда идеально помещались две поллитровые бутылки водки и одна толстая книга стандартного формата. Или пара потоньше. Привозил то, что хотелось обсудить. Каждый такой визит приятеля Племянников называл тематической пьянкой.

Имея разные взгляды, они были сильно похожи. Несмотря на ещё заметную в таком возрасте разницу в годах. Выпив, рассказывали о себе много такого, чего не рассказали бы никому.

— Всегда очень переживаю, если меня кто-то обидит, — откровенничал по какому-то поводу Вадим. — Долго потом успокоиться не могу. Бывает, через год вспомню: начинаю мысленно протестовать. Накручиваю себя. Доказываю. Воюю, аж сердце начинает колотить!

Матвей кивал:

— У меня так же. Только со мной такое происходит ещё до того, как меня кто-нибудь обидит.

Они оба нуждались друг в друге.

— У меня есть одна хорошая и одновременно плохая черта, — сетовал Матвей. — Когда происходит какая-нибудь неприятность, я в первую очередь виню себя.

— А почему черта и хорошая, и плохая?

— С одной стороны, она не даёт мне становиться наглым, с другой — мешает стать сильным.

Под настроение Племянников брал гитару и пел. Эти встречи позволяли Шестакову отвлечься. Правда, не помогали бросить пить.

Однажды он в очередной раз исчез. Не появлялся на занятиях неделю или полторы. Ему звонили, но к телефону никто не подходил.

— Не случилось бы чего, — осторожно высказалась Делибаш.



— Пить меньше надо, — чуть встревоженно заметила Ружникова. Вадим пообещал:

— Я заеду к нему после занятий.

Вечером Настя набрала номер Матвея. Трубку долго не поднимали. Потом раздался громкий голос Племянникова:

— Аллё! Аллё!

— Ну что там с ним, Вадик?

— Настя, он умер.

— Я серьёзно.

— Он умер, Настя, — страшным голосом повторил Племянников.

— Как умер?

— Как все! Из-за тебя, сволочь. Сидит за столом и пустыми глазами в окно пялится.

У Ружниковой задрожал подбородок:

— Ты звонил куда-нибудь... вызывал..?

— “Скорая” уже едет.

— Я... подожди... Я приеду сейчас. Скажи, пусть без меня не увозят!

— На чёрта ты нужна тут! Много ты приезжала, когда он просил? В ногах у тебя валялся.

Она наспех оделась, схватила такси. Плакала на переднем сиденье, умоляла водителя — скорей. Совала деньги, наугад вытаскивая из кошелька купюры.

Шестаков правда сидел за столом и пустыми глазами смотрел в окно. Когда вошла Ружникова, повернул голову. Удивился:

— Ты плачешь, Настенька?

— Убить тебя мало, Вадик! — выпалила она. Подошла к Матвею. Положила ладони ему на грудь. — Мотечка... дружочек мой.

Он стоял и вытирал ей слёзы. Она постепенно успокаивалась. Над раковиной ополоснула лицо холодной водой.

— Зачем вы так сделали?

— Я хотел, чтобы ты осознала, сможешь ли без меня жить. Что больше я не буду говорить, как сильно тебя люблю. Рассказывать весёлые истории. Сидеть рядом на лекциях. И я вижу, как ты плачешь.

Она погладила его по щеке. Про себя отметила заострившиеся черты его лица. Улыбнулась:

— Ты похож на лисёнка...

— Угу. На лисёнка, которому охотники налили в блюдечко водки.

Настя помолчала. Матвей с трудом вымолвил:

— Останься со мной.

Настя успокоилась. Перевела дух. Долго подбирала слова.

— Мотя, прости меня. Я всё равно не смогу быть с тобой. Я люблю тебя, как друга, как человека, который дорожит мной. Но... прости, хорошо?

Шестаков устало сказал:

— Спасибо, что хоть как-то ты любишь меня.

Ружникова вышла в прихожую. Уходя, бросила Племянникову:

— А “сволочь” я тебе никогда не забуду.

Всё снова пошло как раньше. Он продолжал бредить Настей. И всё злился на себя за пьянство. Жаловался Племянникову. Повторял — алкоголь не решает проблем. Вадим смотрел на вопрос по-своему.



— Кто у нас лучший врач? — спрашивал он.

— Я? — шутил отставной отоларинголог.

— А ещё?

— Ну, время.

— Во-от.. Время — лучший врач. А пока время лечит, водка помогает не стать клиентом дурдома. Алкоголь в союзе со временем творит чудеса.

Все по-прежнему жалели Матвея. Делибаш и Валеркина звонили предупредить, если кто-нибудь из преподавателей начинал сильно им интересоваться. Тогда прогульщик появлялся, что-нибудь сдавал, разглагольствовал на семинаре, врал, обещал исправиться. Как к способному, мыслящему студенту, к нему относились со снисхождением. Жовтис, и тот смотрел сквозь пальцы.

Отношения с Настей оставались светскими. Она уклонялась от разговоров на известную тему, отказывалась от приглашений в гости. Он писал в её тетрадях стихи. Сокурсница больше не совершала демонстраций с вырыванием листов. Валеркина посоветовала ей не травмировать автора.

Иногда он импульсивно набирал её номер.

— У меня нет сил отказаться от тебя.

Ружникова молча дышала в трубку.

— Я прошу тебя стать моей женой.

Настя отвечала:

— Но ты же рано или поздно начнёшь изменять мне, как своей прошлой жене.

— Я поклянусь, чем захочешь. Никогда не посмотрю ни на одну женщину. У меня никого не будет дороже тебя. Кроме тебя.

— Ты даже ни одного красивого поступка ради меня не совершил.

— Красивого поступка? — отчаивался Матвей. — Я, наверно, не умею совершать красивые поступки. Я просто люблю тебя. Это мало?

От его ответов ничего не зависело: ей, как любой женщине, хотелось таких признаний.

В одну из посиделок с Племянниковым Матвей спросил:

— Кто поёт песню, под музыку которой погоду в программе “Время” передают? Французенка. Ты должен знать.

Племянников хмыкнул:

— Чего гадать. Во Франции всего две певицы.

— А Патрисия Каас?

— Нет, две.

К апрелю Матвей дописал “Похождения кота Кособрюха”.

Выбираясь из запоев, опухший, но всегда выбритый и опрятный, сажился за машинку. Каждое слово, каждое предложение словно вышивал. Особенно тяжело дались главы “Паломничество красного паровозика к престолу Гроба Господня” и “О том, как куклы Липа и Фрося обрели священный Грааль, но утратили бессмертие”.

Результатом остался удовлетворён. Кот Кособрюх вышел обаятельным, его приключения — увлекательными, смешными.

Теперь ему хотелось, чтобы рукопись прочла Настя. А прочитав, поняла, какой он талантливый, умный, самый лучший. Он ни за что не предположил бы сам, но надеялся на инициативу с её стороны.



Повод нашёлся. Позвонил Вадим: “Шестакович, Вербное воскресенье нынче. Народ в церковь наострился”. Матвей отказывался. Леню было собираться. Племянников настаивал. Передавал трубку всем по очереди. Наконец раздался недовольный голос Ружниковой: “Мотя, что ты ломаешься, как китайский телевизор”. Он обиделся, но упираться перестал. Взял со стоянки машину. Добравшись, пробурчал экспромт:

*Я пошёл бы в церковь хрен бы,
Если бы не ветки вербы.*

Ненахальное утреннее солнце мыло цвета икон. Пахло свежей краской. На кафельном полу у входа стояло пластиковое ведро с водой. Сквозь дно просвечивали, колыхаясь, тёмные стыки плиток. От святого к святому ходили задумчивые верующие. Крестились, ставили тонкие бежевые свечи.

Энергично прорезала толпу пожилая женщина с двумя отроками. Крестилась отработанно, по-военному. Вверх-вниз, вправо-влево. Проходя мимо ящика с крестом, бросила: “Деньги можно сюда положить”. Белобрысые парни, нагнув выи, как в щель игрового автомата, послушно опустили в прорезь ящика по монетке.

По выметенному асфальту церковного двора прыгали воробьи. Старушки просили милостыню. Кивали: “Дай Бог здоровья”. В тени чернел снег. Гуков громко сморкался в клетчатый платок. Валеркина крошила в ладони пушистые почки вербы.

Давно не выходивший на улицу Матвей поднимал лицо к прозрачному небу. Шевелил ноздрями, вбирая плавающие в прохладном воздухе запахи. Блаженствовал:

— Господи, как хорошо не пить! Смотрите, весна какая. Можно пальто не застёгивать. Надо замечать это. Надо замечать...

Они смотрели на него и улыбались. Делибаш поддела:

— Тебе проповедником надо было стать. Сам по себе наслаждаться ты не можешь: тебе обязательно надо ещё кого-нибудь втянуть.

Дунул ветер. Потянуло холодом. Гуков высморкался.

— Поедем ко мне, — предложил Матвей. — Кстати, я сказку закончил. Отметим.

Сидели на кухне. Разговаривали об учёбе, курили.

— Ты бы завязывал, — кивнул на пустые бутылки Вадим.

— На себя посмотри, — огрызнулся Матвей.

— Правда, — поддержала Племянникова Валеркина, исподтишка покосившись на Ружникову. — На “зарубежке” про тебя спрашивали.

Шестаков виновато кивнул. Племянников поднял рюмку:

— За то, чтобы ты завязал.

Выпили.

— Но, между прочим, — Шестаков положил на кусок хлеба сверкающую микродоспехами кильку, — есть вещи, доступные только пьющему. Трезвеннику никакого воображения не хватит: понять и почувствовать — не одно и то же.

— Пример? — попросил Гуков.

— Помните, у Галича в “Облаках” герой сначала говорит: “Я коньячку принял полкило”.



— Да-да-да, что-то было такое, — сосредоточенно прищурилась Валеркина.

— Я помню, — нетерпеливо перебил её Племянников. — И что?

— Потом он официанта просит: “И коньячку ещё двести грамм!” — продолжил Матвей. — Я раньше думал — гипербола: не может человек в одиночку бутылку коньяку усидеть. Да плюс ещё двести. А оказалось — никакая не гипербола.

— Ещё как может, — невесело согласился Вадим. — И бутылку может, и две.

За окнами стемнело. Когда лица стали различаться с трудом, Настя включила на кухне свет. Поправила на бёдрах очень шедшее ей, явно сшитое мамой, платье. Закурила. Матвей исподтишка следил за ней. Умилялся, как забавно надуваются её щёки, когда она выпускает дым. Как незащитно она вытягивает при этом шею. Для счастья ему не хватало только, чтобы эта женщина каждый день так же сидела у него на кухне. Курила. Смотрела на него. Ела. Болтала. Смеялась. Так просто. И так недосыгаемо.

Гуков разливал по рюмкам остатки водки. Делибаш накрыла свою ладонью.

Валеркина пискнула:

— А мне вина.

— За успешно оконченного “Кособрюха”, — провозгласил Вадим.

Шестаков усмехнулся:

— Никто из вас даже почитать не попросил.

Все смущённо переглянулись. Племянников начал оправдываться:

— Я сейчас “Таргантюа и Пантагрюэля” читаю...

Гуков вместе с табуреткой шумно отодвинулся от стола:

— Дай мне.

— Не надо одолжений.

— Я сам собирался. Серьёзно.

Шестаков вышел. Принёс пачку завёрнутых в газету листов.

Открыли окно — выпустить дым. Делибаш встряса в мусорное ведро пепельницу. Матвей наклонился к Насте:

— Ты не хочешь остаться помочь посуду помыть?

— Остаться не хочу, — шепнула Ружникова. — Посуду сейчас помою.

Она встала, подошла к раковине, включила воду. И после ушла вместе со всеми.

Вдруг оказалось — Гуков пишет стихи. Лирику. Вызвался почитать в одну из пятниц. Распечатал на хорошей бумаге. Персонально позвал Шестакова. “Ты уж поневоле, дядька Матвей, приди”.

Народу собралось — прорва. За партами сидели тесно: приходилось поднимать крышки. Прижатые к стене изворачивались, пытаясь оттереть с пиджаков извёстку. Многие стояли. Раздавалось сдавленное хихиканье читающих тексты. Гуков не волновался. Обведя рукой массы, шепнул Валеркиной сакраментальное: “Вы ещё на моём имени деньги будете делать”.

Стихи оказались отвратительными. К занятому своими мыслями, сидевшему на самом возвышении, Шестакову, долетало:



*Но, может, в доброе не веря,
Я был кому-то всё же нужен?
Любовь затравленного зверя
Любви цветка совсем не хуже.*

Особенно запомнилось:

*И люди молча в землю входят,
А в небо падают их души.
И между звёзд там бродят, бродят...
И над живыми кружат, кружат...*

Послушавший на веку стихов, обычно скорый на расправу, Жовтис растерялся. Залепетал об основе основ поэзии — искренности. О поиске своего языка, иногда продолжающемся у поэта всю жизнь. Впоследствии Гуков истолковал слова профессора по-своему. Выразился метафорически: “Даже у такого мясника не нашлось для меня подходящего лезвия”.

Когда профессор уже намеревался подвести черту, из-за парты, размахивая картонным скоросшивателем, выбрался Племянников. Развязывая тесёмки, поведал, как к ним с Татьяной Делибаш случайно попала папка, где находились стихи, подписанные некими братьями Неоценихиными. Точнее, это сначала находка воспринималась ими с Татьяной Делибаш как стихи. Затем, познакомившись с творениями Вячеслава Гукова, они, к собственному изумлению, обнаружили: в папке вовсе никакие не стихи, а пародии. И коли высокому собранию (Вадим поклонился студентам) и господину профессору (поклон Жовтису) будет угодно... “Если поэт не возражает”, — пожал плечами Александр Лазаревич. Гуков не возражал. Племянников извлёк листы: “Пародия называется “Санитары музыки”:

*Мы все в сырую землю ляжем,
Уйдём в неё, как лось в болото.
А души вылетят из скважин,
Упав в твердыню небосвода.*

В рядах “высокого собрания” засмеялись. Вдохновлённый успехом, Племянников продолжал:

*И станут перелётной стаей
Тянуться косяками к югу,
Над головами пролетая.
А мы начнём на них охоту.*

*Возьмём патроны и двустволку
И, плюнув на миры иные,
Подобно санитару-волку
Бить будем самые больные.*

*Пушай не бродят и не кружат
В надежде подвигов и славы.
Итог — подстреленная, в луже,
Душа затравленного Славы.*



Четверокурсник Аксюта от смеха боднул лбом откинутую крышку парты. Профессор улыбался краем рта, не позволяя себе смеяться. Племянников заранее извиняющимися глазами посмотрел на Гукова. Удивился, обнаружив его веселящимся вместе со всеми.

Вадим и прежде баловался пародиями. Но — в прозе и в основном на классические сюжеты. Ещё до того, как влиться в известную компанию, Матвей слышал под лестницей опус про слонёнка Джавахарлала. Слонёнок сбежал в России из гастролирующего индийского цирка. На смену лету пришла осень, а затем, разумеется, зима. Джавахарлал страшно нуждался. Обморозил уши в подвале, где ночевал. Свёл знакомство с барбосами. Прибился к дворнику, который, не имея понятия о его настоящей кличке, стал звать слонёнка Папашкой, пристрастил к водке, а в довершение научил брать хоботом метлу и мести двор. Потом у дворника начались запои. Во время белой горячки он то забирался слону на спину и кричал, что он — Александр Македонский, а то впадал в депрессию и бурчал: “Расплодились тут, слоновья”. К весне соседи сдали дворника в ЛТП, а Джавахарлал добровольно пришёл в индийское посольство.

Племянников прочитал ещё несколько пародий. Доведя ценителей поэзии до истерики, объявил: “И последнее. Некролог в “Пионерскую правду”:

*Плачьте, дети: Гуков умер!
Умер и не встанет вновь.
Кто б подумал. Вот так нумер...
В сердце у него любовь.*

*И, что главное, ребята —
Он стихи умел писать.
Но читать их вам не надо,
Всё равно вам не понять.*

*Чтоб о нём не позабыли
За какой-нибудь момент,
Из горшочков на могиле
Вы постройте монумент.*

*Чтоб стоял наш Слава гордо,
Как былинный исполин.
И читалось чтоб на морде:
В мире гений я один!*

“Мы не хотели его обидеть, — признавались потом “братья Неоценихины”, — да больно руки чесались”. Стихотворец и не обиделся. Это записали ему в актив. Зауважали. Вдобавок осмеяние своих виршей Слава ухитрился поставить себе в заслугу. Выдал: “Серых стихов не пародируют!”.

Через неделю в Москве у него умерла тётка. Гуков засобирався на похороны, туманно намекнув на редакции солидных журналов, куда заодно хотел пристроить свои вирши. Его обещали прикрывать на занятиях.

После того как работа над “Кособрюхом” закончилась, Матвей стал пить по-старому. Снова сильно переживал, но остановиться не мог. В



какой-то мере сдерживала необходимость садиться за руль: нужно было на что-то жить. Кроме того, экзотическая развалюха постоянно требовала запчастей. Не успел починить сцепление, полетели передние тормозные колодки.

Шестаков ехал на автосервис, задумчиво наблюдая, как сбывается прогноз погоды. К похолоданию добавился дождь, перевоплотившийся в мелкую крупу. Попадая на лобовое стекло, крупа моментально таяла. Щётки с визгом сметали её.

Серёга Дьяченко снимал левое колесо, Женька Ревин — правое. Пришпиленные к их комбинезонам таблички с именами затянулись слоем грязи. Шестаков всегда чинил своё железо здесь. Хорошо знал этих парней. Как с постоянного клиента, они не брали с него лишнего.

Когда сняли колёса, работа застопорилась: гайки прикипели ржавчиной.

На улице стало совсем холодно. Крупа противно щекотала лицо.

— Я в боксе погреюсь, — полуспросил Матвей.

— Электричества нет, — Серёга вытер руки о сидевшую рядом грязно-белую дворнягу. — Шварцнеггер хороший, Шварцнеггер молодец...

— Калорифер не пашет, — зевнул Женька.

Автовладелец спрятался от крупы под навес. Убрал руки в карманы. Мастера, кроя матом, откручивали гайки. Дело шло медленно. Матвей перестал чувствовать пальцы на ногах. Бил ботинком о ботинок. Сжимал себя локтями с боков, выпуская изо рта облака пара. Когда новые колодки стояли на местах, он стучал зубами и едва не стонал.

— У тебя шаровую менять пора, — заметил на прощанье Серёга. — Заедешь, как время будет. Шибко не затягивай.

Матвей упал в машину. Дрожа, включил печку. Подул на руки. Сунул в магнитолу кассету. Пока грелся мотор, опустил спинку сиденья, закрыл глаза. Двигатель работал ровно. Музыка и тепло баюкали. Он вдруг испытал к машине почти вожделение. Настоящие чувственные ощущения к той, что укрыла его от снега, согрела и успокоила. Дала всё, чего ему хронически не хватало.

Он страшно устал. Дома прямо в одежде навзничь лёг на тахту. Закрыл глаза.

Ему показалось, что в глазницах у него вместо глазных яблок два тяжёлых гладких камня, которые медленно оседают в мозг. Матвей уснул.

В мае из университета исчез Почтенный полосатый старик. Новый ректор отказался чикаться с профессором. Не захотел считаться с его авторитетом, убеждать принимать экзамены у безнадёжных студентов. В ректорате вздохнули с облегчением.

Жовтис ушёл тихо. Поздно вечером, когда в здании филфака не осталось студентов, вынес с кафедры две авоськи своих книг и методичек. Забыл в ящике стола запасные очки с толстыми, похожими на аквариумы, линзами.

Ему было не привыкать. Его увольняли всю жизнь. За то, что портил зачётки спесивым комсомольским вожакам. За буржуазный космополитизм. Однажды на лекции он сказал добрые слова о татарском хане, который помиловал русских пленных. В это время партия боролась с татарским национализмом, и его выгнали за татарский национализм.



В начале семидесятых попал под кампанию борьбы с инакомыслящими. Следователи сколачивали еврейскую группу. Жовтиса обвинили в антисоветской пропаганде и распространении самиздата. Спасибо, не посадили. Он не работал несколько лет. Печатался под псевдонимами. Долго судился. Его восстановили.

Всегда в меру сил отстаивал здравый смысл. Кто виноват, что этот смысл шёл в разрез с идеалами социализма? Написал: “Среди баранов и овечек, и пролетариев всех стран я был баран-антисоветчик. И, значит, не совсем баран”.

Как-то дал стукачу пощёчину.

В его доме постоянно толклись друзья или знакомые. Дни рождения — тридцать-сорок человек в небольшой комнате. Когда находилось свободное время, ехал за город. Собирал грибы. Сам варил варенье из одуванчиков.

Его ученики преподавали в Америке, Израиле, Германии.

Студенты переживали. В том числе и те, кого из-за Жовтиса едва не отчислили. Наиболее склочные собирали автографы под письмом в защиту. Самые отчаянные ходили в ректорат. И тех и других образумили.

— Куда он теперь? — взгрустнула Валеркина. — На пенсию?

— Уйдёт он тебе на пенсию! — выкрикнула Делибаш. — Его в пединституте с распростёртыми объятиями ждут.

Русскую литературу на факультете стал читать Лашибабаев.

Поэтические пятницы остались без вдохновителя. Последнюю решили посвятить Жовтису. Собрались почитать каждый своё.

Предавший земле московскую тётю и окрылённый хождением по столичным журналам, Слава выводил:

*Старый корабль без меня ушёл,
Вдаль унося калек.
Соль на губах и нехорошо,
А в Петербурге снег.*

Раз и навсегда скомпрометированный братьями Неоценихиными, Гуков вызывал плохо скрываемые улыбки. Местная публика оборжала бы его теперь, напиши он хоть “Гамлета”.

— А ведь ты никогда своих стихов не читал, Мотя, — уличила своего приятеля Настя.

— Не хочу, — сухо ответил Шестаков.

— А если я попрошу?

— А ты просишь?

— Ну, допустим. Только конфетку съешь: от тебя амбре.

— Что?

— Сивухой несёт.

Матвей дождался паузы. Спустился вниз. Прочитал четыре или пять стихотворений. Декламировал ровно, негромко. Его просили ещё.

— Вот я недавно написал, — предложил Матвей. — Называется “Поезд спасения”.

*Не бледным пестиком цветка, не камнем пористым —
О нет, друзья, сии фантазии стары —
Когда умру, наверняка я стану поездом,
Бесплатным поездом в соседние миры.*



*Я буду скор, в моих вагонах будет весело.
С планеты этой, так похожей на слезу,
Я в синь, унизанную солнечными рельсами,
Всех, кто уехать пожелает, увезу.*

*Я понимаю, будет трудно в неизвестное
В потоке звёзд без расписания лететь,
Но я влюблённым отведу купе двухместные,
А через общий проведу радиосеть.*

*Я старичкам пять самых мягких полок выделю
И лучший в мире дам рецепт от головы,
Открою окна, чтоб ясней друг друга видели
И ощущали себя частью синевы.*

*Я детям детство отведу в вагоне розовом.
Там будет всё, не будет только ссор и слёз.
И папа-робот там ответит на вопросы им,
И мама-робот любопытный вытрет нос.*

*Я всех возьму с собой — непонятых, непризнанных,
Забытых, брошенных, раздавленных средой.
И тех, кто Байрона копирует капризами,
И тех, в ком спал, но не проснулся Лев Толстой.*

*И тех, кто давит правотой, и тех, кто мечется,
И гневно топит себя в водке и в дыму,
Всё разношёрстное, больное человечество
В себя, как собственное детище, приму.*

*Махнёт зелёным проводник, свисток закатится,
И стрелки стрелочник, кряхтя, переведёт,
И мир по рельсам по невидимым покатится
Туда, куда его мой опыт поведёт.*

*И род людской от бед земных, обид и горестей,
И от бессмысленного гнёта бытия,
И от Последней Мировой спасётся в поезде,
И этим поездом спасенья буду я.*

Шестакову хлопали.

— Жму, дядька Матвей, — протянул руку Гуков.

— Восхитительно! — оценила Валеркина.

— Есть, конечно, к чему придраться, — шепнул Племянников Дели-
баш, — но чувство превыше техники.

В тот день Матвей приехал в институт раньше всех. Трясло от утренней прохлады и похмелья. Не хотелось в таком состоянии оставаться дома одному. В вестибюле он жадно поглотил воды из фонтанчика



над эмалированной раковиной с оранжевым пятном. Почитал новые надписи под лестницей. Было слышно, как трёт шваброй пол уборщица. Пришла секретарша декана. Сняла со щитка серый ключ от приёмной. Начали стягиваться студенты.

Валеркина обесцветила перекисью пушок над губой. “Марина, а почему ты решила, что белые усы тебе идут больше, чем чёрные?” — просто-душно любопытствовал Гуков. Шестаков смеялся всю первую пару. Пересказывал Насте.

Он давно ни о чём не просил её, ничего не предлагал. Обречённо жил рядом. Замирал, если она случайно касалась его.

На задней парте Делибаш писала статью о колонии строгого режима под заголовком “А Зорро здесь тихие”. Всё мечтала, чтобы её командировали от газеты в какую-нибудь горячую точку. “Что, Делибаш, — подкалывал её Племянников, — “не раздобыть надёжной славы, куда кровь не пролилась?”.

Вечером Матвей заглянул в почтовый ящик. В ящике лежал конверт. Обратный адрес: Москва, редакция журнала “Новый мир”.

Нас заинтересовала Ваша повесть-сказка “Похождения кота Кособрюха”. Рассматриваем возможности её опубликования. Не могли бы Вы в удобное для Вас время зайти в редакцию для обсуждения деталей.

Так или приблизительно так.

Разумеется, он мог зайти в редакцию! Матвей подсчитал наличность. Волнуясь, обзвонил знакомых. Тут же объехал их и насобирав на билеты. Узнал прогноз погоды в Москве.

Утром Шестаков ехал в аэропорт.

Он вернулся через три дня. Счастливый, с тонкой пачкой фотографий в кармане рубашки. Прямо с самолёта отправился в институт. Пригласил всех к себе. Обнял в коридоре Славу. На лекциях неприкаянно улыбался. На вопрос Ларионовой: “О чём думает студент Шестаков? О допустимых вариантах русского литературного произношения?” ответил: “О том, как хорошо жить”. Он действительно думал об этом.

Предшествующие события выстраивались так. Никому ничего не говоря, Гуков прихватил в Москву “Кота Кособрюха”. Обносить журналы своими стихами начал с “Нового мира”. Настырно убеждал заведующего отделом рукописей в их непреходящей ценности. Наиболее сильные места зачитывал по памяти. Наконец ушёл.

Долго думал, куда лучше пристроить сказку. Решил, что всё-таки в “Новый мир”. Не поленился вернуться. Слабохарактерный заведомо рукописей его не принял. Тогда Слава оставил “Кособрюха” секретарше главного редактора с настоятельными рекомендациями. Та из любопытства сунула нос и не смогла оторваться.

На следующий день в приёмной появился поэт Евтушенко — уточнить что-то с публикацией новой поэмы. Главный редактор задерживался с обеда. Легенда отечественной поэзии походил из угла в угол. Заскучал. По-простому разговорился с секретаршей. Рассказал, как по дороге два часа проторчал в пробке, а у него ещё встреча с итальянскими славистами. Посетовал, что в России не осталось настоящих детских писателей: нечего внукам на ночь почитать. Не разрекламированное же в



последнее время американское дерьмо в самом деле! Секретарша полезла в стол, выудила “Кособрюха”. Повосторгалась. Хихикнула: “С возвратом!”. Евтушенко посомневался, но взял. А уже на следующий день сам расточал восторги всем, в том числе и главному редактору “НМ”. Главред хоть и не сразу, но тоже начал читать. И, как все до него, прочёл запоем.

Весь вечер Матвей рассказывал. Вспоминал подробности. Показывал фотографии, где Евтушенко обнимал его за плечи. Демонстрировал сборник стихотворений с дарственной надписью: “Поэту старых игрушек от просто старого поэта — с безграничным восхищением!”.

— Может, он из вежливости? — предположила Делибаш.

— Там тоже удивлялись: обычно Евтух на похвалу скупой. Но я сам слышал, как он за дверью с кем-то разговаривал: “Слушай, рассказать кому — не поверят: детскую книжку читаю, и за уши не оттащишь”. Смелся: маразм прогрессирует.

— Ты же не любишь Евтушенко, дядька Матвей? — вспомнил Гуков.

— А ты “Паркинсона” с “Альцгеймером” не путай. Одно дело — мы промеж собой треплемся, а другое — когда известный на всю страну поэт мне руку жмёт и рассказывает, как он спать не ложился, пока мою сказку не добил.

— Первородство идеи — за чечевичную похлёбку? — то ли шутя, то ли всерьёз осудил Племянников. — Ты что не пьёшь-то?

Шестаков поморщился:

— Не хочется.

Было поздно. Матвей устал говорить. Повторялся.

— А не спеть ли нам, друзья? — предложила Валеркина.

— Так гитары ж нет, — ответил Вадим.

— А мы а капелла.

Марина начала первой:

*Графиня, приезжайте в полночь к дубу,
Я сена там немножечко припас.
Графиня, мне приснились Ваши зубы,
Я Вас люблю, я думаю о Вас.*

Припев грянули вместе:

*Прошу Вас, Ваша честь,
Вниманья маломальского,
Не то я вымру весь,
Как лошадь Пржевальского,
Как лошадь Пржевальского...*

Допели. Ещё раз поздравили Матвея. Стали собираться. Первой уехала Валеркина: её забрал очередной поклонник. Поводырь, по-племянниковски. Настя вызвалась мыть посуду.

Вадим долго не мог справиться со шнурками в прихожей. Елозил с половичком по паркету. Хватался за раму тусклого трюмо. В сопровождающие ему дали Делибаш. Гуков отправился сам по себе.

В окно задувал тёплый, почти летний, ветерок. Ружникова управилась с посудой. Вытерла руки. Выглянула на улицу. Сказала:

— Мотька, мне страшно. В газете, где Танькина статья последняя, писали — вот так же девочка ночью из гостей шла и пропала. Может, я останусь до утра?



Матвей ответил не сразу. Убрал со стола фотографии. Задёрнул тюль на окне:

— Я тебя провожу. Не бойся.

Они молча вышли из квартиры. Спустились по лестнице. Матвей остановил машину. Помог Насте сесть. Предупредил водителя: “Я номер запомнил”.

На следующий день Шестаков на занятиях не появился. И через неделю тоже. Делибаш забеспокоилась:

— Кто-нибудь звонил ему?

— Я звонил, — откликнулся Гуков. — Не туда попадаю всё время.

— Чем он думает: сессия скоро!

— Может, случилось с ним что, — предположила Валеркина.

Ружникова покосилась на Вадима:

— Случилось! Косой, наверно, как Пизанская башня.

— Я буду в том районе сегодня. Зайду, — пообещал Племянников.

Вадим поднялся на площадку, в шахматном порядке выложенную жёлтыми и красными плитками. Больно ударился коленом о чугунные завитушки перил. Вдавил кнопку звонка. Ему долго не открывали. За высокой дверью с прорезью для газет стояла тишина. Потом раздались шаги. Вадим услышал: “Яша, кто к нам пришёл?”. На пороге появился пожилой человек в брюках и мятой рубашке. В ногах у него застрял кот с порванным ухом. “Яша — свой”, — приказал человек. Племянников отклонился назад, уточнил номер квартиры.

— Простите, а Матвей...

— Матвей продал квартиру, — новый владелец собрался закрыть дверь.

Вадим опешил:

— Так вот же, неделю назад...

— С квартирами в этих домах расстаются неохотно, — новый владелец ногой отпихнул кота. — Нам просто повезло. Боялись, как бы парень не передумал. Так что мы уж и денежки быстро, и за ускорение формальностей, сам понимаешь.

— А куда он переехал, вы не в курсе?

— Кажется, в Москву. Мы специально не интересовались.

Дверь захлопнулась. До слуха Племянникова донеслось: “Яша, не путайся под ногами. Дорогая моя столица, золотая моя Москва...”.

Р. С. Стихотворение “Поезд спасения” принадлежит Ю. Зырянову.

Автор благодарит за помощь в работе над повестью И. Хлызову, Л. Туниянц.

*“Я ощутил себя
частицей мира...”*

Собиралась гроза,
но все всполохи —
 с грохотом мимо.
Открываю глаза —
и не верю,
 что звёзды кругом.
А на сцене небес
появилась луна
 в гриме мима,
словно вышла на “бис”,
улыбаясь
 раскрашенным ртом.
Я давно написал
этот звёздный сценарий,
я открыл небеса для своих
 меркантильных утех.
Что устроит меня —
гонорар,
 снисхождение,
 цена ли?
Что готов я принять
от сегодняшних Этих
 и Тех?
Но трамвайный звонок
раздвигает, как занавес,
 тучи.



**Геннадий
Николаевич
ПУССЕП**

родился в 1945 году в Усть-Каменогорске. Там же окончил филологический факультет пединститута. Работал учителем, директором школы, на телевидении, заместителем директора академии ГАСБУ, сотрудником газеты “Разные и равные”. В настоящее время является заместителем директора Восточно-Казахстанского областного музея искусств. Автор поэтических сборников “Эскизы”, “Прошлое всегда будет”, книги прозы “Поезд набирает скорость”. В “Ниве” выступает впервые.

Живёт в Усть-Каменогорске.



Город-зал вдруг умолк —
ощущаю
 взаимный настрой.
Да, мне ведом успех,
становлюсь я
 под звёздами лучше
и надёжней для тех,
кто поверил
 давно в мою роль.

Полузабытую мелодию
внезапно ветер
 мне принёс,
где я с тобою,
 но молоденький...
И я узнал,
 узнал до слёз
тот скрип шагов
 по снегу свежему,
лишь нам
 понятные слова.
И, помню,
 ветер очень вежливо
Тебя касается
 едва.
А мир,
 Тобою лишь заполненный, —
пусть хоть во сне,
 хоть наяву —
Тобой дышу,
 Тобой живу:
сознанием,
 пульсом,
 перепонками.
Звучит
 мелодия знакомая,
а я боюсь
 открыть глаза:
ведь счастье —
 что-то невесомое,
но без него
 прожить нельзя!

Ты когда-то
 выбрала меня,
навсегда стал близким
 этот вечер.

Тебя всегда так трудно ждать,
с Тобою быть совсем не просто.
В моей душе опять вражда:
забыть, остаться или бросить.

Но сам себя я приучил
к твоим рукам, улыбке, телу,
а ревновать — пустое дело,
да просто не было причин.

И пусть идёт всё чередом,
а радость в том, что Ты есть в мире
и Твой уютный близкий дом,
где всё так ласково и мило.
Ну постучи, войди скорей,
скажи: “Ты ждёшь? Я опоздала.
Так вышло!..”. Но всего важней,
что Ты пришла и так сказала!

**Вздох ночью в кардиологии**

Я всё, что мог,
 отдал Великой Родине.
Надеялся —
 окупится сполна.
И вот лежу
 солидный,
 умный вроде бы,
а нет отдачи, вижу,
 ни хрена!
Страницы жизни
 вырваны из памяти,
как дерева
 с корнями вдоль дороги.
И от того мечусь
 ночами в панике,
что от меня
 друзья мои
 уходят...
А я живу
 достойно в этом мире?
Кто подтвердит,
 поправит, отстоит?
В конце концов,
 глаза открылись шире,
а совесть задремала,
 дремлет... спит!

Юрга

Я знаю: ты и я — как сон,
но в голове пурга...
И без тебя ушёл вагон
от станции Юрга!

Перрон и серенький вокзал.
Судьбе не будешь лгать:
Твои глаза, глаза, глаза
на станции Юрга!..

Я для тебя стихи читал
и новые слагал.
Спешил. Тебе — я точно знал —
до станции Юрга.

Мы говорили обо всём,
но стук колёс пугал.
Жаль, ненадолго этот сон, —
до станции Юрга!



Мой спутник где-нибудь в душе
за всё меня ругал,
но я с тобою был уже
на станции Юрга!

На стыках что-то говорят
колёса по слогам.
Я узнаю — они твердят:
— Юрга, Юрга, Юрга!

Теперь один. И за окном
леса, поля, стога...
А мысли только об одном —
о станции Юрга!

Хожу, покоя больше нет
ни сердцу, ни ногам.
В душе остался чёткий след
от станции Юрга.

Как обещал — лежу и сплю.
Я сам себе слуга.
Порыться в памяти люблю,
но там одна Юрга!

И вот — закончены стихи,
и рифма в них строга.
А хороши или плохи,
подскажет лишь Юрга.

А рельсы память теребят,
мой рейс не наугад:
возьму билеты до тебя —
до станции Юрга.

Стол. Часы.
Окурки. Стопки.
Сломан карандаш.
И беспомощнее строки,
как степной мираж!

Написать хотелось
кровью
Вышло — угольком.
Ты уйдёшь
и дверь закроешь,
и опять — тайком.



А в приёмнике —
случайный
долгий-долгий блюз.
Ты ушла.
Я не ручаюсь,
что опять дождусь!

Мы многое прощаем
себе и тем —
другим.
За полуночным чаем
сидим,
сидим.

И чашка
остывает,
и тает
ночь,
и кто-то
не узнает,
что мог
помочь...

Предела народной мудрости
нету.
И верно. Уча нас,
твердят старики,
что тихие воды
всегда глубоки...
В глаза твои глядя,
я чувствую это.

Снег сошёл.
Весною дождь
разводами
на стекле печален и слезлив.
Вот ещё,
как серенький юродивый,
день прошёл,
кого-то отдалив.

Слетают листья,
век свой доживя,
кружатся и —



к своим братьям
ближе.
И я хочу лететь,
хочу завять.
С тобою рядом
оказаться лишь бы!

*Посвящается
Анатолию Акаве*

Мы поднимались по ручью,
держась за серые пороги,
мы пили молодость свою
глотками бешеной дороги.

И уносила дни вода,
касались лиц дождя колосья.
Спешить остались города,
грустить — салаты и авоськи.

И тяжелели рюкзаки,
их километры нагружали.
А звёзды, раньше далеки,
у наших ног почти лежали.

Мы лесом шли
путем неединным
под пенье птиц,
цветение сосны,
соединившись
с Золотой долиной
в последний день
очередной весны.
Трещит,
жужжит,
щебечет,
распевает
красивый мир,
открытый
только нам.

А солнце,
дополняя краски мая,
коснулось кистью
неба-полотна.
И я — творец,
тобою вдохновлённый,
вдруг понимаю —
мир не устарел,



А ветерок,
тревожа мир зелёный,
пыльцу разбрызгал,
словно акварель.
Но облака
бесследно исчезают,
на миг зовя,
приковывая взор..
Весна! —
художник,
скульптор
и дизайнер,
творит лишь там,
где властвует простор!

К кому бы прислониться

Ты мне всегда была необходима,
но стороной меня ты обходила.
Я вспоминал твои прикосновенья,
я забывал тебя без сожаленья.
Я путал имена, я путал перекрёстки,
мне было не до сна от глаз лукаво-хлёстких.
Нередко уезжал далёкою дорогой,
и, было, — обивал ненужные пороги.
Но... всё это прошло, чужие сняты лица,
а сердце не нашло к кому бы прислониться.

Мои глаза
теперь открылись шире,
хотя немного
всё же постарел.
Я ощутил себя
частицей мира
и звёзды,
наконец-то, рассмотрел!



Геннадий ПУССЕП

Семь рассказов

Поезд набирает скорость

I

— Сколько тебе лет?
— Я совсем маленькая девочка, и у меня всего только два зуба мудрости.
— А сколько же тебе лет?
— Ты невоспитанный и колючий, а по твоему неповоротливому лбу ползёт божья коровка.

Поддерживая её тон, он закончил фразу:

— Божья коровка очень тяжёлая и у неё зелёные от злости глаза. И что это за мода такая, чтобы божьи коровки хватали молодых мужчин за уши?

Она вскочила на ноги, замахала руками и пропела неожиданно звонко и с чувством:

— Божья коровка, улети на небо, там твои детки кушают..
— Розетки, — быстро закончил он, задиристо глядя в её сторону.
— Какие розетки, хулиган? — взвизгнула она, сламывая засохший стебель какой-то прошлогодней травы и идя на него с орудием наказания.

— Для элек-тро-на-гре-ва-тель-ных при-бо-ров, — в такт шагам, удирая, огрызнулся он.

— Не-е-е-т, они их не едят, у них нет зубов...

— Мудрости! — ещё раз вставил он радостно. Они расхохотались ещё громче, гоняясь друг за другом по берегу, распуская сонных стрекоз. Наконец, он нарочно споткнулся и упал на берег, подгребая под себя крупный горячий песок. А она залетела в реку, присела несколько раз и, набрав в рот воды, побежала к нему, но не сумела донести воду, рассмеялась, и водяные брызги разлетелись по песку, не достигнув его спины...

Он этим летом окончил школу и через два дня уезжает поступать в институт. Она тоже уезжает. Завтра утром. Она живёт и работает в другом городе, заканчивает вечернее отделение института лёгкой промышленности...

— А помнишь, ты приходила к нам с физиком, знакомила бабушку со своим женихом?

— Я ничего не помню, — отвечала она и била по песку ногами, изображая капризного ребёнка, — я его утопила в колодце, нет, вру, — сдала в макулатуру вместе с одеждой...

— А мне было неудобно, что я подстригся “под бокс” и сижу в трико и домашних тапочках. Бабушка тогда сказала, что вы — хорошая пара и что ты, Анька, молодец: выбрала культурного. А вчера захожу к бабушке и вижу тебя, глазам своим не поверил... А когда я провожал тебя, наши девчонки попались навстречу. Интересно, что они подумали?

— Они подумали, что не ты это, а какой-то чокнутый со старой тёткой. С девушками ты же не ходишь? Или я ошибаюсь?



— Мне всегда хотелось пройти с тобой под руку.

— Да-а! Ты повзрослел, и борода у тебя растёт — настоящая, колючая, мужская!

Аня положила ладонь ему на щеку, нашла брови и расправила их прохладными и самыми лучшими пальчиками, а затем — большим и средним — закрыла ему веки, он не мешал ей, открыл глаза и сказал тихо:

— Когда лежишь на спине с закрытыми глазами, то забываешь, с какой стороны город, с какой — река и с какой — ты...

— Я сижу у твоего затылка, терзаю твои брови, а ты закрыл глаза и забыл меня.

— Нет. Я забыл, что ты завтра уезжаешь.

— Ты приедешь меня провожать?

— Я зайду за тобой, и мы поедem на вокзал вместе.

— Моя мама поедет тоже, — уточнила Аня.

— Да.

Она положила голову ему на плечо. Он нашёл в песке её пальцы, раздвинул их своими.

— Наши пальцы переплелись, как твои волосы.

— И твои.

— Ты стал совсем взрослым, — чуть слышно сказала она, — я пришлю тебе дюжину галстуков и ты их будешь менять каждый день.

— И у меня будет любимый галстук, который я буду надевать по праздникам, с костюмом.

— Ну, ты совсем взрослый, — повторила она серьёзно и твёрдо.

— Я боюсь тебя поцеловать, — вдруг выдохнул он.

— Ты же мой брат.

— Я тебе просто далёкий родственник.

— Ты — хороший родственник.

— Поэтому я обязательно поеду тебя провожать.

— Я очень хочу, чтобы ты меня проводил и шёл за поездом.

Аня стряхнула песчинки с его лба и правого плеча. Он взял её ладонь, приложил к глазам. Ногти на пальцах были длинные и колючие. Под ноготь мизинца забились две песчинки.

— У тебя две песчинки под ногтем.

— Мы с тобой тоже две песчинки и лежим на ладонях берега. — Аня прислушалась. Шумела река.

— Ты был здесь с кем-нибудь?

— Нет. Ведь это ты выбрала место.

— Я забыла... Я всё забыла!

Она задумалась, что-то вспомнив, закрыла глаза. Он ей не мешал. Они хорошо понимали друг друга. Они были родственниками. Она прошлась пальцами по его груди и сказала, взглянув на него и поджав губы: — Я поторопилась родиться. Четыре года — это большая разница. Нет, не сейчас! Потом.

Он понимал, о чём она говорит, потому что сам хотел сказать Ане много того, о чём она, конечно, и не задумывалась, не веря, что с детсадовского возраста была для него двоюродная сестра светом в окошке, долгожданым ветерком в жаркий день, тёплым солнышком в мороз. Но говорить об этом не мог, это ему было неподвластно. Он стеснялся собственных слов, они ему казались детскими и неинтересными. Что он понимал в этих шести буквах, среди которых одна была просто мягким знаком.



Он их часто слышал и не доверял им, у него к Ане своё, и он разберётся, как это назвать. Ему ещё во многом предстояло разобраться...

Как хорошо, что Аня рядом. Он всегда был рад, когда они были рядом. Раньше она часто приходила к ним в гости, ведь они были родственниками. И он всегда ждал её прихода. Как-то в шестом классе он сфотографировался с бабушкой и родной сестрой в электрофото на зелёном рынке. Стоял в школьной форме, в фуражке с кокардой. Как военный! Ему очень нравилась фотография. Когда Аня смотрела альбом, он всегда подкладывал фотографию на последнюю страницу, чтобы она посмотрела её потом, после всего. Ей фотка нравилась тоже, и она неизменно говорила:

— Серьёзный! Быть тебе военным.

И вот теперь они были рядом, взрослые, и им было о чём поговорить. Это открылось вдруг, но он это понимал давно, а Аня — неожиданно!

— Я никогда не была с тобой в кино.

— Я никогда не танцевал с тобой.

— Я не получала от тебя писем.

— Я храню все твои фотографии.

— Я не слышала и не читала ни одного твоего стихотворения.

Им о многом хотелось поговорить. Аня это чувствовала теперь особенно. Но тоже боялась лишних слов, да и не только их. Как быть?.. Ей было хорошо с ним...

II

Поезд подошёл шумно и красиво. Нумерация велась с хвоста и последний, прицепной вагон оказался в начале состава, рядом с торговыми рядами.

Поставив в купе чемодан и сумки, они вышли в тамбур, где ждала их её мама — его тётя. Она быстро распрощалась и оставила их одних. Пассажиры и провожающие толкались, а он, потупясь, улыбался и молчал. Хотел взять Аню за руку, но не решился, не посмел.

Напротив вагона стоял киоск, в нём продавали булочки и бублики.

— Хочешь бубликов?

— Хочу.

Он выскочил на перрон. Очереди не было. Бумаги тоже. Пришлось снять галстук. Бублики с помощью продавца насадил на галстук, завязал на два узла. Поезд тронулся. Он успел передать связку. И всё. Шёл за вагоном, отстал. Поезд набрал скорость.

III

Дверь на балкон открыта. В городе тихо, как бывает после выходного дня. Ночное небо закрыто тучами. Поэтому очень тепло. Только кое-где, на востоке, эта тишина прорвана, и звёзды, кажется, шумно устремились на землю в редкие проталины. И, если прислушаться, можно услышать, как отрывисто они шлёпаются на землю, но стоит выйти на балкон и поднять к небу лицо, уйти от сладких и неожиданных дум, то шум и стук становятся окончательно понятными: с туч над головой падают крупные и редкие капли дождя. Они стучат по полусухому асфальту, по листьям и, немного звонче, по железной крыше соседнего дома. Далеко-далеко заводские трубы с гирляндой огней, красных и жёлтых. Дыма не видно, потому что темно и безветренно, а горизонт тёмный и затуманенный пасмурным небом.



Несколько капель упали на лицо, быстро согрелись и сбежали за распахнутый воротник, приятно напомнив Анины пальцы.

Конечно, он думал о ней. Он просто думал. Ему хотелось думать. Прожитые юношеские годы, а особенно последние дни, медленно и тихо, как капли дождя, стучались в его память. Очень медленно стучались.

— На улице дождь? — спросила мама.

— На улице дождь, — ответил сын.

— Ты возьмёшь с собой чемодан?

— А долго идёт поезд до Новосибирска?

— Меньше суток, но в Барнауле стоит почти семь часов, вагон перецепляют к другому составу.

IV

Провожали родители и двое друзей, оставшихся учиться в городе. Перед дорогой, дома, присели и помолчали, но здесь, на вокзале, говорили все. Советовали, куда положить деньги, что покупать на станциях...

— Не забудь про телеграмму, — говорила мама, когда поезд должен был вот-вот отойти: по вагонам пробежал стук сцепок.

— Дяде Саше — привет, — подбросил отец, когда поезд тронулся.

— Ни пуха... — закричали все, когда поезд набрал скорость.

— Идите в купе, — сказала проводница, когда вокзал отстал за поворотом.

V

— Через полчаса Новосибирск, — заговорили соседи по купе, когда новый день перевалил далеко за полдень.

За окном сосны. Собрались у полотна большой толпой и о чём-то переговариваются, а маленькие сосенки, поднырнув под телеграфные провода, подошли почти вплотную к железной дороге. Ярко-зелёные и любопытные. Среди всей этой зелени, вдруг, выплеснулось Обское море. Оно заблестело в лучах уставшего за день солнца, виден какой-то островок, две-три яхты. Но поезд свернул в сторону, торопясь завершить свой долгий путь, Море, напоминая рассыпанное битое стекло, несколько секунд мелькало между соснами. А потом снова сосны, берёзы и синяя автомобильная дорога, напоминающая реку. Автобусы, легковые автомобили — бакенами у её берегов, но только самых различных цветов. Новосибирск совсем близко.

Знаменитый Новосибирский вокзал. У главного входа старички и бойкие женщины продают цветы — гладиолусы, астры, розы.

Троллейбус плавно подошёл к остановке...

VI

Прошёл год. С календаря оборвано триста шестьдесят пять листочков с чёрными и красными цифрами.

— Хорошо, что я не рассказывала тебе о своём замужестве тогда, у реки?

— Да, иначе мне нечего было бы вспоминать весь этот год. Но всё равно как-то не по себе.

— Я уже тогда ждала ребёнка.



- А теперь у тебя их двое.
— Двойняшки.
— Это те два зуба мудрости, которых тебе недоставало у нашей реки,
— вспомнил он.
— Я поторопилась.
— Ты очень правильно поторопилась.

Она стала просто родственницей, но у него остались стихи о ней, прошлогодней. Хорошо, когда у человека остаются стихи. Он опять не стал ей читать их. Они были хорошими стихами, а он боялся повредить её замужеству, ведь ей бы понравились его зарифмованные мысли и чувства. Не зря же она хранила его галстук из-под баранок. На нём также было два узла. Их никто не развязал. Их не нужно было развязывать. Они остались на память.

VII

Она теперь стала жить в их городе. А он ещё три раза приедет сюда на каникулы летом. Может быть, он будет прилетать на самолёте. А сейчас конец августа. Поезд опять набирает скорость. Вокзал, как и год назад, отстал за поворотом, а тёплый вечер остался.

*Тёплый вечер
да стук колёс,
пересчитывающих километры.
На глазах
бисеринки слёз,
выдуваемых хлебным ветром.*

Сегодня его провожал город, оставшийся вместе с Аней, убаюкавший чуть было не проснувшуюся большую любовь, но в сновидениях всё осталось и повторяться будет долго, пока жизненный поезд набирает скорость.

Новосибирск, 06.06.1970 г.

Оля

Мокрый потрескавшийся асфальт мозаикой уходил между фонарей в звёздный тупик... Они шли медленно-медленно, и им казалось, что асфальт этот потрескался не от времени, а был сделан таким — каждому по кусочку. Фонари отражались в ромбах, пятиугольниках, квадратах и треугольниках, в зеркалах лужиц, разбросанных вдоль улицы. Фонари потрескивали от проходящего через них тока, напоминая незримую цикаду. Кое-где лежали листья, ещё не жёлтые, но почему-то опавшие...

Они шли. Он — ещё довольно молодой, но с седыми висками мужчины с выправкой кадрового военного, она — девчонка на чёрных каблукках:

— Я уже много лет мечтала об этом дне или вечере, всё равно, мечтала ночами, мне это казалось осуществимым, но по утрам всё становилось нереальным, и я не смела и думать о встрече, представив, как ты к этому отнесёшься, боялась испуга в твоих глазах, а ещё — суеты и банальных слов: "Надо же, вот не ждал! Сюрприз!"...

Она замолчала. Их спокойные шаги вписывались в вечернюю тишину и прохладу. Она положила руку в карман его пиджака, сжав её там в кулачок. Во второй руке, скомкав, держала плащ.



— Продолжай, — нетерпеливо вернул он её к разговору.

— В этот год было трудно. Диплом, — не верится, что это уже позади. На защите была киносъёмка. Переположили всех преподавателей. Фонарями и терминологией. Выпускной вечер был такой же дождливый, из рта шёл пар, и мы гуляли в пиджаках своих сокурсников. А ты помнишь свой выпускной?

— У меня его не было. Я учился на вечернем, а диплом “обмывали” с друзьями в кафе.

— Трудно работать?

— Всё трудно, но ты постарайся усвоить одно: не бросайся с места на место, как воробышек. Бывает у каждого: хочется бежать, что-то переменить, но соберёшься, вытерпишь, и всё становится великолепно, словно праздник среди своих близких и понятных людей.

— Интересно!

— А вот в семейной жизни не так. Может, были бы мы вместе, то и жили бы интересней.

— Не будем о прошлом, его нет. Я счастлива, что всё закончилось сегодняшним вечером и... всё началось с него.

— Но всё-таки, Оля, кто-то был твоим близким человеком, кроме родителей, с кем ты ходила в кино, каталась на лодке, кто писал тебе глупые письма?

— Писем не было даже от тебя, а лодки и кино — не в счёт. Мне 19 лет, я разбираюсь в цветах и контрольно-измерительных приборах, во всех людях пока вижу только хорошее, и лишь месяц назад узнала, как расшифровывается загадочное слово ЗАГС, оно у меня почему-то ассоциировалось с бензозаправкой и вообще с чем-то, связанным с автомобилем. Подружки выходили замуж, а я впервые расписывалась в регистрационной книге... в качестве свидетеля.

— Что ж, этого уже немало. А я тоже недавно узнал, что в нашем городе растут вязы. Родился здесь, вырос и никогда не знал.

— А ты думал, что я смогу приехать, найти тебя и что мы будем шагать по этой асфальтовой мозаике?

— Нет, я не имел права об этом думать.

— Но хотел?

— Да. И если ты всё поняла и нашла во мне человека, необходимого тебе, то я ничего большего от жизни не хочу.

— Ты всегда был для меня таким человеком, хотя я 19 лет не произносила слово “папа”. Теперь я окончила техникум, приехала к тебе, не обузой, а воспоминанием. И чтоб ты знал — я у тебя была и есть. И мы будем вместе.

— Только — несколько часов.

— Папа, а давай проводить отпуск вместе, где-нибудь в глуши...

— Мы будем проводить его на твоей родине. Помнишь небольшой курортный город на Алтае? Мама должна была тебе рассказать о нём.

— Да, у нас есть фотографии, и есть одна, где ты в военной форме, такой же, как я, наверное, молоденький.

— Нет, постарше, уже после войны. Два года мне пришлось воевать. Был артиллеристом.

Улица внезапно оборвалась набережной, недостроенной и неосвещённой.



— Я почему-то подумала о твоей жене, она, наверное, сидит сейчас в тёмной комнате и ей настолько тяжело, как нам легко. Не хочу, чтобы ей было плохо.

— А Серёжка спит спокойно, он ещё в беззаботной поре.

— Мой брат. Ты будешь брать его с собой в отпуск. И мы подружимся.

— Оля, а как твоя мама? Чем она занимается? Какая она теперь?

Он давно хотел спросить об этом, но пытался делать вид, что его это не волнует, хотя сам себя же ловил на мысли, что думает о ней. В нём вдруг проснулась какая-то ревность, что всё это время она была с кем-то другим. Он помнил, как носил её на руках, как они бегали к водопадам, собирали осенние цветы и бросали их в реку. А потом она ругала его за татуировку на левой руке — букву “Н” — начало её имени. Через год появилась Оля, он сам выбрал имя дочери. Оля ещё ползала, когда он уехал в город учиться и работать. Ждал квартиру. Но жена не поехала за ним. С непонятным упрямством держалась за старое место, не хотела менять работу и просто хотела настоять на своём. И они отвыкли друг от друга. А Оля росла. Её, правда, не заставляли звать кого-то папой, и этот кто-то не настаивал, и покупал игрушки, и учил ездить на велосипеде. Потом уезжал, возвращался, шептался о чём-то с мамой, и всё начиналось сначала: игрушки, поездки за город, сладости и сюрпризы. Они были счастливы. Так думала Оля. Потом она поняла, что маме трудно, что у этого человека своя семья и что он приезжает в командировку. А настоящий отец — где-то далеко. О нём говорить было не принято. Отец... Оля старалась всё больше и больше узнать о нём. Собрала все его фотографии. Знала наизусть все бабушкины рассказы о нём. Бабушка его любила и всегда говорила, что мать гонор свой показывала и вот — допрыгалась. Осталась невеста с довеском.

Когда Оля поступила на первый курс, они с бабушкой договорились, что после защиты диплома поедут к отцу. Представляли, как он удивится. Нафантазировали и ждали. Но бабушка умерла на следующий год. Впечатлительная девчонка осталась одна со своими мечтами. Смерть бабушки сблизила её с матерью, которая тоже осиротела. В их доме наступило какое-то бабье лето. Похоже, они пытались наверстать годы, которые прожили незаметно — просто друг для друга.

Но пришло время распределения в небольшой городишко с металлургическим заводом, и прежде она поехала к отцу. И в этом ей никто не смог бы помешать.

— Я не опоздаю на поезд?

— Нет. Фонари в городе гасят в два часа, а поезд — в три тридцать, почти на рассвете.

Они ещё долго бродили по городу, напоминая влюблённых, которым некуда торопиться и у которых впереди рассветы, встречи и жизнь.

На вокзале Оля плакала. Он целовал её в мокрые солёные глаза — такие же, как у него — серые и огромные. Она плакала так первый раз в жизни. Ей, наконец-то, стало легко. Стало ли легче ему? Конечно. Но как всё это поздно. Как поздно...

Он шёл за тронувшимся составом, держал её руку, сколько мог, а потом бежал по перрону, пока темнота их не разлучила.

Оля вернулась домой днём и, не переодеваясь, поехала к матери в столовую.



— Ты знаешь, мама, я всё время смотрела на него, а когда мы прощались, я точно вспомнила, что видела отца раньше. Я уверена в этом! Почему?

— Он приезжал к нам, когда тебе было три года. Отец держал тебя на коленях, но ты всё время пыталась удрать и сделала это, а после всё выглядела из-за шторы, смотрела на него, но я сказала, что у тебя теперь другой отец и ты к нему привыкла. Он не стал настаивать и в этот же день уехал.

— Мама, ты ни о чём не жалеешь?

— Я прожила свою жизнь так, как хотела и могла.

— А обо мне ты думала, когда решила оставить меня без отца?

— Ты — моя дочь. И я не намерена ворошить прошлое ради вашей одной прогулки с отцом по ночному городу. Мог бы куда не уезжать, никто его не гнал. Наоборот.

— Знаешь, он мне, оказывается, был дорог. Ты его пыталась отлучить от меня, а этого не произошло. Я понимаю, что вернуть ничего нельзя, но эта встреча мне вернула отца, а ещё, если откровенно, любовь к нему мне привила бабушка. И я ей за это до конца жизни буду благодарна. Она бы ребёнка не сделала безотцовщиной. Не сердись на меня, но я хочу, чтобы в душах наших наступило равновесие: ты, я, отец. Я это, согласись, заслужила. И последнее. Мне через неделю уезжать по распределению. Городок, ты знаешь, неплохой. Обещают жильё. Ты поедешь со мной? Хотя бы раз смири свою гордыню. Сделай так, как велит сердце.

— Спасибо тебе, Оленька, я поеду с тобой куда угодно. Матерью, нянькой, домработницей. Кем возьмёшь.

— Мы поедem как дочь и мать. Мы должны быть вместе. И у нас есть отец. И мой брат. Дай я тебя поцелую, мама!

Куйбышев, 1972 г.

Классная встреча

Пересадка была в Новосибирске. Шикарный вокзал. Кассы, киоски, разнолюдые, соблазны. Длиннющая очередь в кассу южного направления. Сколько же поколений уже выросло в этой очереди, в общих, всегда переполненных вагонах, где постоянно едят, пьют, навеки знакомятся и маются от духоты. Ничего не меняется... А что, если пренебречь привычкой, перестать экономить на самом себе? Сколько же стоит билет в мягкий вагон?

Дежурная справочного бюро с уважением называет сумму. Как в самолёте!.. Возвращаюсь к кассе. Очереди почти нет — кончились билеты в плацкартные и общие вагоны. Купированные и мягкие — доступны. Ну и цены!.. Раздумья прерывает тонкий запах дорогих духов и голос:

— На 194-й в мягкий вагон места есть?

— Да, да! Есть, к вашим услугам, не пожалеете, — сообщила ожившая сразу кассирша.

— А чего жалеть! Один до конца, на нижнюю полку, — протянув в окошко деньги, бросила женщина. Мельком взглянула на собственное отражение в кассовом стекле, торкнулась глазами по сторонам, подняла тонкие бровки и полуулыбнулась мне.

— Они все нижние, купе-то двухместное, — уточнили из окошка.

— Замечательно, просто замечательно! Выписывайте, — заторопилась красавица.



Да, всё было при ней! Защёлкал кассовый аппарат, зашлёпали штампы, и билет вместе со сдачей хлопнулся на стойку:

— Вагон третий, место пятое. Следующий!

А следующий провожал взглядом видение и прикидывал сумму, лежащую в разных карманах, — так надёжнее, — хватит ли?.. Хватило.

Шестое место, о котором я спросил кассиршу, было в том же купе, где и пятое. Отходя с билетом от кассы, я почувствовал, как глаза строгой женщины в форме словно вылезли из кассового окошечка, изучая меня, а может быть, осуждая, а может быть...

Поезд уходил вечером. Соблазны — рядом. Вперёд — по Вокзальному проспекту. Прошёлся до Оперного театра, поглазел на афиши, вернулся к ЦУМу и окунулся в его круговерть...

Уставший, но не соблазнившийся на покупки (впереди — мягкий вагон!), присел перекусить чего-нибудь сибирского в кафе-забегаловке на первом этаже. Пытаюсь насладиться казённой пищей и вдруг слышу по громкой связи:

— Рабочий Семёнов, подойдите в отдел кожгалантереи...

Через некоторое время просьбу для рабочего повторили. Я собрался уходить, мям салфетку, когда после щелчка приёмник изрёк снова:

— Рабочий Семёнов, зайдите к заведующей отделом кожгалантереи.

Я уже выходил из магазина, когда известного уже всему ЦУМу Семёнова резко пригласили ещё раз:

— Товарищ Семёнов, срочно зайдите к директору!

Семёнов найдётся, а что меня ожидает вечером?! Найду ли я оправдание своему желанию — ехать в мягком вагоне? Да ещё первый раз в жизни. Да ещё с женщиной, которую почувствовал. И разволновался...

Поезд подошёл чётко по расписанию. Стоянка 30 минут. Суматоха из-за желающих что-либо поесть, перехватить, поглазеть. У плацкартных вагонов давка. Общий, похоже, перевёрнут. А третий вагон — как гордо стоящий “Мерседес” или “Линкольн”. Даже проводник, похожий на полковника в отставке.

Показал ему билет. Он даже не взглянул:

— Потом разберёмся, времени хватит.

В вагоне чистота, ковровая дорожка и... едва уловимый запах уже знакомых духов. Волнение подступило к вискам. Да, жизнь полна неожиданностей. “Скорее бы тронуться. О Господи, придумал же слово!”.

Дверь легко подалась. В купе уже сидела она и... ладный майор. Красивый коричневый чемодан лежал на противоположной полке-диване. На столе — коньяк, два одноразовых стакана.

— Извините, я на шестое место, вот билет!

Она удивлённо улыбнулась, отодвинулась от офицера, пообещав:

— Мы освободим вашу полку, а провожающим — место на перроне.

Я поставил под столик свой дорожный портфель, облегчённо успокоил присутствующих, взглянув с завистью и ревностью на военного:

— Сидите, сидите. До отхода ещё 15 минут, а я загляну в вагон-ресторан, он по соседству. Не буду мешать.

“И пойду выпью для храбрости, — это я уже решил про себя, но военный из головы не выходил. — Кто он? Муж? Да какая разница. Скоро в путь. Вдвоём! Какой запах!”.



Объявили отправление. Официантка поставила на столик графинчик с желанным коньяком, придвинула блюдо с ломтиками засахаренного лимона:

— Угощайтесь. У нас сегодня рыбный день, но колбаса и сыр есть. Что принести на закуску?

В портфеле лежал свёрток с едой, с щедрой настойчивостью втиснутый туда краснойярской тётушкой. Зная её хлебосольство, я заказал только сыр и большую плитку шоколада: “Для соседки! От шоколада ещё никто не отказывался, а там видно будет!”.

Поезд уже шёл по мосту через Обь, когда я вернулся в купе, но в нём никого не было. И ничего не было. Только аромат духов — всё ещё многообещающий и желанный. Но он исчезнет без неё. В чём дело? Но сразу осенило: поднял свою полку — портфель стоит, поднял вторую — чемодан! Всё в порядке. Сел, потянулся. Закрыв глаза — хорошо! Колёса на стыках пели: “Хоро-шо, хоро-шо, хоро-шо!”. Она не заходит. Понятно! Стоит в тамбуре или умывается. А вдруг тоже волнуется. Конечно! Иначе и быть не может. Мы же встретились не случайно. Дальше думать не хотелось. Она где-то рядом...

В дверь мягко и тихо постучали.

— Да, да! Входите. Открыто же, — очнувшись и волнуясь, выдавил я из себя, резко повернулся к окну, срочно заинтересовавшись закатным пейзажем. Дверь прошелестела и знакомый голос... майора возвестил:

— Ну вот и я, будем знакомы — Андрей Семёнов, следуя к месту прохождения службы.

— И я — Андрей. Потрясающее совпадение, — ответил я и подумал: “А насчёт Семёнова — так лучше и не нафантазируешь”.

И сразу запахло вагоном, казармой и дорожным коньяком, который вытащил из-под сиденья майор:

— Будем знакомы. Путь не близкий!..

Но об этом в другой раз. Нужно прийти в себя...

Эх, Семёнов!!!

Омск, 1979 г.

Михалыч пошутил

Главный энергетик Калачов, можно сказать, родился на комбинате. После окончания энергетического техникума пришёл в электроцех, где проходил прежде все практики: и ознакомительную — принеси, подай, сходи, подмети; и стажёрскую — сюда не лезь, туда не ходи, здесь не сиди, после всё узнаешь. Отец его, дядя Миша, так все его звали от рабочих до директора, строил комбинат, подключал главную подстанцию, познавал энергетику на практике. Для него электроток — жидкость, текущая в трубах по своим законам и понятиям. Он всё это живо представлял, умел объяснить и доказать любые разводки и схемы, но... по-своему — на пальцах и словах крепких и ёмких, точных, как удар молотка по шляпке гвоздя: наверняка и крепко. Так что Калачов-младший — потомственный энергетик и многое взял от отца. Но вернёмся к главному энергетику, тем более что у него сегодня ответственное оперативное совещание о подготовке комбината к работе в зимних условиях.



Руководители энергослужб цехов собирались на эти оперативки охотно и без опозданий — Калачова уважали, понимали и любили за знание дела, краткость и конкретность.

Он, как и всегда, выбрался из толпы окруживших его специалистов, желающих до совещания решить какие-либо незначительные вопросы, вышел к трибуне на сцене зала заседаний, встал рядом с ней, сказав:

— Всё, кончай базар!

Аудитория затихла. Началась оперативка, но никто ничего не записывал. Один только я, представитель профкома, сидел с записной книжкой и авторучкой, готовый увековечить что-либо важное. Калачов насмешливо посмотрел в мою сторону, вскинул брови и тут же забыл про меня.

Совещание длилось 25 минут! Причём большую часть времени главный слушал чёткие доклады подчинённых о проделанной работе. Два-три человека поставили вопросы. Он кивком головы дал знать, что они приняты. А инженер отдела главного энергетика Тоня, повинувшись его жесту, что-то быстро записала в тетрадку, уютно лежавшую на её красивых коленях.

Заключительная речь Калачова меня потрясла и удивила: половина слов в ней, я подсчитал, были нелитературными, но среди них не было слов-паразитов. Они не повторялись. Я попытаюсь передать часть её с жалкой заменой его ёмких слов на удобоваримые для эстетов.

— Первый цех, твою мать, оборзел. Мне в борозду такие хреновины, которыми они прикрывают свою долбаную бесхозяйственность. Даю срок неделю, а не сделаете — в три столба ваши мозги, выгоню к известной бабуле. Кому, в роги оленя лом, помешал кабель в подсобке четвёртого участка? Скоммуниздили его наши же долбодятлы. Найти долбушников до конца дня, иначе — финал вашему перцу. И последнее. К двадцать третьему на селекторном каждый должен доложить без борозды, что сделано и почему. Кто обнаглел... — выгребу душу и ширинки порву. У меня всё! Вопросы задавайте друг другу.

Народ оживлённо расходился, я подошёл к Калачову. Он приветливо улыбнулся и спросил:

— Неужели чего-то не понял?

— Почему же, я понял, но ведь так же нельзя. Это же совещание! И потом — в зале женщина. Ей каково!

— Ты это о чём? — удивился главный.

— О ненормативной лексике, — ехидно ввернул я приготовленную фразу.

— Не-нор-ма-тивной?! А, уловил! Говорю, как умею. Думаю, что меня понимают, а что касается Тони — ей же легче, матюги уберёт — и протокол готов. Коротко и точно. Ладно. Приходи в следующий раз, исправлюсь. А сегодня-то что нагрянул? Речь мою записывать?

— Нет, нет! В спортзале фонари заменить нужно. Давно уже прошу, а сейчас забыл, твои маты считал. Извини.

— Завтра сделаем. Пименов, подойди к нам, — энергетик хозцеха обернулся, кивнул, подошёл. — Завтра заменишь фонари в спортзале, барабан тебе в спину, позоришь меня перед профкомом. Всё. Иди, зюйд-вест тебе вслед...

На следующей оперативке я стал свидетелем моноспектакля-экспромта. Калачов перед докладом цеховиков развернул речь изумительной грамотности:



— Уважаемые энергетики! Мне очень приятно, что вы вовремя начали подготовку к зиме. Не всё, безусловно, идёт гладко, с сожалением отмечаю конкретную волокиту, не всегда качественную работу ряда подразделений. Я об этом скажу чуть позже. И думаю, что вы, уважаемые специалисты, сделаете соответствующие и правильные выводы, а также извлечёте практические уроки из этой затянувшейся осени. Да, впереди ещё немало работы. Темпы, прошу вас, уважаемые, не снижайте.

Я обратил внимание, что в самом начале монолога Калачова многие сидящие в зале пожимали плечами, переглядывались, шептались, что-то быстро записывали. Похоже, им было плохо. В их глазах чувствовалась тревога:

— Что с Калачовым?

— Заболел?

— Наказан? За что?

— Может, уволен!!?

— Александр Михайлович, что-то случилось? — выкрикнул кто-то из зала. — Почему не начинаешь оперативку?

Тоня на этот раз ничего не записывала, её глаза метались то к Калачову, то в зал — за поддержкой. А главный это сделал специально для меня, утёр мне нос — знай наших! И без перехода вернул присутствующих на землю:

— Что, разлюли малину, съели, корнеплод вам в ухо. Будете плохо работать, задолбаю такими речами. Короче... — и он вернулся к своей терминологии, доступной и такой близкой для каждого в зале. Все присутствующие облегчённо вздохнули, спрятали ручки и карандаши. А Тоня принялась кратко записывать важные этапы совещания. Чуть-чуть покрасневшая, но уже спокойная и деловая: “Михалыч пошутил. Такое редко, но бывает”...

Усть-Каменогорск, 1994 г.

Узнал

Поезд “Владивосток — Москва”. За полночь. В купе на столиках позвякивает стеклянная посуда из-под напитков, дребезжат ложечки в стаканах с недопитым чаем. Похрапывание. Монотонный, убаюкивающий всех перестук колёс на стыках... И вдруг в одном из временных пристанищ — шёпот, робкие возгласы, откровенный переполох:

— А станция Юрга когда будет? — мужской взволнованный голос тычется по купе, ища поддержки.

— Господи, да понятия не имею, мне в Москву, — раздражённо и сонно отбрил женский голос спрашивающего.

Тем же нещадящим вопросом были растолканы остальные соседи по купе. Никто не знал про Юргу. Да и вообще, кому она нужна, если поезд идёт в Москву... Щёлкнула дверная ручка, дверь откатилась. Голос первого мужчины заметался по коридору:

— Ё моё, поди проехали! — и стук в дверь, одну, другую... Вздохмаченные голоса отталкивали бдительного пассажира. Роптали. Но вдруг, ставший уже родным, голос кинулся к появившейся на шум проводнице:

— Девушка, извините, Юрга скоро? Почему-то никто не знает.



— А чего тут знать! Какая сейчас Юрга? Она по расписанию утром будет. По солнышку.

Весь вагон облегчённо вздохнул: “Узнал!”. А спать расхотелось.

Поезд “Владивосток — Москва”, лето 1980 г.

Диагностика

На лодочной станции дома отдыха всегда было шумно: отдыхающий люд подтягивал сюда катамараны, лодки, яхты самых различных конструкций. Здесь можно было получить консультацию, практически по всем вопросам, касающимся отдыха на воде, рыбалки, неисправностей в двигателях любой марки и сложности. Когда лодочник по имени Витёк проводил диагностику неисправного двигателя, желающих услышать диагноз и вероятные способы лечения техники было всегда много. Никто из присутствующих не вмешивался в действие. Витёк скажет всё что надо и даже больше. Он это, похоже, прекрасно понимал и устраивал настоящие представления. Больше всего он любил работать с крутыми судовладельцами, имеющими импортную технику и посудину, но во всём этом ничего не понимающими. Их удивляла простота определения неисправности, что Витёк никогда не ошибался. Покопавшись в механизме, кое-что подправив и заменив, он заводил его на несколько минут, брал в зубы прямую засохшую ветку без листьев и сучьев, затыкал уши пальцами и, как клювом, тыкал свободным концом “инструмента” в разные части двигателя. Закрывал глаза, нюхал карбюратор, пробовал на вкус потёки масла, если они были на корпусе, пальпировал дрожащий агрегат. В конце осмотра бросал хозяину:

— Выключай. Почему бензин хреновый заливаешь? Сплошные нагары. Крикнет двигун. Но мне-то что. Ты — хозяин.

— Витёк, сделай, братан, как себе, в долгу не останусь. Бери деньги вперёд.

— Ну нет, так не пойдёт. Моя такса твёрдая — штука. А жидкая... — пузырь после обкатки.

— Какой разговор, дорогой, согласен.

“Штука” переключивается в чёрный карман потрёпанных джинсов Витька, а он уточняет:

— После ужина заберёшь свой транспорт.

— По рукам!

Обкаткой Витёк дирижировал сам с помощью старого жестяного рупора. Он держал эту древность в левой руке, а палочку, с помощью которой производил диагностику, держал в правой, как дирижёрскую. Хозяин на холостых запускал двигатель и, следя за командами дирижёра, старался выполнить их точно. Иначе Витёк орал в рупор на все побережье:

— Ты чо, в школе не учился? Глуши двигун. Повторяю ещё раз... — И он терпеливо и громко вдалбливал судовладельцу прописные истины: — Дай поработать механизму, убери газ до минимума и нежно врубай скорость, нежно! Это тебе не какое-нибудь бревно, а техника. Она ласку любит и смазку. Давай ещё раз, двоечник!

За 15-20 минут сдача агрегата, как правило, происходила успешно. Но заядлые отдыхальщики через неделю заявлялись снова, забыв наставления мэтра, умоляли принять их без очереди, божились, что в последний раз.



Слава о Витьке разлетелась далеко по побережью и, если его не было на месте, пострадавшие предлагали большие деньги, чтобы лодочники с его станции подсказали, как и где найти знаменитого “доктора”. Всё развёртывалось по сложившемуся сценарию. Горемыку посылали по кругу: домой к Витьку (там ничего не знали), на дачу (там никого не было), к брату-бакенщику (тот его уже месяц не видел). Вспоминали: “Может быть, на своём острове рыбачит!”. Эту версию обрабатывали сообща и кто-то соглашался доставить, тоже, разумеется, за деньги или за жидкую валюту (водку то есть).

Остров Витька был остатком небольшой сопки в семи километрах по воде, от лодочной станции по периметру ровно 436 мужских шагов. С удобной бухточкой, тремя соснами в середине и длинным лежаком из тонких брёвен на восточной стороне, под кустами шиповника. Витёк любил это место, оно было прикормлено для рыбы, из привезённых камней сложено костровище, где можно было рыбу жарить, печь, коптить. Но лодочник чаще варил уху. Тройную. Настоящую. Добавлял в трёхлитровый котелок по окончании приготовления полстакана водки. Оставшиеся капли выплёскивал в костёр. Снимал котелок приспущенным рукавом на большой камень, заменявший стол, и приступал к любимой церемонии: выкладывал всю рыбу на стол, предварительно помыв его речной водой, наливал себе полный гранёный стакан водки (из другого не пил), крестил еле заметным движением кисти руки вначале питьё, потом еду, брал старую деревянную ложку из рыбацкого металлического ящика с крышкой, вытирал её о полу рубахи, одновременно говоря:

— Под хорошую пищу и крепкую водочку пошли, боже, стройную лодочку, — выпивал махом спиртное, запивал с ложки уху, жадно прихлёбывая и вдыхая носом аромат ухи, реки, свежего воздуха и свободы. Ел медленно и долго, разговаривал то с чайками, ждавшими объедки, то с волной, набежавшей на берег, то просто с горизонтом:

— И чего это тучи засели в горах? Клёв испортят и настроение. Того и гляди — ветер поднимется: пропал вечерок. Рыба-то покой любит и погоду, а я — уху.

После трапезы Витёк, бросив куртку на песок, ложился на спину и, долго смотря в небо, засыпал. Просыпался, услышав какой-либо шум на реке или берегу. Поворчав, опять забывался. Он отдыхал обычно сутки. Рыбачил, ел, спал. Иногда подходил к своей моторке. Гладил кожух двигателя рукой, поправлял накиннутую на бензобак мешковину и возвращался к своим рыбацким премудростям.

Особой дружбы он ни с кем не водил, поэтому его рыбацкий покой нарушался крайне редко, если уж кому-то действительно было невмоготу. О его исчезновениях ведал только шеф. Он и создавал эти условия, говоря: “Завтра Виктор отдохнёт, да и водка киснет”.

Георгиевич, начальник лодочной станции, крепкий и весёлый пенсионер, Витька опекал, звал его Виктором, по-отцовски переживал за него, если что-то не получалось. Собираясь на работу, всегда брал с собой еды на двоих, а если готовил, то Витьку накладывал первому, говоря:

— Сними-ка пробу, продегустируй Божью пищу.

Дед любил анекдоты, был не дурак выпить, всегда умел зашибить деньги на плавсредствах, одевался цивильно, в связи с чем его часто спрашивали:



— Георги! Ты чего это вырядился?

А он не смущался и, не задумываясь, отвечал:

— Столько женщин вокруг, такие формы. Вам, молодым-то, что? А мне надо внешне выглядеть. И выгляжу. Потому и смотрят на меня дамочки, а на Виктора всё больше мужики, им узкий специалист нужен... по моторам. И вообще, он у нас настоящий доктор любой техники. Все болезни лечит.

Он любой разговор умел сводить в нужную ему сторону. Его практически нельзя было заставить врасплох.

За сезон все успевали переболеть, кто простудой, кто перепоем, кто вывихом или переломом, ожогом, короче, чем угодно. Природа — она и лечит, и калечит. К кому какой стороной судьба повернётся. Дед часто поучал:

— Все болезни от нашей лени. Поленился одеться потеплее — насморк, не помыл как следует фрукты или овощи — пронесло, не посмотрел по сторонам, переходя дорогу, — травма.

— А ты, Георги, похоже, вообще не болеешь. Бюллетень-то хоть раз в руках держал? — спросил как-то Витёк, хотя уже много раз слышал ответ, но любил вместе с Георгиевичем работать на публику, а дед неизменно отвечал:

— Почему не болею? Бывает. Что я, не человек, что ли? Но я лечусь сам.

— И чем же? — не выдержав паузы, спрашивал кто-нибудь.

— Чем? Водкой. Ей, родимой, и неоднократно!

— Что, все болячки?

— А у меня их всего три. Бывает, простыну, если чай без рукавиц попою, то принимаю водку с перцем. Красным. Помогает безотказно. Случается, что летом огурцов свежих поем и молоком запью. Тут уж всё — карданный вал рассыпается... Так вот, желудок успокаиваю тоже водкой, но уже с солью. Тоже не очень противно и помогает лучше всяких левых мецитинов, — после этого повествования Георгиевич всегда замолкает или переключается на что-то другое, но это внешне, а на самом деле он ждёт очередного вопроса и всегда, дождавшись, блестяще закрывает финальную сцену.

— Ну а третья болезнь? Её как лечишь?

Здесь следовала пауза, иногда Витёк подливал масла в огонь, прикинувшись бестолковым:

— Что это за болезнь? Ты, Георги, никогда о ней не говорил.

— Третья болезнь — это просто плохое настроение.

— И что? Разве это болезнь?

— Да, самая страшная и никудышная болезнь, будь она неладна.

— Ну а её чем? Тоже, поди, водкой лечишь?

— Конечно!

— И с чем её разбавляешь?

— Ни с чем. Пью просто чистую водку.

Пауза, как правило, смех, цепная реакция и предложение: “А не поднять ли настроение? Тем более повод есть — рецепт Георги. Его надо проверить коллективно и дать оценку”.

Много воды утекло с тех пор, но рецепт Георгица передаётся из уст в уста. Дед уехал жить в город, а Витёк помимо диагностики двигателей



нет-нет да и вспомнит рецепт с водкой, присоветует отдыхающим, а если случится плохое настроение, он соберёт рыболовные премудрости, прихватит бутылку “Столичной” — и на остров. Диагноз верный, а лечение — традиционное, по-дедовски, но обязательно с ухой.

Голубой залив, 09.09.2004 г.

Наша лучше

В баню собирались долго. Маркеловна, крёстная, у которой снимал угол её племянник, разведённый холостяк и потенциальный жених для многих, ждавших своего принца, работниц комбината, её крестник, получил приглашение от коллег по работе в гости. Коллеги, муж и жена, работали в комбинатовской типографии. В годы развала советской власти рискнули взять ссуду для индивидуального строительства и не прогадали. Смена валюты уменьшила стоимость строительства в десятки раз. Копеечная стоимость материала, желание построить дом своими руками у мужа и предприимчивость жены — всё это позволило возвести двухэтажный особняк с гаражом и баней, шикарной лестницей на второй этаж, кухней в 25 квадратов и многими другими достоинствами. У домовладельцев была смешная фамилия — Балаболкины, но люди они были хорошие, жили дружно и хлебосольно. У Зои Балаболкиной была младшая сестра, бездетная вдова, тоже имевшая индивидуальное домостроение. Вся родня мечтала выдать её замуж, тем более что все формы сорокалетней вдовы были ещё притягательны, но с мужиками ей не везло: двоих уже похоронила, а третий ушёл сам, предпочтя свободу взамен недостроенному предыдущими мужьями дому.

Новый жених работал начальником одного из отделов управления. В рабочем посёлке металлургов его знали как мужика толкового, с руками и головой, щедрого и весёлого. Своим бывшим жёнам он оставлял по очереди всё, что с ними наживал, с собой только забирал пару мешков любимых книг да личные вещи. Его крёстная жила на хорошую пенсию, приторговывала житейским барахлом. Деньги у неё водились, и она умудрялась помогать своей единственной дочери, живущей в Томске: одевала её и внуков, зятю купила “Жигули”, в год по три-четыре раза ездила к ним с подарками. Племянника она буквально затащила к себе домой, выделила ему комнату и сказала:

— Живи сколько хочешь, крестничек, и мне спокойно — мужик в доме, и тебе хорошо — накормлю, постираю, а ты где поможешь по дому, где поддержишь вечерами компанию, и переживём зимушку, а там женим тебя, найдём кралю с хозяйством, в теле — тебе хорошо и я при деле. Денег мне от тебя не надо, а вот ремонт помощи сделать. Помню все твои прежние квартиры. В теремах жили дуры-то твои.

Была у Маркеловны на примете невеста для племянника. Года два жила у неё на квартире учительница математики. Хорошая девка, кровь с молоком, а до мужиков робкая. Но домовитая, хозяйственная и чистюля! Каких мало. Очень хотелось, чтобы жизнь у неё получилась. А то за тридцать, а к мужикам ещё и привыкнуть не успела. Всё тетрадки да собрания. Никакой личной жизни. А тут — на тебе! Племяш вывалился из семейного гнезда. Да какое там гнездо — гулянки да ругань. Деньги есть, квартира, мебель. Дети у бабок родных пропадают то на даче, то за городом



отдыхают, у моря. А, их это дело... Но как-то зашёл крестник в гости, а она с квартиранткой своей пирог пекла. Вовремя племянничек появился, ждала его Маркеловна. И Нину придержала, слукавив, что не справится сама с пирогом. Крестник зашёл с мороза румяный, весёлый, вина принёс и конфет (однако, Новый год по старому стилю был). Ох как Нинка на него глазами своими большими стрельнула. Ложку выронила. О кресло задницу ударила — села мимо! Вот бы парочка была. Это с год назад случилось, а сейчас он в разводе, она квартиру двухкомнатную в наследство получила от бабушки, царство ей небесное. Ох, быть свадьбе. По душе оба Маркеловне. Жили бы по соседству. В гости друг к дружке бы ходили. Племянничку даже и приданое есть — ковёр, постельное германское, можно и сервиз на 12 персон подарить. На старость-то после всё добром аукнется.

Уезжая к дочери на месяц, Нинке наказала присматривать за квартирой и за племянником. Присмотрела, похоже, зачастила и по делу, и без дела. И ночевать оставалась. Попалась, голубушка. И племянничек засуетился: то в гости, то в театр, а теперь вот в баню-сауну. А без тётки никуда. Тоже пригласил к сослуживцам. Конечно, поеду. Богатые, видно, люди, коль дом двухэтажный, с баней. Да ещё на своей машине отвезут и домой привезут. Красота! Нинка не хочет ехать, баню, видите ли, не любит. Поедем вдвоём. Пусть отдохнёт перед женитьбой. А я присмотрю за ним, а то ещё какую-нибудь невесту подсунут. Оно нам надо... У него своя со всеми достоинствами, да и родная почти.

В дверь позвонили. Маркеловна шустро убрала карты, на которые разбрасывала судьбу племянника, громко топая тяжёлыми пятками, подошла к двери, говоря сердито:

— Всегда же открыто, — потянула дверь, вошёл племянник-квартирант. Они обнялись по-родственному, он быстро поинтересовался насчёт поездки:

— Нина едет? — Маркеловна отрицательно мотнула головой. — Баня не отменяется, будете вместо невесты. Я предупредил Володю с Зоей, что поеду со своей. А то они мне кого-то хотят подсунуть. Тётушка, вы уж урезоните этих сватов, но компанию портить не будем.

Хозяйка быстро собралась, надела тёмно-синий кримпленовый костюм, французские сапоги, норковую шапку и, конечно же, чёрную каракулевую шубу. В сумку положила всё необходимое, вплоть до собственного веника и бутылки водки, настоящей на кедровых орешках. Они вышли дружно из подъезда. Маркеловна успела похвалиться дважды встретившимся соседкам о цели своего наряда и о том, что племянник — настоящий мужчина. Пообещал — сделал.

Машина стояла на противоположной стороне улицы, крестник показал её тётке, сказав:

— Потихоньку идите к машине, а я возьму в магазине пива и догоню вас.

В это время Зоя с Володей ждали в своём “жигулёнке” разлучницу-невесту. Они не теряли надежды, что их вариант лучше и надёжнее. Что толку от учительниц? Всё время на работе, а денег нет, психованные и воображалы. Супруги увидели парочку. Ясно было одно, что “невеста” одета очень богато. Пока племянник скрывался в магазине, качествам “невесты” был дан полный анализ:

— Вырядилась в меха, а походка-то плоха, — скаламбурил Володя.



— Дылда здоровенная, идёт, даже ни на кого не смотрит. Гордячка. Ладно, посмотрим, как ты пляшешь, послушаем, как поёшь. Это тебе, голу-бушка, не каракуль носить, — вертелась у заднего окна Зоя.

— Каракуль всегда в моде, — заступился муж.

— В моде! А мы посмотрим, какая она по морде, — хохотнула Зоя.

— Идёт тяжело, будто мешок тащит. Лет сорок пять, однако.

— Выбрал ровню по годам, а мог бы и помоложе, как наша, например. Нет-нет, наша лучше, что и говорить. Смотри, через дорогу как старушонка заковыляла, ей бы костыль в руку — точная картина. А женишок-то под руку её, осторожно, как цацу какую. Эх, мужики! — Зоя вздохнула и тут же добавила: — А ты глаз-то сильно не пяль. Поравнодушней с конкуренткой-то обращайся. Мы ещё посмотрим, чья возьмёт.

“Молодые” подошли к машине, племянник открыл переднюю дверь, усадив крёстную, а сам забрался в задний салон к Зое:

— Ну вот и мы, знакомьтесь!..

Хозяин сказал “здрасьте” и включил зажигание, проявляя равнодушие к “невесте”, сидящей рядом с ним. Зоя, холодно поздоровавшись, кинула:

— Дома и разберёмся, поехали, пока зелёный.

Маркеловна не церемонилась, хотя почувствовала холодность хозяев машины, обрезала:

— А чего разбираться, когда все на месте, только без невесты.

— Это тётя моя, крёстная мать, Маркеловна. Будет сопровождать меня в сауну и обратно.

Володя управлялся с машиной и не всё понял, зато Зоя включилась с полуоборота:

— Очень приятно, рады познакомиться с вами лично, заочно ваш племянничек нам уже уши прожужжал, “крёстная да крёстная”, а она вон какая ладная: и молодая, и симпатичная, и вообще всё прекрасно. Володя, слышишь, тётушка-то у твоего друга — что надо!

Володя, врубившись в ситуацию, завертел головой, ему передалось настроение жены, и он опять скаламбурил:

— Если женщина в мехах, значит быть ей в женихах. Поехали, а то уже, наверное, баня перегрелась, а невеста заждалась.

— Какая невеста? — рванулась Маркеловна, — наша дома осталась, дела у неё.

— А наша баню топит, нас дожидается, — гостеприимно подытожила Зоя.

— Жми, Володя, разберёмся, кто лучше. Вам заботы, а мне непочатый край работы, — вставил жених, легонько коснувшись правой рукой плеча крёстной, — тётушка со мной, друзья нам рады, а невесты подождут.

Маркеловна поняла жест племянника и успокоилась: “Наша лучше!”.

Зоя уловила хорошее настроение всех присутствующих и радостно подумала: “Конечно, наша лучше”.

О чём думали невесты? И думали ли? Но об этом как-нибудь в другой раз...

Усть-Каменогорск, 07.09.2004 г.



Ольга ОЛГЕРТ

“Поэзия – река души, моя религия...”

Вы, спящие на русском языке,
В Париже, Кёльне или же в Непале,
Я знаю, вы задумчивее стали
От Родины, притихшей вдалеке.
Вам хочется застыть и жить неброско,
В лесах заметить лики городов,
И так прижаться к тоненькой берёзке,
Как будто это первая любовь.
Там, в вышине, воспоминаньям больно,
И я хочу туда, где синева.
Увидеть незабудковое поле,
Где птицы мне поют: “Не забывай!”
Но как же я забуду то, что даже
Во сне приходит мысль мою обнять.
И, словно ожерелье из ромашек,
Моя мечта сейчас как часть меня.
И чтобы в мире грёз не стало узко,
Не нужно красноречия в словах.
Мне б петь по-русски,
Пить печаль по-русски,
По-русски сердце сердцем целовать.

А степь ночует в сентябре
И там главенствует,
Идёт ли к августу в гарем,
О слёзы женские!

Ольга ОЛГЕРТ (Эйхман)

родилась в 1968 году в Целинограде. В 1994 году окончила Целиноградский медицинский институт. Работала врачом-невропатологом. С 1998 г. живёт в г. Кёльне (Германия). Увлечение поэзией стало неотъемлемой частью жизни. В 2006 году в Астане вышел её первый сборник стихов “Игры на об- лаках”.





И с неба — грозами — слова,
Во тьму гонимые,
Вы не стесняйтесь предавать
Меня, любимые!

Пока течёт среди вершин,
Не ждёт гибели,
Поэзия — река души,
Моя религия.

А небо — это пруд в кувшинках звёзд,
Качающихся сонно в колыбели,
На холодность в умах — особый спрос,
И мы меняем мысли на метели.

А будни — это рыжие бока
Прижавшихся к сосне пугливых белок.
И мир вокруг подслеповато-белый.
А мир внутри хрустален, как бокал.

Я глажу шевелюры колосков,
Пусть зелень поля мне в глаза прольётся!
Мне с прошлым разговаривать легко
И спорить о заоблачности с солнцем.

Зачем загустевает взгляд тоски
В краю, где перезрел чужбины колос?
И тем, кто от России далеки,
Что подарить им?
Свой славянский голос?

Пусть кровь берёз разбавлена водой,
Так я надеждой разбавляю ночи,
Вожу стада стихов на водопой,
И знаю — утро выпьет души строчек.

Пусть новый полдень выгнется, упруг,
Закат зальётся смехом лицемера.
А мне бы вспомнить рощи жарких рук
И губ твоих дрожащие эклеры.

Маме

Упала осень в рыжую траву,
Дождю целуя водяные щёки.
Промокший дрозд неутомонно щёлкал
И ночь сжимала жадно каждый звук.



Взошла до срока жёлтая звезда,
Смущая лес распушенностью взгляда,
И обнажённый луч летел и падал
На льнушие к пороку города.

Застыло небо облачной пылью
И жизнь устала праздновать без грима.
И у тоски моей, идущей мимо,
По-прежнему прекрасное лицо.

Так прост решений правильных ответ!
И миг удачи обещал продлиться...
А знаешь, человек всего лишь птица,
Летящая на счастья странный свет.

В который час? В который век
Меня слепили из земного,
Чтоб различала сны в траве
И в птицу превращала слово.

А сколько гибло их в саду!
Так падал дождь бескрылой птахой.
Так я безропотно кладу
Стих — словно голову — на плаху.

Кёльнское небо раскрыло уставший глаз,
Смотрит на мир доверчиво и удивлённо.
В снах мы уже отлетали,
Вчерашних нас
Помнят ещё незрячих и невлюблённых.
Лучше не видеть, как чувства начнут стареть,
Счёт за игру в слова принесут в конверте.
В небо стреляешь — за облаком — Птица-Смерть...
Ищешь себя — под снегом — трава Бессмертье.
Но не расслышишь ты,
Странно зовёшь в Париж.
В губы мои впечатаеть глаз бездонность.
Ждёт перемен на руинах бессонных крыш
Кошка с зелёным взглядом,
Твоя Мадонна.

Сестре Тане

Ты видишь — мир перед грозой горяч
И тучи собираются под знамя
Фантазии... И что-то будет с нами,
Не зря глаза тоски огнём горят.



Не зря ломает ветер души трав,
Врываясь в полночь, звёздам души лечит.
И, назначая время нашей встречи,
Подаст к концу разлуки лёгкий трап.

Язык заката слижет синеву,
Сорвутся стаи сумерек с насеста.
И островки потерянного детства
Опять перед глазами оживут.

Кружилась ночь, пространство теребя,
Крутилась ось прекрасная, земная,
Казалось, что не знаю я тебя,
Но каждый стих твой говорил, что знаю.

Но что меня к тебе в те дни влекло,
Когда весною бредила Россия?
Глотали провода моё “Алло”
И русский голос с гордостью носили.

А жизнь уже расписана до нот,
Звучащих ностальгией в звёздном храме.
Там ждёт меня бродяжка-самолёт
И девочка с апрельскими глазами.

Художнику

Ярославу Антонюку

Как кисть дрожит —
Ей снова жизнь дарить
Холодному величию бумаги,
И вдохновенье — вестник белых магий
Сквозь времени ушко проденет нить.

Так, смешивая краски,
Вдаль глядит
Маэстро зазеркального улова,
Рисуя страсть,
Он мир рисует новый,
Где красным цветом — море и дожди.

Палитру чувств на миг один смешав,
Казнив мещанство мастерских прилюдно,
Он режет солнце — жёлтый спелый шар,
И чудо ждёт, и сам причастен к чуду.

С грозой повенчан, веру растрепав,
Он ждёт любовь, слова и кисти точит,
И пусть живёт в неверии толпа,
Весна придёт, придёт в июле точно!



От пытки ожидания устав,
Мольберт к рассвету чувства подытожит.
Но сердце, соскользнувшее с холста,
Поднимет очарованный художник.

Я там, где непрерывна нить,
Где не слышна любовь убогих,
Где мне не нужно уводить
Медведя из чужой берлоги.

В моём лесу, где нет теней,
Где царство бабочек капризных,
Поёт свободный соловей
И без меня не мыслит жизни.

В тебе есть от зверя и от человека
Всё то, что природа не спрятала.
Ты сейчас состоишь из моих молекул,
Я — из твоих сладчайших атомов.

Томирис (Царица массагетов)

Джалмагамбетовой С. Ж.

Ты, развенчавший прежнего кумира,
Предательство увидев — не смиришь!
Ко мне пришедший не с войной, а с миром,
Запомни моё имя —
Томирис.

И обмануть ты хочешь не меня ли?
Начни отсчёт своих последних дней!
Мы, массагеты, солнцу поклонялись
И приносили в жертву лошадей.

И потому непобедимы саки* —
Течёт в нас кровь некормленных зверей.
Мы — люди-волки, воины-собаки,
Крутые берега летящих рек.

Простор степей, курганы и равнины —
Спасибо вам, что есть в моей судьбе!
Но боль утрат уже невосполнима...
О, Бахтияр, я верила тебе!

*Саки — скифы.



Не гибель одного я вижу, — сотен.
Ты слышишь, Кир?
Ты крови жаждал — пей!
Ты победил — но как — ты сына отнял.
Ты знаешь, как теряют сыновей?

И вот теперь, сражённый и ничтожный,
Царь персов с отсечённой головой!
Несите же мешок из мягкой кожи,
Я отплатить хочу врагу с лихвой!

Кто проиграл, не будет тот великим!
Прощай же, Кир! ... пусть смотрит войско здесь,
Как голова персидского владыки
Пьёт из мешка чернеющую смесь.

Проходит всё... Не избежать нам тлена,
Пусть враг приходит и боится пусть!
Жизнь в сотый раз поставит на колени.
И в сотый раз с колен я поднимусь.

Не солнце светит — мир идёт по кромке,
Не гром грохочет — я иду на риск.
Так пусть ветра поют об амазонке,
Железо сокрушавшей,** Томирис.

Пусть рвётся расстояний нить
Меж нами, сросшимися лбами,
И ты не сможешь не ловить
Мой шёпот жаркими губами.

В моём горячем далеке
Для счастья вечности не хватит,
Где миг похож на сон в руке
И на распахнутый халатик.

Не умирай, увидевший Париж!
На родине Анри Ренье и Франса
Коленопреклонённый, ты стоишь
Меж арок — Триумфальной и Дефанса.

Я влюблена... Мой новый мир дрожит.
Но лишь в любви надежда на спасенье.
Сдаю стихи сердца этажи,
Мне дорог каждый миг землетрясения.

**Томирис — сокрушающая железо (тюрк.).



Вскипает Сены сонная вода
И молния зигзаги в небе чертит,
И, кажется, у входа в Нотр-Дам
Дорога открывается к бессмертью.

На берегу сиреновой реки
И в глубине вселенского колодца
Мы чуда ждём,
А новый день смеётся
Над детской осторожностью строки.

Ты в рай хотел?
К нему сейчас идёшь,
Играй на мне и струны рви небрежно,
Мы в облаках летать не стали реже...
Давай с тобой прольём цветочный дождь?

Мы там, где наливают лунный грог,
Два дивных солнца нежностью лучатся...
Не дай нам Бог сойти с ума от счастья,
Не дай нам Бог.

Моя душа летит, звеня,
Увидишь след — не наступи.
И ты заметишь, у меня —
Полынные глаза степи.

Улыбкам лун не прекословь,
Смотря на север — не остынь,
Пока не отцвела любовь,
Пока не зацвела полынь.

Целует август степь-зеленовласку,
Вплетая в кудри золотой ковыль,
Грохочет гром и небо просит ласки,
И темнота боится синевы.

Так слёз небес степи не доставало,
Для трав сезон дождей — любви сезон.
И кажется, что вдруг заплакал алым
Израненный грозою горизонт.

Крадёт огни у ночи беспристрастно
Гладь озера — зеркальный звездолов.
Из радуги берёт игриво краски
И понимает ветра речь без слов.



Влюблённый в ночь, рассвет кричит — останься!
В ответ несётся эхом — ни за что!
Горит звезда упущенного шанса
Там, где-то между страхом и мечтой...

Как светел белой ночи зал!
Где на меня смотрели влажно
Твои блестящие глаза
И вестибюли Эрмитажа.

Я с прошлым заключаю пари,
Не веря в суетность упрямо,
Я унесу тебя в Париж.
В кафе, напротив Нотр-Дама.

Ты помнишь дрожь моей руки,
Протянутой в окно вселенной?
И как стучали каблучки,
И ветер гладил волны Сены?

И я лечу по тем следам,
Туда, где трепетно стояла
Моя Любовь, как Жанна Д'Арк,
В костре парижского вокзала.

Я помню, помню, в том костре
Летал мой Ангел с львиным взором.
И бог на Ангела смотрел
В кафе, у Кёльнского собора.

Так каждый миг неповторим.
И, разрывая страху вены,
Мы, прерывая боль, творим
И верим в необыкновенность.

Разлуки грани обозначь
И, забывая сон вчерашний,
Ты расстели меня, как плащ,
Под сердцем Эйфелевой башни!

Здесь всё светлее — ночи и слова.
Впадая в чрево Финского залива,
Здесь каждый миг меняется Нева,
С одним желаньем — завтра стать счастливой.

Смотря на мир с тоскливой высоты,
Крича, как разъярённые супруги,
Здесь каждый день разводятся мосты,
Но знают — жить не смогут друг без друга.



Так нам с тобой который век подряд
Отраживать подрезанные крылья
И верить вечерам, что жизнь любили,
И думать, что не звёзды — дни горят.

И, может быть, успеть последний раз
Зажечь души погасшие светила,
Когда любовь — сияющая сила
Поднимет над обыденностью нас.

А ты представь, что ты летишь
За солнцем в радужные страны.
Я подарю тебе Париж,
Пропахший кофе и каштаном,
Где пишут письма до зари,
Где правят страсти — не страстишки!
Пусть до утра во тьме горит
Париж, удачливый мальчишка.
Спешит к французскому столу
Влюблённый в Темзу хмурый Лондон,
Там, перешагивая Лувр,
Я стану лучше, чем Джоконда!
И зазвучит бессмертный стих,
Пересекутся взгляды наши...
И вспыхнут только для двоих
Огни на Эйфелевой башне.

Поцелуешь — буду петь,
Позовёшь — я стану ближе!
Мне б в огне твоём сгореть,
Но не в Питере — Париже!

Я с тобой — не обессудь,
Выви с корнем предрассудки!
Приезжай! — хотя б на сутки!
Будь со мной весёлым... будь

Раскалённым добела,
Пей горячее сознание,
Жги меня словами, снами,
Там, где ночь тропой легла.

Скажи, корсар...

Фавор грозы.
Кипит девятый вал,
Грохочет небо
Разъярённым фавном.



Мой лучший друг и мой попутчик давний
Из прошлого опять меня позвал.

Стой, флибустьер,
Сейчас иль никогда, —
Венчает капеллан сегодня тайно
Меня с тобой.
Вокруг — простор бескрайний,
И с гор окрестных катится вода.

Скажи, корсар,
Ты много ли встречал
Красоток с белоснежными плечами?
Тебе отказом разве отвечали?
Сердце разбил ты много невзначай.

Велик и смел,
Ты шёл на бордаж,
Фарватер находил без промедленья.
Корсаром был не в первом поколеньи,
Ты брал от жизни всё.
Что ей отдашь?

Тортуга, Маракайбо —
Всё в былом,
Я краски брошу, стоя у мольберта,
Рисуя для тебя плавучий дом —
Твой парусник с названием “Ольгерто”.

Не пей так много рома, капитан,
Нам в путь пора, —
Пусть уносят волны
Корабль наш, иной добычей полный,
Прощай, таверна,
Здравствуй, океан!



Марат КОНУРОВ

Иргиз

Рассказ

В пустынных землях между Актау и Уральском, за крохотным холмом, сиротливо приютился городок Иргиз. Несколько кривых улиц всё ещё населяют люди. Другие, давно разрушенные, могли бы служить декорациями к жутким голливудским ужастикам. Люди здесь уже давно безработные. Промысел крепких мужчин — лихой налёт на проезжающие фуры. Жизнь стариков, детей и женщин беспросветна.

За толстым слоем мохнатого инея, покрывшим стекло, как всегда в это время года, бесновались жуткие ветра.

Боран просыпался долго, мучительно. Сознание в его пьяном мозгу просыпалось и вновь улетало, проваливаясь в чёрную тартару. Неясные обрывки полусна, полудрёмы возникали и исчезали. Виделось, что какие-то люди окружили его и требуют страшного, ужасного, и от этого он ощущал себя в безвыходной ситуации. Хотелось бежать, куда глядят глаза, но вокруг кольцо сжималось, и деваться было некуда. Он тонко чувствовал леденящий холодок под сердцем, и становилось тоскливо от безысходности. Мерзкие, заросшие щетиной образы щерили зубы и подбিরались с каждым полшагом всё ближе. Он уже чувствовал зловонное дыхание, идущее из их алчущих ртов, словно бы они хотели разорвать его на части. Почему-то всплыл Самат, его десятилетний сынишка. И тотчас стало невозможно дышать, от обиды, заполнившей некогда могучую грудь. И в миг, когда шансы его свелись к нулю, он явственно почувствовал осторожное прикосновение к плечу.

Да, несомненно, это было наяву, но не во сне. Боран спохватился и приоткрыл набрякшие веки. Сын Самат стоял босиком на холодном полу. Сквозь дырку в сатиновых трусах просвечивала покрытая гусиными пупырышками розовая кожа с синими прожилками. Воздух в доме отдавал льдом и стылостью.

— Сейчас, сейчас, я сейчас, ещё немного, и я встану, — пробормотал Боран, а сам мыслями унёсся к уже затирающемуся в памяти образу Бибы.

Бибиханум! Высокая, тонкая в поясице, с чёрными, как ночь, глазами, с косой ниже пояса.

Тут же до боли свело зубы и захотелось стонать.

Биба! Бархатистые густые ресницы. Белые руки с тонкими пальцами. Тугие груди, как два степных кургана.

Он стал вспоминать, краем глаза видя, как Самат прошлёпал в свой угол и влез под стёганое одеяло.

Так продолжалось уже два года. С тех пор как ушла Биба. Каждое утро.

Надо было вставать, но сил не было. Вставать — это значило расстаться с её образом. А ему хотелось ещё повспоминать о ней.



В последнюю их ночь, вернее в раннее утро, вернувшись как обычно с ночного грабежа, он бесцеремонно разорвал тихий сон Бибы и сразу полез рукой в промежность горячих ног. Она недовольно отодвинулась на край кровати, но он тут же зажал её мёртвой хваткой и, дыша перегаром, навалился всем телом, разрывая колени в разные стороны. Заскорузлым пальцем, ощущая упрямые волосики, он проник в самую щель и почувствовал, что оказался в ней непрошеным. И это ещё сильнее возбудило его. Он приник к её рту и втолкнул в него свой язык. Биба сжала зубы и прокусила до боли. Он мгновенно вырвал его и вонзился в непокорную. Да! Он вспомнил слова пьяного Курмана:

— *Возишься со своей цацей, будто со святой!*

— Ты о чём? — спросил он тогда удивлённо.

Никогда ещё Курман не позволял себе такого, чтобы противоречить ему, да ещё что-либо говорить в адрес его жены. Но в последнее время, как он стал водиться с молодым и сильным Еркином, Курман, которого он, можно сказать, выкормил, стал задираться, специально вызывая его на скандал. На скандал, в который уже давно готовился вклиниться Еркин и только ждал подходящего случая. Всё-таки слишком высок был авторитет у Борана среди грабителей Иргиза.

Это соперничество с Еркином началось не вчера. Проморгал он, как в семье подслеповатого Жанабыла вырос волчонок. Помнится ещё, когда тот был совсем сопляком, Боран как-то послал его за водкой, и тогда Еркин воспротивился.

— *Не пойду!* — заявил он.

— *Почему?* — удивился Боран.

— *Я тебе не шестёрка!*

— *Ах ты щенок!*

— *А ты взрослый пёс, и если тронешь меня, я тебя подстерегу пьяного и зарежу как барана.*

Друзья не дали тогда избить его за такую дерзость, а жаль. Отговорили они:

— *Ну что ты, Боран! Разве тебе к лицу бить какого-то мальчишку? Все знают, что ты самый сильный и смелый. Будь выше этого!*

А теперь вот наступили такие времена, что незаметно выросший Еркин, собрав вокруг себя таких же дерзких парней, вооружил их и встал поперёк дороги. Словно кость поперёк глотки.

В последнюю их стычку Боран предложил ему делить проезжающие “КамАЗы” поровну. Пока Еркин согласился, а как будет дальше, Боран не знал.

Так вот, этот собачий сын Курман что-то намекал ему о Бибе. Мол, она не такая, как ему кажется, и строит глазки проезжающим “камазистам”.

Боран быстро задвигался на ней вверх-вниз, а потом словно сорвался с цепи, стал буквально терзать её сонную плоть. Он до боли сжимал её упругие груди в своих крепких кулаках. Кусал длинную белую шею. Втыкался в неё так, словно хотел пробить насквозь. В углу тогда заворочался Самат, и она, всё ещё не сдававшаяся, тут же обмякла, и он ещё долго мял, комкал тело жены.



“КамАЗы” всегда проскакивают через Иргиз в промежуток с самого раннего утра и до обеда, в то время, когда их с Еркином банды после ночных преследований всё ещё спят мёртвым сном.

И он спал. Согласно образу жизни, сложившемуся вот уже как пятнадцать лет тому назад. С тех самых пор, как их страна обрела так называемую независимость. С тех самых пор, как они чудовищным образом оказались выброшены на задворки судьбы. С тех пор, как распался их прежде процветающий совхоз, и всё население Иргиза, в один день, стало безработным.

Спал Боран и не знал, что его Бибы, его любимой Бибы, которую он любил некой странной любовью, уже нет с ним. Нет её и с Саматом, его сыном. Пока он спал мертвецким сном после безуспешной ночной охоты и пьянки, от злобы за пустую ночь, его Биба сбежала, даже не взяв с собой узелка из дома. Она бросила сына, их маленького сына восьми лет, и его, всегда думавшего, что на всём свете нет мужчины, равного ему. Она убежала с проезжающими “дальнобойщиками”. Просто села к ним в салон и уехала. А он, когда проснулся, заорал похмельным голосом:

— Биба! Би-ба, твою мать!

Но в ответ стояла тишина, лишь за окном слышно было, как бродит на цепи собака.

— Биба! Твою мать! Все кости сломаю, где тебя носит?

ТИШИНА! ТИШИНА! ТИШИНА!

Скрипнула дверь, и в проёме застыл заплаканный Самат.

— Ребята сказали, что мама уехала.

— Куда уехала, ты что, спятил?

— Ребята сказали, что она сказала, что уехала навсегда.

— Как это навсегда? Какие такие ребята? Где они, я их матерей в гробу видел!

— Она вчера весь вечер плакала и обнимала меня и говорила, что не сможет жить без меня и не хочет больше жить с тобой и ей некуда пока взять меня, и я ничего не понял и уснул, не дождавшись тебя.

Боран поднялся на кровати с раскрытым ртом, забыв, что сидит перед сыном обнажённый, и в его гудящую голову с трудом уместалось то, о чём ему рассказывал сын. Вдруг он соскочил и как был, на голое тело накинув овчинный полушубок, сунул в глубокий карман двуствольный обрез и, распахнув дверь, выпрыгнул прямо в наметённый за ночь сугроб.

Он бежал широким шагом к своей изношенной “Ниве”. Из кармана выпал обрез, и он успел на ходу, не давая ему упасть в снег, подхватить и запрыгнуть в салон. Чертыхаясь, он заводил машину, и когда она, наконец, завизжала, ревя точно дикая свинья, Боран воткнул скорость. “Нива” рванула с места и помчалась между безлюдными домами, вздымая из-под колёс снег.

Он жал на газ так, как никогда ещё не давил, даже в ночных гонках за протащившейся фурой.

Дорога от Иргиза до Актау в триста пустынных километров, построенная ещё при Советской власти, теперь состояла из четырёх глубочайших впадин колеи. По одной из них ехали в направлении Иргиза, по другой из него. А вернее было бы сказать, что по одной прорывались через Иргиз, а по другой уносили из него ноги.



Не зря ведь за полсотни вёрст до Иргиза какие-то умники установили щиты со зловещими надписями: “ДОРОГА В АД — УДАЧИ БРАТ!”. А без них фурам грозило разграбление, а водителям пинки, тумачи, а может и жакан, жажнутый из двух стволов.

Это в том случае, если они не подчиняются их требованиям — остановиться!

Тогда они беспощадны и жмут на спусковой крючок! По баллонам, по салону, по окнам, со стороны степной, похожей на тело больного оспой, дороги.

А как иначе их остановить? Ведь не понимают по-хорошему! Жалко им, что ли, груза коммерсантов? Почему бы тем не поделиться, толстопузым? Сами-то они не рискуют ездить с “КамаЗами”. Всю ответственность возложили на бедных водителей. Им, конечно, тоже надо жить, их ведь ждут не дождутся семьи в надежде, что они привезут деньги, но тут уж кто кого! Кто умнее, хитрее, отважнее, дерзче, тот и пан! На то и степь! Проклятая и воспетая!

Боран летел по колее, если только эту скорость можно было назвать полётом. А так называли! Потому что скорость сорок километров в час в этих местах называют бешеной. А вообще эти триста километров фуры едут двое суток, и он теперь попробует их догнать, беглецов! Уж он-то знал нравы проезжающих “дальнобойщиков”. Никто из них ни в жизнь не возьмёт попутчицу за просто так. Только за плату! И только, если она женской породы, и расчёт только собственным телом. Так говорят люди. А в том, что говорят люди, всегда есть правда. А иначе зачем им, мужикам, их гроши? У “дальнобойщиков” в карманах водятся деньжата. А вот баб, тех нет помногу дней и между ног у них от этого порой аж дымится!

И “камазисты” сволочи, и сами они сволочи, и коммерсанты, что посылают их везти груз — сволочи, и участковый их, один на весь Иргиз — сволочь, и вообще весь этот мир состоит из сволочей, кроме его сына Самата! Сука! Биба! УБЕЖАЛА! Догоню, порву всех.

В воспалённом мозгу Борана уже явственно рисовалась картина — благополучно миновавшие Иргиз водители уже где-то встали на прикол, выпили водки, заели холодной колбасой, а теперь один из них, пропахший солярой, притянул её к себе и лезет под вырез платья. Там, под вырезом, находится сказочное богатство, какое они даже не в состоянии по-людски оценить. Хотя на мгновение оценят. Потому что её степные курганы невозможно не оценить. Они сейчас упрутся в волосатую грудь, и тогда другой, тот что помоложе, дёрнет её за ноги. Кто в этой дикой пустыне станет нянчиться с бабой? Особенно если она такая лакомая, как Биба. Тот молодой сорвёт с неё трусики и станет держать её за ляжки, пока ею не насладится пожилой. А только потом заберёт её в спальник. И потом всю дорогу, до самого Актау, будут пользоваться её, меняясь по очереди. И она, моя дура, разве же этого не понимала, когда садилась в салон к ним? Ведь всё понимала, а села. Боран и не думал, что он сам стал причиной этого жуткого её бегства. Он и не думал, что чего-то не давал ей. Может, ласки, может, любви, настоящей, не той, что дарил ей после разбойных ночей. Он знал только одно, что она была его женой. Что он одевал её лучше всех в Иргизе. Что в доме его был большой телевизор, какого ни у кого не было.



Значит, она поехала искать лучшей доли и ради этого сейчас раскинула перед грязными “камазистами” свои упругие смуглые ноги?

СМЕРТЬ и только СМЕРТЬ! И им смерть, и ей смерть! Боран был страшен. В этот миг низ машины рвануло так, что показалось, “Ниву” разорвало на части. Это он зацепил мостом за острый край колеи. Чертыхаясь и проклиная всё на свете, Боран остановил автомобиль и вылез из него. Сумасшедший ветер разрывал пуговицы на полушубке, и полы его разлетелись в разные стороны. Ледяные струи ударили в голое тело и пронзили его сотнями длинных острых игл. Боран запахнул полушубок и полез под днище машины. Из разорванного моста на стылую землю вытекало горячее чёрное масло.

— У-а-а-а-а-а! — заорал, плотно прижав голову к тому, что называлось асфальтом, Боран.

— У-а-а-а-а-а-а! — Биба! Будь ты проклята и мать твоя, и отец твой, и дед твой, и бабка твоя, и все родственники твои, и весь род твой продажный, и пусть не будет им покоя ни на том ни на этом свете, и если кто из них уже в земле, чтобы они там все перевернулись вниз лицом от позора за свою дрянь, Бибу! У-а-а-а-а-а! Ой как больно, Биба! Ой!

Боран соскочил с земли и выдернул из кармана не вылезающий обрез, одновременно спустил оба ствола, заряженные крупной картечью, в лобовое стекло. Оно покрылось сеткой трещин, точно зад немощего старика, и тогда он в прыжке ударил его ногой.

— У-а-а-а-а-а!

Он заряжал обрез и стрелял в воздух, по машине, в её бока, делая их похожими на решето.

Когда патроны закончились, Боран перехватив его за ствол и точно дубиной расколотил им всю “Ниву”.

ВСЁ! ВСЁ! ВСЁ! Уймись!

Это сказал он себе. Всё. Надо уняться. Его практичный мозг включился в работу и стал размышлять над тем, как ему теперь выжить и не околеть в этой чёртовой пустыне. Уж он-то знал, что значит остаться в ней одному. Всё же он в горячке пролетел не менее сорока вёрст. А пешком не дойти. И машины у него теперь можно сказать что нет. А значит надо идти. Боран забросил обрез подальше от “Нивы” и, запахнувшись, пошагал в сторону Иргиза.

Ветер нестерпимо жёг колени. Это было самое мучительное, и с этим нельзя было что-либо сделать. Оставалось только терпеть. Боран запел. Во всю мощь своих лёгких:

— Колда болган кусты мен, тусенбедим, ой! Ушупкеттэ, ай, яй, яй, тастап кетти... — петь было невозможно, ветер рвал гортань.

Боран стал вспоминать. Когда это было? Они с Бибиханум с яркими весенними цветами шли, взявшись за руки, по улице их чистого городка Иргиза. Вся жизнь казалась тогда прекрасной, и солнце, заливавшее улицу, воспринималось просто как часть этого счастья. Он работал тренером, учил ребят борьбе, и у него были способные ребята. Целые дни он проводил на ковре, а потом торопился домой, убыстряя шаги, потому что в новом доме его ждала Биба.

Что же стало потом? Как всё произошло? Почему их городок, прежде залитый солнцем, стал обезлюдевшим и мрачным, точно кладбище? Всё “прихватизировали” те, кто оказался ловчее, кто был ближе к власти. Они



пихали себе в рот жирные куски и никак не могли насытиться. Всё развалили, и сами и их дети уехали из Иргиза, оставив им разваленный город, без тепла и света. И тогда к нему пришли его ученики и сказали:

— *Бореке! Вы наш учитель, нам нечего есть и в наших домах нет ни денег, ни одежды, ни лекарств. Что нам делать? Мы не можем уехать из города, потому что у нас старые родители. Как нам жить?*

Долго размышлял Боран, и так мял ситуацию, и так, и о себе думал, и о них, и о тех, кто, наворовав денег, уехал, и поглядывал на Бибу, ожидавшую ребёнка, и наконец решился и позвал своих учеников.

— *Жизнь загнала нас в угол, — сказал он, — если я не пойду с вами, вы пойдёте без меня. И тогда многие из вас пострадают. Потому что вы ещё молодые, горячие. У вас нет другой дороги, чем та, которая ведёт “КамАЗы” через наш городок. Будем считать их караванами, как в старину. А в старину все караваны платили дань таким, как мы, аламанам, за проезд. Вот и пусть платят.*

— *Пусть платят!* — воскликнули ученики. Так они стали грабителями, а он их главарём.

И покатилась жизнь перекасти-полем, да всё кубарем, прыг да скок, и самое главное — вовремя соскок. Вооружились дедовыми одностволками, стали рыть засады, обзавелись мотоциклами и на ходу фуры накидывали на дверь стальной трос. На ходу фуры заскакивали в неё и сбрасывали на землю добро. Неважно, что это было, потом, всё потом, потом делили поровну и атаману выделяли ещё одну долю. Таков был закон, который они приняли. А непокорным стреляли по колёсам, по стёклам, выбрасывали их из машин и забирали товар целиком и зарывали его в пустыне. А приехавших на разборки тоже встречали горячими жаканами. И так стала литься первая кровь. Она страшна, пока первая, а потом ничего, привыкаешь. Вот уже без малого пятнадцать лет она льётся на растресканные земли пустыни, и ничего. Правда, и его самого уже не раз дырявили. Биба vyhаживала. И тюремный двор он уже видал, сквозь мелкую решётку. Ничего! Зато когда вышел, был овеян славой и встречали его как пахана. Чёрт! Из нормального тренера превратился в пахана. А его красивые, молодые ученики — в прокалённых ветрами, с задубевшей кожей, одетых в невиданные бушлаты, с обрезами за пазухой, бездушных аламанов.

А что сделаешь, это жизнь! Она понеслась вскачь, в бег, влёт.

Боран шёл и шёл, и не чувствовал колен и собственного тела.

Как он дошёл, добрался, и не помнит. Помнил лишь одно, как тепло растекалось постепенно по истрадававшемуся телу, когда он раз за разом выпил три стакана водки. Только тогда оно стало отходить, и сразу вспомнились Биба и Курман, и Еркин, с которым неизбежно предстояла война, потому что он постарел точно волк Акелла, и теперь должен уйти, чтобы уступить более молодому и удачливому. Но нет! Он этого не сделает. Потому что в нём живут великий дух и честь, и пусть прольётся кровь, и может, суждено ему погибнуть, но он не уступит. Посмотрим ещё кто кого, молодость или опыт? Дерзкое, яростное сердце или давно оледеневшее, с тех пор как не стало Бибы, умершее! Посмотрим!

Боран притянул к себе Сандугаш.

— *Ты мой сундук с золотом, — объявил он ей, — наливай, я едва не умер!*



Боран чувствовал, что его уже забирает, и в его пьянеющем мозгу фу-рой протащи-лась мысль, что не стоит напиться. Люди Еркина только и ждут, когда у старого волка обмякнут зубы. Но он тут же отбросил её в сторону и поднял стакан.

Потом сквозь мутное сознание он чувствовал тело сундучки, степнячки, пустынки, Сандугашки. Её длинные ноги, словно змеи, скользили по нему, а губы плотно припечатывались к его рту, и он был в ней. Говорят, что Еркин тоже бывает в ней, и ему стала интересна её оценка, кто её лучше обрабатывает? Сундучка считалась подругой аламанов или пустынной Муркой, которой с куража несли долю, ведь она была наводчицей и, кроме того, красивой девкой. Но спала только с ним и его соперником, Еркином. А рядовые аламань, соблюдая ранги, даже не пытались к ней лезть. Да! Два года как он попеременно с Еркином спит с Сундучкой. Точно, прошло два года! Борану усилием воли всё-таки удалось отмахнуться от воспоминаний и подняться. В доме был ледник. Надо было разжигать печь или ждать, пока придёт истопник. Начинать стряпню или ожидать, когда появится тётка. В гудящей голове пронеслось вчерашнее признание заезжего “камазиста”, что Биба работает секретарём их шефа.

Он стал бить по умывальнику. Но вода в нём оказалась замёрзшей. Ударил посильней, и корка льда лопнула. Стал намыливать лицо и вспомнил, что на сегодня назначена их дуэль с Еркином в пустыне. Они встретятся у знака “ДОРОГА В АД — УДАЧИ БРАТ!”.

И там будут стреляться.

— Прямо как Пушкин и Дантес, — усмехнулся он. — Непонятно, для чего он назначил “стрелку” именно там, ведь это далеко от города. Или они что-то значат для него? Может, символы какие? Или это он их установил, дурацкие знаки? Чёрт знает что! — мысли в голове напоминали осевший набок сарай.

Кто-то коснулся его бока. Боран повернул лицо и увидел Самата, стоявшего босиком на холодном полу. Сквозь дырку в сатиновых трусах просвечивала покрытая гусиными пупырышками розовая кожица с синими прожилками.

— Аке! Я поеду с тобой! — вымолвил сын.

— Ты что! Зачем? Ты знаешь, куда я еду?

— Знаю.

— Куда?

— Ты собираешься ехать к знаку. Будешь сегодня стреляться с Еркином.

У Борана дрогнула рука, державшая бритву. По глянцевой поверхности кожи потянулась струйка.

— Ты не бойся, он в тебя не попадёт.

— Почему? — спросил Боран осевшим голосом.

— Я буду держать кулак сжатым, молиться буду. Ты лучше его стреляешь. Ты попадёшь в него.

— Но тогда выходит, я убью его.

— Аке, у тебя нет выбора, или ты его, или он тебя. А когда ты вернёшься аламанить в ночи, мы будем ездить вместе.

Вот так сказал ему его десятилетний сын Самат.

г. Алматы.



Азат АШИМ

“Мне помнятся минуты первой встречи...”

Поникшему другу

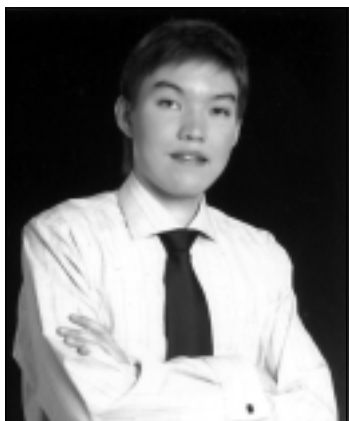
Ты слышишь сладостное пенье,
Весенних пташек чудный звон?
Нет, ты не слышишь. На мученья
И на тоску ты обречён...

А может, где-то в южных странах,
Там, где всё зло, обиды, ложь
Смывают волны океана,
Своё ты счастье обретёшь?

Да, можно там искать покоя,
От прошлого свой взор скрывать —
Решенье вроде бы простое,
Но от себя не убежать!

Сложней, конечно, не сдаваться,
Судьбе наперекор, назло.
Но с болью лучше распрощаться,
Сказать себе, что всё прошло.

Взвалить на плечи мыслей бремя
Ты даже не пытайся сам,
Придёт к тебе на помощь время
И всё расставит по местам.



**Азату
АШИМУ (КАЗИЕВУ)**

— 19 лет. После окончания в 2006 году в Алматы второго курса Казахстанско-Британского технического университета продолжает учёбу в Англии.



Ты думаешь, что впереди
Лишь только мрачное ненастье?
С надеждой в новый день гляди, —
Нас ждёт ещё немало счастья!

Поверь! И не смотри на тех,
Кто держит пальцы у курков,
Ведь мир был создан не для всех —
Он не выносит слабаков!

Певица

Мы встретились в марте... И помнится: ты
Вся в ярких лучах, под сияющим небом
Была воплощением земной красоты, —
Я счастлив ни с кем так до этого не был.

Я помню, как часто, по вечерам,
Ты лишь для меня выходила на сцену
И пела, я искренне верил словам,
Сдаваясь прелестного голоса плену.

И чувство росло, как большая волна,
А разум всё что-то шептал мне несмело:
“Поклонников много, Певица одна”,
Но в сердце быть первым желанье горело.

Мелодии счастья играли для нас,
В них нотки любви и надежды звучали.
Но вдруг наступил расставания час,
Ты стала совсем не такой, как вначале.

А времени много с тех пор уж прошло,
Безумной любви погасил я порывы,
И музыка дарит теперь лишь тепло,
Когда я знакомые слышу мотивы.

Но после дождливого, хмурого дня
Мне очень тоскливо бывает порою,
А ты далеко, далеко от меня,
Для песни своей подбираешь героя.

К Алтынай

Зима нахлынула внезапно, быстро, смело,
Окутав холодом поток усталых дней.
Но чувство пламенем мне душу обогрело,
Ты, словно лучик солнца, появилась в ней.



Мне помнятся минуты первой встречи,
Улыбка нежная, прелестные глаза.
Тот яркий миг был сладок, бесконечен,
И позабыть его уже никак нельзя.

За то теперь судьбе я благодарен,
Что дверь открыла в этот дивный край,
В мир ярких красок, яви и преданий,
За то, что в сердце имя — Алтынай.

Осень

Счастливые дни лета пролетели,
Их скрыла времени безжалостная даль.
Усталые деревья пожелтели,
С осенним ветром в дом врывается печаль.

Ах, лето! Лето! Где сыскать слова,
Чтоб выразить твоё очарованье?!
Пора любви... Мир грёз и волшебства...
В душе остались лишь воспоминанья.

Осенним вечером, сквозь капельки дождя
Идя по улице и огибая лужи,
Я буду с грустью вспоминать тебя
И уповать на то, что и тебе я нужен.

Сестре

Дни быстро проходят, летят как стрела,
И в этом безумном потоке событий
Мне так повезло — у меня есть сестра,
Душевных печалей моих исцелитель.

Холодной зимою и солнечным летом
Поддержку твою я всегда ощущаю.
Пусть жизнь твоя будет наполнена светом,
А я сделать ярче её обещаю!



Борис САМСОНОВ

Мечтатель

Повесть

— Что в имени тебе моём? —
пушкинскими словами спрашивает
Вениамин Ларин. Отвечаю:
— Личность.

К яви через годы

(Планёрка)

Как-то ранним утром заглянул в приоткрытую дверь редакторского кабинета и замер, боясь нарушить тишину. На столе плотная кипа бумаг, но глаза Ларина в задумчивости уставились в потолок. Глянул наверх — кроме люстры — ничего примечательного. И я понял — Вениамин над чем-то самозабвенно размышляет. Невольно вспомнились выстрел и крики Петьки из любимого кино: “Тихо, Чапай думать будет!”. Где-то читанные слова о том, что главное качество редактора воображение, мечта, словом, полёт мысли. Может, в эти минуты в его уме выстраивается чёткая линия следующего номера? А ведь мы замыслили его сделать необычным, как сейчас говорят — суперномером.

— Вениамин Иванович, там что, “звезда пленительного счастья”? — показал рукой наверх.

**Борис
Георгиевич
САМСОНОВ**

родился в 1926 году в г. Самаре, с детских лет жил в Киргизии, откуда в 1944 году призван в Советскую Армию. В качестве курсанта Рязанского артиллерийского училища участвовал в параде Победы 24 июня 1945 года в Москве, о чём написал документальную повесть. После демобилизации с 1946 года живёт в Алма-Ате. Окончил в Москве отделение журналистики Центральной комсомольской школы при ЦК ВЛКСМ, затем Высшую партийную школу при ЦК КПСС. После работы в комсомоле трудился в средствах массовой информации: “Ленинская смена”, “Партийная жизнь Казахстана”, “Огни Алатау”, Казтелерадио, Госкомиздат. Пятнадцать лет являлся ответработником аппаратов Совмина, ЦК Компартии Казахстана. Как писатель и журналист известен казахстанцам по книгам художественной и документальной прозы: “Лёд и пламень”, “Тревога”, “Круговерть”, “Карусель”, “В поисках живой струи”, “Полномочия в действии” и др. Борис Самсонов наш давний и активный автор. Несомненный интерес общественности вызвала его книга “Бремя величия” о Д. А. Кунаеве и его окружении, изданная в 2003 году в Алматы, а в 2005 году в Москве.

Публикуя повесть “Мечтатель”, посвящённую журналистским талантам республики, редакция “Нивы” поздравляет Бориса Георгиевича с миновавшим 80-летием и желает ему творческих удач и доброго здоровья.



— Скорее, мечта о будущем, ведь мы, помнишь, договорились выпустить номер о том, что прибавит к достижениям республики новая пятилетка, если заглянуть в её окончание. Вот об этом сейчас поговорим на планёрке.

Зная редактора, я понял — все темы статей, цифровые выкладки, т. е. содержание и оформление номера, он представляет себе чётко, как ясно-видящий. В его манере, точнее, стиле — советоваться с коллективом, а не прибегать только к административному давлению, хотя в данном конкретном случае имел на то все основания: тема номера не новость, только что осенившая редактора, над её воплощением старались не первый день.

Все собрались в его кабинете, с интересом ожидая “светлой” идеи.

— Вы помните, — держа в руке “Ленсмену”, начал Ларин, — три недели назад мы дали объявление в газете, и я хочу напомнить о нём. “Внимание! Уважаемые читатели, юноши и девушки! В редакции полным ходом идёт подготовка номера “Ленсмены” “Явь в конце пятилетки”, о том, как планы стали былью и как преобразилась за это время жизнь. Он будет состоять из ответов на наши вопросы, которые мы по традиции задали читателям, активным авторам, уважаемым политикам, экономистам, учёным, журналистам. Просим вас прислать нам наиболее актуальные, на ваш взгляд, интересные, неожиданные ответы и вопросы”. С тех пор, — продолжал Вениамин Иванович, — редакция получила из ряда областей довольно внушительные материалы, а также запросы от авторов, которым идея оказалась непонятной. Итак, прошу отделы рассказать, чем они располагают и чего нам ещё нужно. Мы объявили конкурс на лучший аншлаг к тематическому номеру, чтобы он выражал основную цель и был бы объединяющим, единым заголовком над всеми материалами. Лучшее предложение будет отмечено особым поощрением. Выкладывайте, у кого что есть. Напомню, принимает секретариат только те заявки, которые отвечают теме, т. е. где конкретно говорится, что данный совхоз, например, по плану увеличит сдачу зерна в два раза, в корреспонденции в конце пятилетки он уже стал фабрикой зерна и описывается участие молодёжи в достижении успеха.

— А если не получится? — спросил завотделом Митько.

— Если постараемся, то совхоз добьётся цели, а ты, Михаил Иосифович, вместе с собкором наведайся туда не раз и не два, вышли в хозяйство наш номер, а к итогам года расскажем на газетной полосе, что там происходит. Все объекты, которые мы назовём в номере, каждый отдел берёт под контроль, а это значит, в публикациях периодически напоминает о ходе соцсоревнования и о проблемах, в решении которых мы обязаны помочь. Отделы писем, рабочей, сельской молодёжи, культуры и быта, орготдел до среды сдают с иллюстрациями свои заготовки для номера, а выпустим его в субботу. Есть время наверстать упущенное. Совместно с Госпланом наши отделы, секретариат и редакторат подготовили карту-схему новшеств, порадующих людей через пять лет. Михаил Иосифович, покажи её и повесь в коридоре для всеобщего обозрения.

Карта вызвала не только оживление, но и пересуды, сомнения, удивления, восхищения, словом, кричащий, неуправляемый, всеобщий диалог.

— Почему никто не предлагает аншлаг? — ларинский вопрос враз успокоил бушующие страсти, — без него, что паспорт без фамилии.



Тишина красноречивее слов говорила: никто “шапку” номера не придумал. Будто в угол забились громкие споры, реплики, смех, шутки, мину-ту назад сотрясавшие стены редакторского кабинета. Выдержав паузу, Ларин “с чувством, толком, расстановкой” произнёс:

— “С нашим народом можно мечтать!”. Подходит?

— Безусловно и в точку! — выкрикнул ответсек Энголи, дружно под-держали Митько, Вержбицкий, Якушев.

— Кому принадлежат эти слова? — спросил Вениамин Иванович.

— Ленину, — откликнулся Виталий Энголи.

— Владимиру Ильичу и присудим приз! — воскликнул Ларин.

Все одобрительно рассмеялись.

Несколько слов о любопытной карте, над которой не одну ночь кор-пели в секретариате. Её поместили на первой полосе, она графически подтверждала смысл ленинских слов. Выделялись ударные комсомоль-ские стройки и объекты в металлургии, на шахтах, нефтепромыслах, новые месторождения, цеха на предприятиях, целинные зернограды, синими стрелками помечались “лампочки Ильича” в отдалённых райо-нах, на отгонах, в аулах, сюда же проникали “тарелки” радиоприёмни-ков, кое-где загорались огоньки газа. Электро-, радио- и газификация заполняли обширное пространство в Великой Степи. Вузы, техникумы, профтехучилища, школы, библиотеки, клубы, магазины, кинопередвиж-ки, бытовые услуги — всё указывало на серьёзный скачок в повышении благосостояния населения, особенно сельского. Не обошлось без досад-ного казуса — верующие превратились в атеистов, и церкви лишились прихожан. Завотделом пропаганды редакции, ярый антирелигиозник, эрудит Володя Ушаков вписал (втихаря) скандальный абзац, но сей “про-кол” в молодёжной газете “тихо” остался незамеченным идеологами. До-вольные публикациями по вопросам религии, они опасались сбить нашу спесь “против боженьки”.

И вот номер родился и увидел свет не под гром аплодисментов, отно-шение к нему далеко не однозначное. Инициативу нашу по-доброму поня-ли и оценили молодые люди, из их писем следовало: так надо пропаганди-ровать пятилетку, наглядно, понятно и без уму непостижимых экономи-ческих выкладок и выкрутасов. Сия оценка нам как вознаграждение.

Не хлебом единым

Ларин не идеалист, но, несомненно, мечтатель, воображение рисо-вало контуры и содержание очередного номера, он вынашивал его в себе и потом делился с коллективом, какой видел следующую газету. Звучит буд-нично, но верно: он жил газетой, его творческое биополе касалось всех её сотрудников, превращая их в творцов, думающих, увлечённых, созидаю-щих идею, слова, тему, статью. Рутинная повседневность вытеснялась ро-мантикой вдохновения, и сие состояние психологического климата (тог-дашняя оценка коллектива), не приходящее только в знаменательные дни календаря, стало повседневно естественным. Адмресурс, как ныне гово-рят, практически изжил себя за ненадобностью кого-то отчитывать, торо-пить, наказывать, исключались нажим и адмнасилие. Мечтатель и ро-мантик Ларин незаметно, но повседневно сеял мудрое, доброе в коллекти-ве и внушал каждому личным примером прелести и эффективности вдум-чивого отношения к слову.



Я не идеализирую, а скорее, пытаюсь проникнуть в его метод и стиль, а даётся анализ не с ходу. Ларин не обольщался мечтами, не фантазировал, а покорял именно знанием жизни молодёжи, активным участием в ней. Да, он видел негатив вокруг себя и на расстоянии. Принципиальное борение с ним не превращал в крикливую кампанию, а предлагал понятную и действенную конкретику. Например, рубрику: “Выгоним скуку из комсомола”. Над нею задумывались, все в редакции её понимали и выдавали интересные молодые читателей корреспонденции, проникающие в их животрепещущие мысли, задевающие умственные истоки, предлагающие толковые советы. Сыпались в редакцию отклики, а в них обнажались искренние пожелания, причины застоя и бездействия в первичках, т. е. парни и девчата видели их, прежде всего, в себе, а уже потом в тех, кто над ними. На страницах газеты получался деловой, острый, конкретный диалог. Редакция обобщала и печатала “По следам наших выступлений”, сообщалось, что ещё будет устранено негативного, какие помехи уже изжиты. Последовательную заботу о действенности, конечно, понимали труженики на селе и в городе, ценили, с охотой подписывались на газету. Письма в редакцию для нас были источником тем и познания интересов. Особо подчёркиваю и другие популярные рубрики: “Опыт: изучи и примени”, “Не хлебом единым”, “О патриотах подлинных и мнимых”, требовавшие от публикаций не казённой стилистики, а аналитики, оригинальных и выверенных фактов. Не только руководство редакции, но и исполнители выкладывались сполна. Не помню случая, чтобы из этой “оперы” корреспонденция летела в корзину. Ответственность и исполнительность становились безупречными.

Не хлебом единым жив человек. Эта народная мудрость весьма убедительно прозвучала в письме девушки (фамилию не помню) из села Солдатово Восточно-Казахстанской области. В обдуманном и волнующем тексте она советовалась с редакцией, как ей жить: получила образование, работает, активная комсомолка, в семье хорошие папа и мама. Казалось, живи и радуйся. Девушка опечалена тем, что родилась внешне непривлекательной, парни обходят её стороной, ей так хочется иметь свою семью, детей. В чём же тогда цель жизни? Искреннее и взволнованное письмо под заголовком “Я верю в жизнь, но...” мы опубликовали на первой полосе без правок. От редакции просили читателей высказать свою точку зрения, помочь добрыми советами огорчённой душе. В газету обрушился целый шквал откликов. Печатали их полосами, а чтобы сэкономить место — отдельные строки из писем. Поручили нашему собору по Восточному Казахстану Адриану Розанову встретиться с девушкой и попросить у неё интервью: считает ли она советы, напечатанные в газете, полезными? Какие ей помогли? Кажется, этим интервью мы закруглили дискуссию, принявшую массовый характер.

Хочу сказать о нашем без преувеличения знаменитом соборе. Так бывает редко, как у Адриана Розанова: в “Ленсмене” работал всю жизнь. Ушёл из неё на пенсию. Блестящий журналист, он выше собора не поднимался и не хотел. Его приглашали в “Комсомольскую правду”, в “Правду”, но он неизменно оставался в нашей газете. Он её искренне любил и не хотел менять ни на какую другую. На редакционных совещаниях эмоционально горячился, критикуя всех, не “взирая на лица”:



— Редакция не видит бурной жизни молодёжи, перестала влиять на её настроение, спокойно жить — газету губить, вы не видите металлургов, строителей, горняков, все ушли в целинную степь, пробудитесь, очнитесь, проснитесь!

Отделы разносил за скудость мыслей — от них не услышишь доброго совета. Ленсменовцы шептались: “Адрианчик, как всегда, раздухарился”.

У него была эффектная внешность. Однажды она его подвела. А. К. Канапин (первый секретарь ЦК ЛКСМ, член бюро ЦК КПК, депутат Верховного Совета республики), Адриан и я прилетели в Кустанай. Наша миссия с Адрианом — помочь подготовить Канапину выступление. В городе мы пошли в различные первичные организации. Каким-то образом Адриана занесло на засекреченный объект — п\я. Длинный с горбинкой нос, широкие чёрные брови, овальное лицо, полные губы, смеющиеся карие глаза, пиджак в большую клетку, брюки, еле прикрывавшие щиколотки — словом, смахивал на экзотического иностранца. С объекта чекисты привезли его к себе в КГБ. Адриан бушевал и возмущался: буду жаловаться Канапину! Известная фамилия произвела впечатление, проверили, созвонились с Канапиным и отпустили журналиста с миром.

В редакции он высказывал дельные советы и готов был сам взяться за их осуществление.

— У меня в руках письмо, — перебил Адриана Вениамин Ларин, — три члена комитета комсомола железнодорожного узла станции Джамбул сетуют на скуку и бездеятельность. Давайте организуем ответ ребятам из того же Джамбула, пусть комсомольцы, где жизнь бьёт ключом, подскажут им, как они изгнали дремотную тишь. Адриан Сергеевич, поезжайте с Самсоновым в Джамбул и подготовьте письмо группы активистов. Это будет ответ загрузившим железнодорожникам.

Мы выехали в областной центр и вскоре оттуда прислали авторское письмо, в котором высказывались пожелания, как оживить, сделать содержательной деятельность узловой комсорганизации.

— А теперь, — обращаясь ко мне, таинственно произнёс Адриан, — пойдём знакомиться с интересным человеком.

На какой-то улице мы отыскивали глинобитный домик с чисто подметённым двориком. Зашли в калитку, постучали в дверь и оказались на кухне. У входа в другую комнату на раскладушке, возможно, недомогая, лежала красивая женщина с обнажёнными холёными руками. Блестящие карие красивые глаза сверкнули радостью.

— Адрианчик? Это ты? Милый мой мальчик, как я рада видеть тебя!

Писательница Галина Серебрякова (автор книги “Похищение огня” и других знаменитых романов) в Джамбуле заканчивала ссылку, переписывалась с матерью Розанова. Она взяла телеграмму:

— Из Москвы прислали, Союз писателей приглашает к себе, обещает выслать деньги, меня полностью реабилитировали.

Душа её наполнилась счастьем.

Вне повестки заседания бюро ЦК комсомола первый секретарь Косай Егизбаев прочитал письмо секретаря комитета комсомола совхоза “Красноармейский” Кокчетавской области Мазуркевича. Оно буквально всех нас потрясло. Мне поручили немедленно вылететь в



область, на месте разобраться и доложить. Я внёс поправку — и написать в газету, если факты подтвердятся. Ларин поддержал. С предложением согласились. Суть письма: погибла комсомолка, и вскоре погиб её возлюбленный, тоже комсомолец. Правоохранительные органы Красноармейского района возбудили уголовное дело по факту смерти девушки, затем по факту гибели парня. Затем оба дела объединили в одно, а потом закрыли ввиду недостаточности улик, отсутствия состава преступления.

С беспокойством понял, какую на меня возложили ответственность. Местные органы власти и правопорядка передо мной легко не расколются. Всесильное местничество, всячески маскируясь, явлением было не столько социальным, сколько политически вредным: введливая, разрушительная моль действовала незаметно. Без содействия партийных органов с задачей не справиться. Визит в Кокчетаве к первому секретарю обкома партии Кусаинову. Показал ему письмо комсорга. Секретарь, прочитав письмо, стал суровым и очень обеспокоенным. Вызвал заведующего адмотделом, твёрдо и гневно произнёс: “Разберись, если в письме правда, виновных накажем беспощадно!”.

Я почувствовал поддержку. Факты, сообщённые в письме Мазуркевичем, подтвердились. Девушка погибла от криминального аборта повивальной бабки: воздушная эмболия. Дело подсудное. Её парня через несколько дней после этой трагедии мёртвым нашли на могиле своей возлюбленной. Мне показали фотографию: труп жениха с обгоревшими ногами (он обходчик на железной дороге), вокруг масса окурков, рядом двустолка. Наивная имитация самоубийства. Не надо быть следователем, чтобы разглядеть фальшь. Прокуратура снова возбудила уголовное дело.

В моём блокноте неопровержимые факты головотяпщины в правоохранительных органах, я беседовал и записывал показания участников безответственного расследования, вёл своё, журналистское.

Задумался над подачей материалов в газете. И пришёл к выводу: напишу открытое письмо прокурору республики Набатову и первому секретарю Кокчетавского обкома партии Кусаинову. Ларин согласился. Районные и областные инстанции по уши погрязли в безответственном ведении следствия. Письмо опубликовали.

Критика партийных органов в молодёжной газете запрещалась. Виноват секретарь райкома или секретарь горкома партии — их должности не назывались в газете, писали “один из руководителей района” или города. Пусть читатель догадывается, кто этот начальник. Открытое письмо с неотразимой аргументацией посчитали дерзостью. Нас взгрили и предупредили в верхней партинстанции. Кусаинов же, первый секретарь обкома, по своей инициативе прислал в редакцию документ о принятых мерах: двоих исключили из партии, других виновников строго наказали в административном порядке. Письмо первого руководителя опубликовали под рубрикой “По следам наших выступлений”. Эту сенсацию — обком партии сообщает молодёжной газете о принятых мерах — нам преподнесли в ЦК КПК как превышение полномочий. В ответ на огульное обвинение напечатали отклики, поступившие на публикацию открытого письма. Были уверены: мы не вправе замалчивать общественное мнение.



“Крутой” ровесник

В декабре 2005 года исполнилось пятьдесят лет с того дня, когда в “Ленинскую смену” ответственным редактором (так значится в архивном документе) пришёл Вениамин Иванович Ларин. В мае того же 1955 года автор этих строк был утверждён заместителем, а бывшего ответредактора Евдокию Григорьевну Наливайко направили в центральный партаппарат. И ещё одна юбилейная дата: в конце упомянутого года “Ленсмене” — “Экспресс К” “стукнуло” 85 лет, столько же отметил бы любящий её ровесник, “дедушка” Вениамин Иванович. Деятельный и романтичный, он в своё время круто

превратил скучное молодёжное издание в популярное, действенное, массовое (тираж поднимался до 300 тысяч). Потому и повесть начал с конкретных дел: бери быка за рога. А чтобы не порвалась шекспировская “дней связующая нить”, да простит нас читатель за подобный приём в жанре повести, мысленно нет-нет да “перебросим” Ларина из “развитого социализма” в современную рыночную систему с нынешней демократией, где только слепой не увидит реальных перемен к лучшему. Совесть повелевает нам быть объективными: бурный рост экономики не может заслонить материальную и духовную убогость значительной части населения. Перспективный вид на грядущее благополучие обезличивают, прежде всего, нищета, мрачные картины криминала, несправедливость и безнравственность. От реалий действительности уйти невозможно. Здоровый и вполне благополучный образ жизни пытаются пропагандировать СМИ. Видный учёный, профессор, теоретик и практик журналистики, создавший примечательную



Ленсменовцы (примерно 1958 г.).

Первый ряд (слева направо): Татьяна Микрюкова, Вениамин Ларин, Валентина Полевская.

Второй ряд: Надежда Семёнова, Фарида Жанузакова, Надежда Таракчеева, Евгения Еланчик, Валерия Чекалина.

Третий ряд: Иосиф Маляр, Иван Хромов.

Четвёртый ряд: Эдуард Мацкевич, Геннадий Кучеренко, Нэлли Эйсмонт, Виталий Энголи.



книгу “Моя “Ленсмена” (Алматы, 2001 г., в которой скрупулёзно изложена её “биография” за 80 лет) Сагынбай Козыбаев мудро и лаконично заметил: “Газета — око, сердце и душа народа”. Таковой славилась и остаётся “Ленсмена” — “Экспресс К”.

Его живой образ пробуждает во мне светлые воспоминания, неизменно самые возвышенные и трогательные чувства, не даёт покоя и творчески вдохновляет, как полвека назад. Он источал энергию действия и сиял новыми мыслями, идеями, задумками, коими напичкан его ум. На страницах газеты появлялись выразительные и поучительные для молодёжи и нас, пробующих перо и уже имеющих журналистское имя, публикации. Раздвигались горизонты мышления и писания, вытесняя штампы, серость, обывательщину, узость тематики. Представляю его таким же ясноглазым, вдумчивым, лукавым острословом, умеющим смеяться и смешить других, так незаметно колющим на “летучках”, словно булавку тебе всадили в больное место. Ну что ж, терпи, говори, оправдывайся. Сам, конечно, заметил, как чувствительно задел одного, другого строптивца пера — умеи ценить строку и не обезличивать самого себя и газету. Рассуждая о номерах недели, деликатно поддержит и взбодрит критикуемых и тех, кто старательно выдал на страницы корреспонденцию, статью, информацию, заметку о проявленной где-то инициативе, совершённом подвиге на селе, в городе, в целинном хозяйстве: целина — любимая его тема.

Вот Вениамин Ларин передо мной — не на фото, в моём воображении. С виду невзрачный, низкорослый, хромающий, неприметный, бледный мужичок, с неряшливо ниспадающей на глаза седоватой прядью, потёртом мешковатом костюме, стоптанных ботинках. Он производил впечатление рассеянного интеллигента, прибывшего в большой город из захолустья, где галстучный пижон такая же редкость, как знаменитый алма-атинский апорт в пустыне Муюнкумы или в выжженных солнцем степях Куртинского района, до которого из Алма-Аты рукой подать.

Представим себе, он весь поглощён заботами. Апортовые сады в Семиречье неухожены, высушены, гибнут на корню от невнимания и безразличия беспечных хозяев, выкорчёвываются. Попадись эта бесхозность, экологическая трагедия на “крючок” газеты! Позволю мысленно воспроизвести эпизод, который не мешало бы и сейчас придать широкой гласности и обсуждению.

— Валя, позови Митько, срочно! — Ларин, волнуясь, мял ладони, словно в них крылась причина беды. Завотделом сельской молодёжи предстал перед шефом.

— Чудо природы алма-атинский апорт в Семиречье уничтожен. Ты знаешь?

— Да.

— Почему молчишь, бездействуешь? Помнишь первосоздателей этого сказочного яблока? В Алма-Ате даже дом Моисеева снесли, вместо того чтобы реставрировать и поставить памятник творцам редчайших всемирно известных плодов.

— Обещают апорт восстановить через семь лет, — неуверенно сообщил завотделом.

— Для создания великолепного сорта потребовались десятилетия и волшебники в лице учёных, специалистов, практиков-садоводов. Есть ли они? Свяжись с Минсельхозом, найди виновных в этом святотатстве



и подготовку — совместно с главным агрономом, отвечающим за сады, проблемную, критическую статью. Срок — неделя. Мы не имеем права молчать, злостные могильщики необыкновенного творения природы и человека пусть предстанут перед судом.

Он вызвал Деражинского, опытного и дотошного журналиста и поручил:

— Пётр Аркадьевич, вы подберите конкретное хозяйство, где с садом расправились раньше других, и подготовьте острый фельетон. Чтоб виновные почувствовали себя, как леши на раскалённой сковородке. Вам, — сотрудников постарше звал на “вы” и по имени-отчеству, — ясна картина и задача?

— Срок?

— Возьмите редакционную машину и немедленно выезжайте в ближайшее хозяйство — Калининский колхоз, сфотографируйте вырубленное место, да-да, пни остались ведь? Садовредителей тоже, а я поручу художнику нарисовать парочку едких карикатур. Клишируем “гремучий” заголовок, чтоб сразу не в бровь, а в глаз.

— А вдруг ослепнут? — пошутил Пётр, смеясь.

Нет сомнения в действенности будущих аналитических, критических, юмористических публикаций. Шумим, братцы, шумим? Не без этого, главное же — вникаем, изучаем, прежде чем увидят свет материалы. Таково неукоснительное правило редактора. Мы его понимали: направлен в газету из республиканского общества распространения политических и научных знаний, будучи одним из его руководителей. По складу ума находчивый, изобретательный, проницательный, умеющий внушать, он ничего общего не имел с надуманной созерцательностью. Так сказать, социальный, комсомольский мечтатель, одержимый идеями, волнующими молодёжь.

— Если страницы газеты пронизаны искренностью, убеждённостью, патриотизмом, истинной правдой, — никакой лакировки действительности не место. Писать выверенно, — требовал он, — с вдохновением, объективно излагать факты, не подстраиваться под гнетущую картину бытия, а вскрывать её причины и содействовать устранению.

Молодёжные журналисты энергично настроены, как и редактор, — живой пример для всех. Его чёткие наставления в памяти каждого. Молодым людям свойственно приподнятое настроение. В первых палатках на целине холодно, неудобно, безумно тягостно, но ребята выдержали. Подтасовка, искажение только умаляют достоинство героев. Молодёжь не терпит вранья, а вот взбадривающие слова, преодоление временных неудач, яркие перспективы — об этом писать без нудизма и ворчливости. И тогда в правдивости корреспонденции не возникнет сомнений. А перед начальством проблемы: немедленно действовать, иначе газета “прославит” на всю республику.

Его приход в “Ленинскую смену” положил начало её резкому возвышению в глазах читателей, она вскоре стала воистину комсомольской, романтической, действующей на умы и сердца вступающих в жизнь молодых людей. Редакция обрела перспективный стимул и мощный заряд творческой энергии в период масштабных экономических и социальных перемен. Начался новый этап развития “Ленинской смены”, соответствующий тому бурному времени. И суть вовсе не в названиях “зрелый”, “развитый” социализм, якобы опережающих время, а в размахе преобразований. Газета ярко и чётко увидела и отражала на своих страницах, как в Великой Степи закладывались гиганты индустрии, осваивалась целина,



хорошели города, сёла, аулы, появились совхозы-зернограды, людьми овладевал азарт обновления, крепла уверенность в завтрашнем дне, искренняя дружба. В этом духе полвека назад напечатано ларинское “Открытое письмо поэтам Валерию Антонову и Леониду Кривошёкову”. Положив его мне на стол, редактор сказал:

— Прочитай и пошли в досыл.

Я, признаться, удивился спешке поставить в номер строк четыреста ещё не набранного текста, предстояла перевёрстка, что могло повлиять на срыв графика выпуска газеты, а, следовательно, на её доставку читателям. Он понял мои невысказанные вслух опасения и совсем огорошил:

— “Ленсмену” подпишешь ты, как мой заместитель, я сейчас еду в аэропорт и улечу на Кустанайщину. Публикация вызовет несогласия, обиды, скандалы, шумливую разноголосицу.

Сел в машину и уехал. Подальше от греха, треволнений? Не в его натуре: Ларин ценил острые корреспонденции, даже с перехлёстом, без колебания давал их в номер, ожидая неминуемых нахлобучек.

— Затишье вокруг газеты, — делился откровенно с нами, — меня беспокоит больше, чем споры, от коих нелегко отбиваться. Коль тишь да гладь, значит, выпускаем макулатуру, прячемся от жгучих проблем, никого не волнуем, не будоражим. Спячка. Если меня две-три недели не вызывают в руководящую инстанцию на “ковёр”, не снимают “стружку”, считайте, всё идёт худо.

И начинал продуманно раскручивать спираль действий: поручал журналистам, всем собкорам, в том числе нештатным, актуальные темы с обязательными откликами читателей, критические статьи, фельетоны, организацию писем с мест. Срочно в области с конкретными поручениями мчались спецкоры из аппарата. Ларинский стиль весьма своеобразный, необычный, беспокойный, выношенный из опыта и практики достижения благородных целей.

Открытое письмо видным поэтам... О чём? Ларин не подвергал анализу особенности их поэтического творчества. Прочитал сборники стихов и, разумеется, текущие публикации в периодических изданиях. Он выступил как публицист, увидевший, чего они упускают, не замечают, досадно замалчивают. Не чурался “кусающих” слов и фраз, вроде, “пора снять повязку с глаз”, “уйти от мелкотемья”, “заумного рифмачества”, “элегического и мистического тона”. Он приветствует жизнеутверждающую поэзию, наполненную романтикой ударных комсомольскихстроек, преобразования степных просторов, энтузиазм, патриотизм, величие духа творцов — разве не здесь источник вдохновения для стихотворных шедевров?

Известные поэты обиделись на слишком дидактическое и резкое высказывание “Ленсмены” и “стукнули” на её редактора в “ЦК нашей партии”. Амбициозно-романтический Ларин попадал под перекрёстный огонь критики двух ЦК: партийного и комсомольского. Ему удавалось выкручиваться из невероятных ситуаций: без шума, тонко и ловко. Перед властью имущими “троекуровыми” вёл себя спокойно, не оправдывался, клятвенно не заверял, не уклонялся, нередко претензии и обвинения называл мелкими, с достоинством принимал упрёки, никого и никогда не закладывал, не сдавал, не подставлял, чем отличались заносчивые редакционные “жезлоносцы”, толкая под увольнение подчинённых, спасая свою карьеру. Среди них вживался именно такой вредный “обычай”, резонно названный Пушкиным “деспотом



меж людей". Не каждый выдерживал, кто-то ломался, заискивал, другие решительно хлопали дверью, хватаясь за сердце.

Из типографии звонит Петя Якушев (секретариат редакции):

— Завтра в "Казправде" выйдут строк 150-200 под рубрикой: "Из последних почты". Готовься, Борис, к скандалу, склоняют нас по всем падежам.

— Спасибо, Петя, подготовимся.

Утром прочитал, напечатали не обзор, допустим, за полгода, год — куда идёт, о чём пишет, что упускает редакция. Били нас больно, заносчиво, без чувства меры. Ларина песочили в каждом абзаце, похоже, счёты сводили. Статья вышла без подписи, как редакционная. В Кустанае Вениамина Ивановича нашёл в обкоме комсомола.

— Признавая критику правильной, — спокойно рассудил он, — нам положено перепечатать "казправдинский" разнос. Так с нами разговаривать нельзя. Здесь не столько замечаний и советов, сколько брани и окриков. Они огульно подвергают сомнению политкурс нашей газеты, не замечая, что швыряют камни в огород ЦК партии. Ты согласен со мной?

— Безусловно, Вениамин Иванович.

— В коллективе болтать не следует, перепечатывать — тоже.

Тебе будут угрожать вплоть до снятия, я тебя в обиду не дам.

Срочно, сейчас изложи нашу точку зрения в справке на имя секретаря ЦК Нурумбека Джандильдина и зайди к нему.

В приёмной мне предложили чуточку подождать. Говорят, при входе к высоким партчинам коленки дрожат, пощупал свои, привстал, вроде твёрдо держусь. А когда вошёл, и совсем успокоился.

— Я в курсе, — мягко сказал секретарь ЦК, взял у меня документ, пробежал, положил на стол. — Мы поправим "Казправду", нельзя так перегибать, в критике вы перебрали, но это не повод для избиения и обвинения в идеологическом уклонизме.

Заранее решил не говорить о перепечатке, не напоминать лишний раз, в общем-то, об идиотском правиле. Мы не перепечатали. Из отдела пропаганды ЦК КПК меня упрекали, что поступаю опрометчиво, необдуманно, мол, как аукнется, так и откликнется, можем и "по шапке" дать. Наш аргумент: главное — какие выводы сделала редакция. Требуется время. Пусть мелкотравчатые "наставники" потерпят. Разумеется, ссылаться на мнение секретаря ЦК, поддержавшего нас, не стал, разберутся сами у себя. Через три-четыре дня вернулся из командировки Ларин, на эту тему ни с кем не говорил, будто ничего значительного не произошло. Как всегда, он выдержан, вёл себя невозмутимо, но бесследно подобные "наезды" на редактора не проходят. Позже, когда всё окончательно утихло, на "летучке", как бы между прочим, заметил:

— Публикуя открытое письмо поэтам, мы преследовали на самом деле более широкую цель — привлечь внимание интеллигенции республики к проблемам воспитания молодёжи, особенно Академии наук, Министерства просвещения, творческих союзов, комитетов, они давно отмежевались от комсомола, мы им напомнили. Это поняли высшие руководители и поддерживали нас.

Ларин знал цену творческим талантам, коими природа одарила Лео니다 Кривощёкова и Валерия Антонова, глубоко уважал, дружил с ними, давал "зелёную улицу". Они, говорил он мне, своеобразно мыслящие и до фанатизма любят своё ремесло, а писатели прозу, но чтобы живописать



образ, в своём воображении как бы рисуют его облик и внешнюю среду. Взять Мышкина Достоевского, Пьера Безухова Толстого, Чичикова Гоголя, Дубровского Пушкина, Печорина Лермонтова. Сначала во сне Юго увидел Квазимодо, не мог избавиться от чарующей магнетической личности и создал бессмертный “Собор Парижской Богоматери”.

Журналисты тоже фанаты, вроде Василия Пескова из “Комсомолки”, нашего Адриана Розанова, они помешаны на своём искусстве писания, и потому знаменитые. Нам редактировать надлежит, а это похоже на укрощение слишком строптивых, в их глазах мы бездари, сухари, не видящие полёта мысли. Да, полёт мысли — не полёт шмеля.

Валерия Антонова нам удалось однажды даже спасти от “падения с кручи”, он провинился и засветился, его готовы были измазать чернухой, но Ларин твёрдо заявил на заседании редколлегии: Валерий — нашенский автор, светлая голова, признаёт, да, оступился, мы не можем перекрыть ему кислород. Будем печатать. Лёне Кривощёкову, прославленному поэту, боевому фронтовику и верному другу, “Ленсмена” помогла проложить дорогу в прозу. На совещании в Союзе журналистов он вложил мне в ладонь увесистую машинопись: “Прочти, о целине”. Читал и оторваться не мог от правдивых впечатлений, ярких штрихов из жизни пахарей. Ларин того же мнения. Материал в “Ленсмене” напечатали в трёх номерах, пошли отклики, ими мы очень дорожили: комментировали, привлекали специалистов. Леонида Даниловича благодарили в приписке от редакции. “Вдохновляет и обязывает”, шутил он. Вместе с ленсменовцем Мишей Митько, краеведом, историком, “семиреченским казаком” (как-то обдумываем “шапку” к подборке материалов рейда, ни одна не подходит, сидим хмурые, вскакивает Миша: “Острым клинком по изъяснам общепита!”). Хохотнули, а что — задиристо, удачно, верно. С ним в соавторстве Кривощёков выпустил содержательный документальный роман “Огненное кольцо” о Гражданской войне в Семиречье, знаменитой Черкасской обороне. “Фронт уходит на запад” и другие крупные произведения создал Леонид Данилович, а самопознание прозаика пришло — и мы этим гордимся — от “Ленсмены”.

Предатель

До сих пор любопытные меня спрашивают: у Ларина были завистники, враги, недоброжелатели? Интерес не праздный, всякие слухи и сплетни ходили. Будучи многие годы главным редактором “Ленсмены”, “Огней Алатау”, “Вечерней Алма-Аты”, журнала “Простор”, Вениамин Иванович среди авторов, поклонников, друзей обрёл славу тонкого и дальновидного руководителя, склонного к непредвиденным новациям. Открытые письма руководителям союзных объектов, регионов, министрам, видным учёным, деятелям литературы и искусства, с острым изложением проблем молодёжи; рубрики: “Сор из избы”, “Патриоты подлинные и мнимые”, “Спрашивайте — отвечаем” и др. требовали чётких и правдивых объяснений, например, “беспрецедентного случая в истории Советского государства” (оценка ЦК КПСС) расстрела бунтарей в Темиртау, дезертирства с ударныхстроек и прославленной целины, варварских условий быта, бездушия сверху насаждаемых начальников, скрытого презрения к прибывающей молодёжи, массовых приписок хлебосдачи... Молодёжь искала правды, справедливости, заботливого отношения, но часто спотыкалась о ложь, беззаконие, холодное безразличие. Предвидящий события, пронизательный Ларин на страницах



“Ленсмены” не уходил от огнедышащих вулканов и вулканчиков и в различной форме стремился к откровенному диалогу с молодёжью, не врал, не обещал лишнего. Словом, читайте “Ленсмену”, защитницу прав молодёжи. Он рисковал, риск называют делом благородным, добрым и опасным. Газета не щадила бюрократов, бездельников, волокитчиков, чиновников с окаменевшей совестью. И, конечно, сердитые за свою порушенную репутацию пытались отомстить. Отсюда и ответ — скрытые недруги Ларину готовы насолить, напакостить, подсидеть, “подложить свинью”.

Расскажу эпизод, стоивший ему здоровья и нервов. В общежитии строящейся Усть-Каменогорской ГЭС, где в сороковых годах Ларин избирался комсоргом ЦК ВЛКСМ, в конце длинного полутёмного коридора во всю его ширину и до самого потолка красовался портрет Сталина. Ребята рядом поставили столик, застелили газетой, прижали её тяжёлой пепельницей и устроили пьяный сабантуй. На кителе вождя Звезду Героя выпивоха прожёт и воткнул папиросу. Подгулявшая братва рассеялась, тёмный угол опустел ненадолго. Нагрянули сюда начальник строительства, парторг, комсорг, профорг, какие-то таинственные люди, особо высматривающие, вынюхивающие, ко всем и всему присматривающиеся цепко, профессионально. Конечно, чекисты. Один писал за столиком, другой подозревал Ларина, в ухо шепнул: “Ну а ты, комсорг, кого подозреваешь?”. Ларин ответил: “Пока никого”. Коменданта общежития подвели к портрету: “Твоя работа? Ты разрешил устроить здесь попойку? Молчишь, ну, заговоришь, где надо. Снять портрет, его мы возьмём с собой, тебя тоже”. Начались допросы и аресты. Ларин не знал виновника провокации и ни на кого пальцем не указал, что вызывало негодование у сыщиков, уверенных, мол, комсорг скрывает политическую заварушку.

Вениамин вёл дневник, записывал наиболее интересные наблюдения, мысли. Толстая в клеточку тетрадь таила “секреты”, например, суждения, взгляды на будущее. В годы хрущёвской оттепели автору этих строк Ларин рассказал о том эпизоде, как о банальном, но в те годы типичном явлении и трагичном. В дневнике он запечатлел искреннее удивление: среди рабочей молодёжи далеко не каждый патриотически настроен, как казалось на первый взгляд. Возмущался арестами, допросами и доносами, поведением властей, следствия. Унижало неверие честным людям, болезненное подозрение всех и каждого из-за дерзости пьяного хулигана: никто, кстати, из гуляк не осудил и не выдал его.

К дневнику Ларин со временем, очевидно, охладел, небрежно оставлял незапертым в ящике, а то и прямо на письменном столе. Однажды пришёл в редакцию рано утром, пожилая уборщица Прасковья Петровна встретила настороженно: “Вениамин Иванович, вчера вечером я пришла убирать комнаты, начну, думаю, с вашей, дверь приоткрыта, смотрю, с вашего стола Понторович взял толстую тетрадь и тут увидел меня, замешкался, буркнул: “Ларин просил принести...” и выскочил на улицу”. — “Спасибо, тётя Прасковья, вы пока другими комнатами займитесь, а я поработаю”.

Ларин искал тщательно: дневник исчез. Что затеял Понторович, если он взял? Его спортивные материалы печатались “с колёс”. Квалифицированный и оперативный репортёр. Правда, в последнее время чаще появлялся в московском “Спорте”, чем в “Ленсмене”. Недавно наемкнул Ларину, мол, имеет шанс сделать карьеру, но услышал обидный ответ: “Пока не следует удирать, нагрузка под завязочку...”. Сказал, не поднимая головы от досыла — срочный материал в типографию. Понторович реплику по-своему понял, ему не



пробиться, Ларин тормозит, надо сковырнуть его. Коварство не знает границ. Дневник у подлеца, очевидно, побывал раньше, сейчас он сделал предательскую ставку на него ради продвижения. Ларинскую тетрадь “раскручивали” в спецорганах, и не только. Потом вернули хозяину, а самого из заместителей редактора (1950 г.) “тихо” перевели сначала замзав отделом пропаганды и агитации ЦК ЛКСМК, отсюда “скинули” референтом забытой ныне конторы. Семён Понторович пролез в “Спорт” корреспондентом по Казахстану. Продвижение Вениамина Ивановича в кресло редактора “Ленсмены”, куда его уверенно прочили, отозвав из Усть-Каменогорска, затормозилось на пять лет. Как видим, ещё на заре своей служебной карьеры он испытал вероломство и произвол кадровой партполитики, свёрхчуткой к подозрительным и даже явно лживым компроматам.

А бестактные, откровенно грубые и циничные оценки “Казправды” открытого письма поэтам, с которым читатель уже знаком? В них прозвучали даже угрозы в адрес Ларина, обвинённого в некомпетентности, унижении известных стихотворцев. Злопыхатели распустили слух, мол, теперь ему не удержаться, по-есенински его “удел катиться дальше вниз”. Признаться, я считал редактора “Казправды” Боярского и Ларина закадычными друзьями, но моё мнение оказалось ошибочным. Фёдор Фёдорович явно переиграл, и в ЦК КПК не получил основательной поддержки. Я понял: никогда они не дружили, более того, Фёдор Боярский использовал любой повод загнать строптивца и явного соперника Ларина в “дальний угол”. Вовсе не хочу бросать тень на Фёдора Фёдоровича, одно время весьма авторитетного в республике, но от фактов никуда не спрячешься. На Ларина поступали анонимки, жалобы, устные и письменные, он не уклонялся от ответственности и своего твёрдого курса на поднятие авторитета и влияния “Ленсмены”.

Мужество

— Дело срочное, — сказал Вениамин Иванович, подавая мне исписанный тетрадный листок в клеточку, — прочитай.

Быстро пробежал по строкам, явно ученическая рука выводила каллиграфическим почерком каждое слово. Писала не в уютном тёплом классе — на листке следы немых рук. Внизу четырнадцать девичьих фамилий. Нескрываемое возмущение овладело мной.

— Какое бездушие!

— Вот на месте и размотаешь, начальство носом ткнёшь, — он ругнулся, что с ним случалось редко.

— Но ведь тень падёт на ударную комсомольскую, всесоюзную...

— Если копаться только в дерьме — да. Если не замечать того, что девушки-патриотки откликнулись на призыв, в них не угасла надежда, иначе бы разбежались, а бригада держится, надеется, верит. Бери письмо и лети срочно в Рудный. Вспомни: “Я знаю, город будет, я знаю, саду цвести, когда такие люди в стране Советов есть!”.

Великий поэт пролетарской эпохи Маяковский ныне забыт. Провинился в том, что воспевал “своё” Отечество?

— О, возьму эти слова эпиграфом к будущей корреспонденции!

— Учти, коль обратились к нам, значит, убеждены — поможем. Лети, встретиться с девушками, с бессердечными начальниками, организуй



помощь, до союзного руководства доберёмся, не дадим позорить и подрывать честь комсомола!

Ларин “комсу” знал, любил и защищал. Умело и толково взял твёрдую линию на изгнание скуки и серости из комсомола, со страниц газеты — в первую очередь. Его остроумные и весёлые задумки удивляли всех и все поддерживали, поговаривая: вот чего нам не хватало — комсомольского задора, смелости, дерзости, искромётного фейерверка молодёжных исканий и свершений. Романтика не только взлёт мечты и трудового героизма. Это ещё и мужество, терпение, преодоление невзгод, нередко рукотворных, достижение цели через сложную полосу препятствий.

В ноябре вечерееет рано. В пятом часу я на приём к начальнику Соколов-рудстрою Гиммельфарбу пришёл вовремя. Сказали: “Он только что отбыл”. — “Но я с ним лично договорился о встрече!”. — “Пройдите к его заму, главному инженеру Бурешу”. Понятно: сброс на другие плечи. Прохожу, в кабинете тепло, уютно, представляюсь. На лице хозяина — усталое безразличие: “Что вам?”. — “Мне лично — ничего”. Кладу на стол письмо. По мере чтения его лицо выражало недоумение, растерянность, мрачнело и угасало в полутёмном мареве кабинета. Обмякшее, неуправляемое тело со стула съезжало под стол. Или мне от усталости мерещется — с самолёта сразу сюда, в контору. Первые слова: “Парадокс, недоразумение!” — “Вы согласны с претензиями?”. — “Разберёмся”. Звонок Спиваку, начальнику техотдела: “Тут корреспондент, он к тебе зайдёт сейчас”. — “Пусть он сюда придёт, вместе с хозяйственниками, у вас будем калякать, а утром пойдём на объект девчат”.

До него от конторы рукой подать, как договорились накануне, все были на месте. Показал девушкам письмо — пусть знают — приезд не случайный, а по их тревоге. Девчата не испугались начальства, а, как пчёлы потревоженного улья, жужжали вокруг нас. Вопросы, обиды, горечь — всё вылилось враз. И всё правда. Голыми руками строили дом, укладывали кирпичи. Один их вид щемил сердце до боли: худые, бледно-синие, обветренные лица, заскорузлые руки, потрёпанная домашняя одежка, нестиранные ситцевые платья, на ногах сандалии, туфлишки. Ни положенных им телогреек, ватных штанов и рукавиц — словом, никакой спецодежды. Тонкими пальцами берут ледяные кирпичи, укладывают, нагружают транспортёр, раствором цемента обляпаны лица и руки, горит костерок для обогрева: пальцы замерзают и плохо гнутся.

— Почему к нам такое отношение? — кричат в один голос девчата. Буреш гневно смотрит на Спивака, Спивак прячет глаза, комсомолки распекаются:

— А загляните в общежитие!

О боже праведный! Стёкла в окнах выбиты, как после погрома, на подоконниках заледенелый снег, “буржуйка” холодная — улицу не отопишь, бачок с водой пустой. Прошу разрешения заглянуть в тумбочки — девчата открывают дверцы: инеем покрыты ломти хлеба, пустые банки из-под консервов. Грязные войлочные одеяла на кроватях, койки сдвигают на ночь, спят по двое-трое, так теплее. Туалет, ванная, душ? Всё бездействует. На дворе вонючий сортир — двери не закрываются. Убогая столовая — картошка, перловка, рыбные консервы. Суперсволовая бытовуха, пальцы сжимаются в кулак, к сердцу подбирается ноющая и колющая боль. И ни одного дезертирства из девичьей компании — коллективного автора письма! По выносливости все заслужили занесения в книгу рекордов Гиннеса.



Ну а начальство? Для них такой книги нет — куда бы заносили рекордсменов с запертой пудовым замком совестью.

Вернулся домой — на стол редактора кладу статью “Кого же это волнует?”.

— И кого же?

— Редакцию.

— Помочь сумел?

— Да там всё имелось, спецодеждой забиты склады, кое-кого пришлось потрясти. Одели девчат в телогрейки, тёплые штаны, кирзачи, валенки, рукавицы, свитера, заменили постели. Вставили в общежитии стёкла в разбитых окнах, отремонтировали туалеты, душевые, наладили отопление, питание в столовой, завоз ходовых товаров в магазины — вплоть до косметики, начали ремонт клуба, бани, парикмахерской. Контролируется оплата труда и сверхурочных, премиальных, организовано соревнование молодёжных бригад, партийные и комсомольские органы обещали уладить взаимоотношения разгневанной молодёжи с начальством. Виновные в преступной халатности и ледяном равнодушии Гиммельфарб, Буреш, Спивак и другие привлекаются к партийной и уголовной ответственности.

Прочитав статью, Ларин сомнительно покачал головой:

— О мучениях девчат написал трогательно, однако упустил важные моменты. Очень вялая критика Кустанайского обкома комсомола. Он как бы сбоку припёку, вроде даже не виновен. Составь список работников обкома, командированных в Соколоврудстрой. Чем же они здесь занимаются? Обошёл ты и республиканские организации, ответственные за свои участки. Союзное министерство и фамилия министра и его зама не указаны. Вместе с комприветом газету со статьёй им пошлём, Гиммельфарб, Буреш, Спивак, хозяйственники — художник окарикатурил их до осуждающего смеха — предстанут перед начальством. Девчат на фото покажем как героинь и посоветуем в отдельных врезках с них брать пример стойкости, выдержки и трудолюбия. Земляки пусть гордятся, да и все, кто прочитает. Продумай текст от редакции, уверен, даже молчуны откликнутся. За муки комсомолок каждый виновный, не взирая на ранги и лица, получит острое общественное порицание с вытекающими отсюда выводами партийного и административного характера.

В центре целинного подвига

Целина — пласт творческой истории “Ленинской смены”. “Целинный вихрь, — цитирует “Моя “Ленсмена” слова В. И. Ларина, — не давал нам покоя: мы всегда старались находиться в его центре. И пусть газета тогда в чём-то, бывало, ошибалась, но стремления её были искренни, по-юношески задорны, и они, бесспорно, приносили добрые всходы. Сегодняшние дела и люди на целине, выросшие из тех всходов, — убедительное подтверждение этому”.

Осенью 1956 года один из номеров “Ленинской смены” вышел в свет, полностью посвящённый первому казахстанскому миллиарду пудов хлеба. О выдающемся событии, крупной победе мы, ленсменовцы, рассказали первыми. В прессе, впоследствии уличавшей Кунаева в “дутых” миллиардах и незаслуженных госнаградах, дописались до того, что поставили под сомнение и первый, и последующие миллиарды, мол, всё это изощрённая пропагандистская “липа”, досужие вымыслы. Говорили не в кулуарах и



шрёпотом, а даже с трибуны пленумов партийных комитетов. Чудовищная ложь критиканов пробудила память о героическом, впечатляющем реальном событии.

За давностью лет иные факты, повседневные курьёзы редакционной “кухни”, конечно, обволоклись туманом времени. Цепкая память из прошлого выхватывает что-то существенное. Молодость потому и впечатляет, что с неё начинается жизнь. Рисуются обаятельные, оригинальные образы ленсменовцев, вспоминаются творческие взлёты и неудачи на страницах газеты. Чего не терпели, так это серости. Случались срывы, но огорчения вытеснялись новыми впечатляющими исканиями и нередко сенсационными публикациями.

Редакционная коллегия проявила полное единодушие — целину освещать пламенно и широко. Отделы предложили рубрики: “Казахстан — земля целинная”, “На земле комсомольского подвига”, “О патриотах подлинных и мнимых” и т. п. О последней рубрике Ларин сказал особо:

— Появились дезертиры, покинувшие необжитые целинные земли, не выдержали испытания суровым бытом. Тень падает на массовый героизм, доблесть молодёжи. Сомнению подвергаются вера в единство комсомольских рядов, надобность целинной эпопеи. Негативный процесс угрожающе разрастается, что подтверждают письма с критикой бытовых и производственных неурядиц, освоение целины называют авантюрой, масштабной и необдуманной руководством страны. В патриотические интонации статей волей-неволей проникают мысли разочарованных юношей и девушек.

Политические сигналы вызывали тревогу.

Тогда, помню, Ларин предложил подготовить аргументированную, без лишних эмоций о героике, корреспонденцию о патриотах подлинных и мнимых. Подлинные — это те, кто осел и окреп на целине, мнимые — кто удрал, забыв про свой патриотический долг. Посоветовались на заседании редколлегии — давать ли такую статью? Поймут ли нас читатели? Как отнесутся в парторганах? Сложных вопросов и различных мнений масса. Действительно, в споре рождается истина. Чей-то острый ум настаивал в “Ленсмене” не печатать её.

— И вот почему, — пояснил: — Подлинные патриоты и мнимые — молодые люди, прибывшие из Российской Федерации, других регионов Советского Союза. Предлагаю статью послать в “Комсомольскую правду”. Пусть молодёжь страны знает: в её рядах среди мужественных посланцев далеко не все Иваны Рудские, Михайлы Довжики: хлюпики, паникёры, безвольные крикуны на митингах — да их хоть отбавляй.

На эту тему развернули дискуссию. Осуждающие малодушных гостролёров письма, корреспонденции, заметки публиковали под рубрикой “О патриотах подлинных и мнимых”, как названа статья. Она, несомненно, крепко воздействует на колеблющихся молодых людей, укрепит их веру в будущее, уберёжёт от опрометчивых поступков.

Предложение все одобрили. Вряд ли кто задумался над щекотливым и очень существенным моментом — сор выносим из избы, по головке редактора, конечно, не погладят. А начни согласование с вышестоящими инстанциями — провал обеспечен. Статью отослали в “Комсомолку”. Вскоре получили ответ: в ближайших номерах она будет опубликована.

Но ликование наше оказалось преждевременным. Вмешался корреспондент “Комсомольской правды” по Казахстану. Давид Новоплянский



сломал наши планы. “Всё на целине — героично, — умничал он, — мнимых патриотов выдумывают мнительные люди”. Бегство из хозяйств, исключение из комсомола за малодушие и трусость считал выдумкой. Конечно, его позиция в его редакции более понятна и приемлема, но он не увидел за лесом деревьев. Плетью обуха не перешибёшь, в своей газете мы статью всё-таки дали. Резонанс потрясающий — посыпались письма, в основном оптимистического содержания. Мужество и выносливость на целине действительно массовые и осмысленные, случаи разочарования и пессимизма проявлялись редко, часто письма шли в печать без правки: в них звучали искренность и надежды на перспективу, осуждались малодушие и паника.

Мы накопили приличный опыт, нам удавалось показать ребят, участвующих в соцсоревновании за звание “лучший целинник”, через призму их психологии, переживаний, настроения души, веры в торжество светлых идеалов.

Вениамин Иванович Ларин собрал коллектив:

— Скоро будет рапорт республики о миллиарде, давайте подготовим тематический номер, посвящённый этому небывалому событию. Принимают участие все отделы: у каждого конкретное задание. Тексты, фото, рисунки начинайте готовить сейчас, сверстаем полосы, а как только рапорт будет озвучен, помещаем его под броским заголовком и выпускаем газету. “Шапка” на первой, второй и третьей полосах из единицы и девяти нолей. Никаких лозунгов. Читателю и так ясно.

Вениамин Ларин, безусловно, одарённый, образованный, умный, хитроватый, с лукавинкой и юмором, не славился блестящим журналистом вроде Анатолия Аграновского, Владимира Кокашинского, но обладал редким талантом организатора, беспокойной душой, чутким отношением к подчинённым.

После очередной взбучки в партинстанции, улыбаясь, говорил мне:

— Сейчас появимся в коллективе, там уже знают, зачем нас вызывали, и виновники ошибки в газете ждут разноса. А мы с тобой придём даже с шутками. Пройдёт день-два, успокоимся, всё взвесим и тогда остро покритуем небрежных исполнителей. Они будут наказаны, а если второпях выплеснем негодование — это наше поражение. Сгоряча нельзя рубить сплеча, показывать свою слабость, подрывать авторитет, портить настроение перед выпуском очень ответственного номера.

Все участники совещания разошлись, а мы с Вениамином Ивановичем остались.

— Кустанайская область обещает сдать более трёхсот миллионов пудов, почти треть миллиарда, скоро будет рапортовать. Как смотришь, если дадим статью первого секретаря обкома партии Храмова? Коммунисты — ведущая сила, и обойти их мы не вправе.

— Абсолютно согласен.

— Вот и хорошо. Ночь с тобой посидим над текстом, и ты полетишь в Кустанай с заготовками.

Осторожный и предусмотрительный, Ларин о задуманном никому ничего не сказал — а вдруг замысел сорвётся?

В Кустанае мы надеялись на помощь Бориса Темникова, с ним связывала крепкая дружба. На год позже меня после окончания КазГУ он пришёл в ЦК комсомола и стал быстро продвигаться: инструктор, заведующий



отделом, а с началом освоения целины — первый секретарь обкома крупнейшей зерновой области.

Он позвонил в приёмную обкома партии, потом связался напрямую с первым, сказал о статье для “Ленсмены”. “Надо подождать ещё два-три дня, — ответил секретарь, — идёт сдача последних тысяч пудов хлеба, отапортуете, милости прошу, заходите”.

С Темниковым мы выехали на поля посмотреть, как идёт уборка, встретиться с молодыми людьми. Ударный труд без прикрас и эйфории какими-то неуловимыми штрихами массовой активности хлеборобов бросался в глаза. Стояла довольно тёплая осень, даже дожди не были такими холодными, как обычно в это время года. Представилась картина, схожая с некрасовской несжатой полоской. Среди необозримых массивов стерни виднелись островки полновесной нескошенной пшеницы — след торопливости и беспечности. Дороги покрыты жирным слоем влажной земли, обильно посыпаны зерном из щелей автомашин, плохо подготовленных к перевозке. На машинах, мотоциклах, бричках и просто в ручные тележки мешочки — сборщики потерь, в открытую, не таясь от властей, собирали и сгребали зерно, кое-где уже проросшее красивыми зелёными ковриками. Чёрные тучи прожорливых птиц порхали над полем. Хищный “сбор” не поддавался учёту, и сколько растащено хлеба — одному богу известно.

— Сюда бы привлечь молодёжь, пионеров, октябрят, деревенских и городских лежебок — какая прибавка к урожаю. О потерях впишем острый абзац в статью секретаря обкома.

— Валяй.

Воздух, как в пекарне, пропитан пряным запахом подгоревшего зерна. Его не успели вовремя перевезти на элеваторы, в многочисленных буртах изнутри оно начинало дымить.

Наутро из приёмной обкома Темникову раздался звонок, и мы пошли к первому секретарю. Тот встал из-за стола, весело поздоровался, настроение приподнятое.

— Сдали более трёхсот миллионов, рапорт я подписал, давайте статью.

Читал внимательно, придирчиво, напротив строк о потерях поставил восклицательный знак, исправил цифры, видимо, помнил их хорошо, чуток поразмышлял и размашисто подписался.

— Когда выйдет? — спросил.

— Номер свёрстан, в Алма-Ате ждут вашу статью, через два-три дня читайте “Ленинскую смену”.

Он поблагодарил, и мы, довольные приёмом, вышли из кабинета. Посвящённый выдающейся победе на казахстанской ниве номер газеты пришёлся по душе нашим читателям, замечен и положительно оценён в республиканских инстанциях.

Освоение новых земель с первой борозды и первой палатки, начатое “на голом месте, чтобы опередить время”, писал Л.И. Брежнев в книге “Целина”, породило массовый героизм. Аграрники и политики истоки его ищут теперь не в советском патриотизме. И досадно ошибаются. Да, людям, преодолевавшим, с одной стороны, опасные капризы природы, а с другой — “плоды” неорганизованности и некомпетентности собственных начальников, ничего другого не оставалось, как проявлять выдержку и настойчивость. Лишь одиночки позорно сбежали, остальные с достоинством выдержали. Разве это не патриотично?

Как и предвидел Ларин, с чьей цитаты я начал эту главу, целина вступила в новый этап, когда первоцелинники из волевых покорителей становятся предпринимателями, арендаторами, фермерами. Предприимчивый крестьянин получил счёт в банке и право распоряжаться заработанным (купля-продажа), сам выбрал форму хозяйствования, определился с технологиями производства сельхозпродукции, нашёл каналы сбыта. Максимальную прибыль получает при наименьших затратах. В 1991 году у целинников побывали президенты страны и республики М. С. Горбачёв и Н. А. Назарбаев, у них не просили техники, удобрений, хлеборобы пришли к пониманию: нельзя построить рынок в отдельно взятом совхозе, если даже он экономически крепкий. Пусть создают условия для правовых, экономических и иных предпосылок развития рыночных отношений, чтобы сами трудяги покупали то, что им нужно, и с полной отдачей сил и опыта растили богатый урожай.

Изучая историю “Ленинской смены”, ещё раз убеждаюсь: до Ларина её “по кирпичику” делали, ворча: “Чего-то нам не хватает”, с его появлением — её творили с тем огоньком, который когда-то потух, теперь вновь запылал от ларинской энергетики задора и оптимизма, уверенности в опыте и возможностях коллектива. Она что живой организм, требует постоянного вливания эликсира новизны, светлых идей, перспективных целей, таящихся не только в голове редактора, но и в мозговых извилинах всех деятельных сотрудников. Ларин умел собирать богатую копилку мыслей, вникал, обобщал, извлекал темы для текущего номера и на ближайшую перспективу.

Таким образом, газета становилась поистине результатом коллективной мудрости, и каждый — от литсотрудника до редактора — заинтересован внести свою лепту, увидеть свою фамилию под материалом лучше своего соперника. Увлечение вдохновляло всех, склоняло к поиску и оригинальному изложению темы.

Читатели выступали судьями наших публикаций, новинок, сенсаций. Разговор на страницах газеты — “Во весь голос” — будил и звал к участию: а вдруг высказанное актуальное, нестандартное мнение, этим отличающееся от других, увидит свет? Да ещё будет прокомментировано? В редакцию приходили письма молодых и не очень, с довольно смелыми суждениями и толковыми советами. Рубрика “Спрашивай — отвечаем” так же заинтересованно велась нашими активистами, литработники сохраняли стиль, смысл, пусть заковыристый, лишь слегка правили. Прямое общение газеты с её поклонниками и подписчиками. Думаю, современные СМИ сами обедняют, обессточивают, опустошают себя свёртыванием ответственности за действенность. Почти на нет сошли волнующие читателя рубрики: “По следам наших выступлений”, “Опыт: примени себя”, “За взятки — на лопатки” (против коррупции), “Письмо не опубликовано, но...”, “Письмо в редакцию”, “В несколько строк”, подборки читательских писем, предложений, советов.

Завотделом подсчитала: из ежедневной почты, а это 50-80 писем, до одной трети печаталось в газете. Ими целые страницы заполнялись, и потому, убеждён, их приток не уменьшался. А письмо — потенциальная заметка, информация, тема внушительной статьи, фельетона, повод редакционного расследования, а читателю для размышления.

Окончание в следующем номере.



Римма АРТЕМЬЕВА

Три имени судьбой соединив...

Сколько имён, теперь уже принадлежащих всему миру, высек на скрижалях памяти этот удивительный, загадочный и необыкновенно красивый казахстанский город — Алма-Ата... Среди них одно, неразрывно связанное в нашем сознании с Александром Сергеевичем Пушкиным. Имя необыкновенного человека — писателя, учёного, исследователя, своим творчеством навсегда соединившего Пушкинский Дом в Ленинграде, а теперь в Санкт-Петербурге, с Алма-Атой, — НИКОЛАЙ АЛЕКСЕЕВИЧ РАЕВСКИЙ, член Союза писателей СССР, удостоенный звания “Заслуженный работник культуры Казахской ССР”.

Менее двух десятков лет назад Н. А. Раевский, необычайно любознательный и сильный духом человек, гулял по улицам нашего города, тоже ставшего для него родным, наслаждаясь ароматом цветущих садов, величием гор и его притягательной духовностью...

Заразительная, страстная увлечённость Н. А. Раевского Пушкиным не только была стимулом его творческих интересов, но и давала потребность жить, чтобы завершить начатое. В одном из последних интервью он скажет: “Не могу ничего не делать. И хотя мне уже за 90, всё-таки хочется работать, работать, работать. В данное время я занят подготовкой очередной книги о Пушкине, о которой думаю уже много десятков лет...”. Тема этой книги прошла через всю его жизнь, начиная с того памятного момента, когда он впервые открыл для себя не просто великого поэта, но человека, полного чувств, эмоций, высокого патриотического подъёма. Н. А. Раевский назвал её “Пушкин и война”, и она была первой в его пушкиноведческих исследованиях. Почему именно эта тема стала предметом его пристального и детального изучения? Думаю, потому, что недалеко ещё было то время, когда он сам носил мундир офицера и служил своему отечеству отважно и честно. И его патриотический порыв был так созвучен тем пушкинским настроениям, которые пробуждали горячее желание избранного Богом пиита доказать свою любовь к России, защищая её на поле брани. Да и в самом начале своих увлечённых поисков Николай Раевский уже понимал, что нашёл тему, до него практически не изученную.

Откуда это непреодолимое желание ратных подвигов? Почему главные герои многих пушкинских стихотворений и прозы — люди военные?





Ответы на все эти вопросы Раевский стал искать в родословной поэта и его близком окружении. Начинаящий исследователь, знавший о войне не понаслышке, не мог не заметить и то, как правдиво изображал Пушкин, в общем-то, человек светский, все события театра военных действий.

Неожиданные повороты судьбы и уникальные находки расширяют исследования Николая Раевского новыми темами, определившими лейтмотив его первой книги о Пушкине, которую публикует он лишь спустя тридцать лет. Так случилось, что многое из его жизненных коллизий и пушкиноведческих исследований ему придётся поручить своей памяти.

Память... Какой удивительный инструмент, позволяющий человеку не просто осознавать себя в определённом историческом отрезке, вмещающем понятие “жизнь”, но и создавать саму историю, передавая события предельно точно и правдиво. Дожив до преклонного возраста, Николай Алексеевич Раевский до конца был одарён ясной памятью, наблюдательностью и особой щепетильностью к деталям всего происходившего вокруг. Благодаря этому миллионы людей получили возможность открыть для себя не только непознанные ранее стороны жизни и творчества великого русского поэта. Но и прикоснуться к нелёгкому выбору, который встал перед многими в 1917 году. Выбору, поделившему судьбу не только России: на белых и красных...

Невозможно понять феномен Николая Раевского, в семьдесят лет издавшего свою первую книгу, которая сделала его знаменитым, и ставшую началом его стремительной (как может показаться) карьеры писателя, не всматриваясь пристально в сюжет его интересной, но подчас драматичной судьбы. И всё-таки, что значила в ней Алма-Ата?

Именно в Алма-Ате у Николая Алексеевича Раевского впервые появилась возможность рассказать огромному количеству читателей о том новом Пушкине, которого он открыл. Все его книги, посвящённые Пушкину, и исторические повести, неоднократно переизданные, мемуарные произведения и дневники были опубликованы в Алма-Ате. Приехав в шестидесятые годы прошлого столетия в этот неповторимый во всех смыслах город — средоточие культурной и научной мысли, он не только прикоснулся к его уникальной духовной среде, он сам стал её частью. Здесь он встретился с известным литератором, в конце девятнадцатого века игравшим заметную роль в развитии русской педагогической мысли, Николаем Николаевичем Кноррингом. Который до Алма-Аты, живя в Париже, много лет заведовал книжным отделом знаменитой Тургеневской библиотеки — крупнейшего в Европе книгохранилища русских дореволюционных книжных и журнальных изданий. И приложил немало сил к восстановлению после второй мировой войны её бесценных фондов. В его личном архиве хранился один из образцов всеобщей любви к А. С. Пушкину — рисунок Жана Кокто. Этот рисунок был эскизом пригласительного билета на парижскую выставку Сергея Лифаря, проходившую в зале Плейель в рамках столетнего юбилея со дня смерти Александра Сергеевича, где экспонировались пушкинские автографы.

В Алма-Ате Раевский виделся и с зятем Н. Н. Кнорринга Юрием Борисовичем Софиевым — известным поэтом французской эмиграции, дружившим с Иваном Буниным. В то время Ю. Софиев работал художником-анималистом в институте зоологии Академии наук Казахстана. Их судьбы были в чём-то очень похожи. Здесь же Николай Алексеевич познакомился и был дружен с семьёй известного



в мире литературоведа и поэта-переводчика Александра Лазаревича Жовтиса... Олжас Сулейменов, Леонид Кривошёков, Максим Зверев и ещё очень много замечательных и талантливых людей — литераторов и не только, встретит Николай Алексеевич Раевский, почти тридцать лет прожив в Алма-Ате.

Так удивительным образом соединились здесь судьбы Н. Раевского, А. С. Пушкина и Города...

... За сорок лет до появления на свет Коленьки Раевского, в Заилийском крае (в местах, где издревле селились племена саков) отрядом майора Перемышльского было построено военное укрепление Заилийское, позже получившее название Верное. Вряд ли кто-нибудь из семьи Раевских мог даже предположить, что судьба, до последних его дней, свяжет Николая с казахстанским краем и с городом, который вырастет на месте этого военного укрепления и получит мягко-ласковое имя **Алма-Ата**. Городом — таким далёким от г. Вытегры Вологодской области, где в 1884 году родился он в семье потомственного дворянина юриста Алексея Сергеевича Раевского и Зинаиды Григорьевны (урождённой Пресняковой), и от Петербурга, где жили его дедушка с бабушкой.

Самые ранние свои воспоминания связывал Николай Алексеевич с уходящим девятнадцатым веком. Тогда в 1899 году, находясь в гостях в Петербурге, услышал он от своей прабабушки Софии Марковой рассказ о том, как она, шестнадцатилетняя ученица института благородных девиц, однажды на придворном балу видела Александра Сергеевича Пушкина, хотя представлена ему не была.

— Позже, Коленька, когда ты вырастешь, ты узнаешь, кто такой был этот великий человек, и вспомнишь меня, — говорила она...

А в это время в далёком от столицы на Неве, военном, теперь уже городе Верном, в честь столетия со дня рождения улица Бульварная была переименована в улицу А. С. Пушкина, которое носит и до сих пор. Нельзя обойти вниманием и тот факт, существенно повлиявший в будущем на судьбу Николая Раевского, что в том же году профессор академии Генерального штаба генерал А. Михневич опубликовал к юбилею в военном журнале "Разведчик" свою статью "Пушкин, как военный писатель". Этот очень популярный в то время журнал распространялся по всем офицерским собраниям России. Его получило и Верненское офицерское собрание. (В Национальной библиотеке РК в Алма-Ате в редкой коллекции дореволюционных журналов хранятся номера "Разведчика" с этой статьёй).

Но пока жизнь Коли Раевского никак не связана с этими обстоятельствами... Он входит в грядущий XX век жизнерадостным, наблюдательным ребёнком. Детская пылливость обнаруживала в нём талант исследователя. "С очень раннего возраста у меня появился определённый интерес к многообразному миру насекомых, а лет с восьми-деяти я очень увлечённо начал собирать коллекции бабочек и жуков. Конечно, первые мои коллекции не имели абсолютно никакого научного значения, но именно эти яркие впечатления подготовили мой ум к занятиям уже настоящей наукой о насекомых, называемой энтомологией, и тем её разделам, которые больше всего меня интересовали — лепидоптерологией, то есть наука о бабочках". Позже, когда он стал учеником Каменец-Подольской гимназии, в круг его увлечений вошли ещё и физика с математикой.



Все, включая самого Николая, представляли его судьбу как учёного-путешественника. “Директор гимназии, вручая мне аттестат зрелости с золотой медалью, сказал: “Ну а Вам, Раевский, желаю двигать науку вперёд”. Вскоре, став студентом Петербургского университета, он с увлечением погружается в научное естествознание. Но события первой мировой войны заставили Николая Раевского изменить своему биологическому призванию.

“Так как объявленной в это время мобилизации студентов я не подлежал, она касалась только первокурсников, а я уже был на третьем курсе, то решил добровольно поступить в Михайловское артиллерийское училище с тем, чтобы, пройдя ускоренный курс, отправиться на войну... Откуда взялась во мне страсть военного человека — не могу понять до сих пор. Как бы там ни было, я почувствовал, что не смогу уже быть в стороне от великих, как мне казалось тогда, событий...”. Он выдержал строгий конкурсный отбор, который был при поступлении, несмотря на военное время. В память 1916 году подпоручик Раевский отправляется на фронт. Сначала на Южный, затем в распоряжение командования Юго-Западным фронтом. Своё первое боевое крещение он получил во время знаменитого “брусиловского прорыва”. Как это у Поэта?

*Всё будет ново мне: простая сень шатра,
Огни врагов, их чуждое взыванье,
Вечерний барабан, гром пушек, визг ядра
И смерти грозной ожиданье.*

(А. С. Пушкин “Война”, 1822 г.)

Дата 4 июня 2006 года ознаменована девяностолетием этой героической победы. Самой яркой страницы первой мировой войны, которая ещё раз утвердила на века мужество и стойкость русского солдата, прославившего полководческий дар командующего Юго-Западным фронтом генерала Алексея Алексевича Брусилова. И Н. А. Раевский был, пожалуй, одним из последних её очевидцев: “Начался этот необычный манёвр мощной артиллерийской подготовкой. Длилась она почти двое суток. В итоге за первые три дня наступления войска Брусилова достигли крупного, уже забытого на русском фронте, успеха. Особенно заметным он был в полосе наступления восьмой армии. На направлении главного удара неприятельский фронт был прорван на протяжении около 10 вёрст, и наши войска сразу же углубились вёрст на 30. О таком размахе союзники России на Западном фронте и мечтать не могли — они надолго увязли в Верденской мясорубке... В плен было взято в самом начале операции девятьсот австрийских офицеров и сорок тысяч рядовых, больше семидесяти орудий, около полутораста пулемётов... С каждым днём число пленённых и трофеев росло. Все поздравляли Брусилова — от русских крестьян и рабочих до английского посла. Но только через несколько дней пришла телеграмма от царя, и была она сухой и казённой...”.

Войну он окончил опытным боевым офицером, командиром батареи, был представлен к награде. Но его мечте о дальнейшей военной карьере и службе в Генеральном штабе не суждено было сбыться. Оказавшись в лабиринте исторических событий того времени, Раевский был вынужден принимать решения, от которых зависела не только его личная судьба. “Я один из очень-очень многих людей нашего поколения, которым именно в молодости приходилось сплошь да рядом брать на себя ответственность не по годам...”. В своём дневнике, который позже уже в Алма-Ате будет опубликован как мемуары “Тысяча девятьсот восемнадцатый год”, двадцатитрёхлетний Николай Раевский запишет: “Большевистский переворот



застал нас на Румынском фронте. Как и в большинстве артиллерийских частей, расформирование батареи проходило спокойно. Никаким оскорблениям мы, офицеры, не подвергались, но, тем не менее, моральное наше состояние было ужасное. Армия умирала. Россия разваливалась”.

Он примет решение. Вступив, в отличие от своих братьев, в Добровольческую армию, Николай Раевский останется верен белому движению. Не дай Бог ещё хоть раз кому-то пройти через жернова такого выбора и мучительно пытаться понять, правильным ли он был? “У многих из нас, бывших офицеров, была уверенность, что защищаем мы не только свой классовый интерес, а Родину, Россию, её великую культуру...”.

Его “Добровольцы. Повесть крымских дней” не просто честный рассказ о судьбе армии Врангеля, но картины ломающей сознание трагедии, выписанные судьбами отдельных людей, судьбой самого автора.

“... Катится железное колесо и давит нас одного за другим. Оно немолимо и слепо и никому не остановить его бега и не изменить пути его. Наскочит — раздавит.

... Чем они, в конце концов, виноваты, бедные?.. Разве только тем, что родились не вовремя... как раз тогда, когда колесо сорвалось и покатилося. Одна надежда, что мимо прокатится. Или нам надо бежать...”.

В 1921 году капитан Раевский в составе разбитой армии Врангеля покидает Россию... Греция, Болгария, Чехословакия...

А город у подножия Тянь-Шаня, получив уже имя, которое гораздо позднее станет для Николая Алексеевича Раевского значимым и дорогим — Алма-Ата, словно человек, попавший в эпохальный водоворот, почти полностью разрушается страшным селевым потоком. Это станет началом его активного строительства.

В 30 лет оказавшись в Праге, Николай Раевский становится студентом естественного факультета знаменитого Карлова университета. Нужно было учиться жить снова... Он с глубоким интересом и серьёзным отношением принимается за разработку очень сложной биологической проблемы. Одновременно с университетским он проходит трёхгодичный курс литературной секции Французского института имени Эрнеста Дени. “Здесь, в аудитории института, начинается моё увлечение литературным творчеством, здесь сделал я первые шаги в том деле, которое вскоре стало единственным смыслом моей жизни”. Окончив институт, Раевский получает премию за конкурсное сочинение о французском классицизме, которую потратит на исследовательскую поездку в Париж.

Вернувшись в Прагу, он продолжает свои исследования по биологии, пока октябрьским вечером 1928 года не происходит событие, перевернувшее всю его судьбу. Он заболевает... На всю жизнь... Пушкиным...

Заведующая одной из пражских библиотек, завсегдаем которой он был, зная круг его интересов, предложила Николаю Алексеевичу два тома писем Пушкина под редакцией Модзалевских. “До этого дня я любил Пушкина честной, не формальной, любовью. Но с совершенным равнодушием относился к вопросам научного пушкиноведения и на эту тему ничего ещё не прочёл”.

Дома он читал всю ночь, а утром, по дороге в университет, ловил себя на том, что все мысли его захвачены Пушкиным. Не его стихами, а им самим — человеком, который творил прекрасные стихи. Жил. Любил. Страдал... “Человек, рождённый не для житейского волнения, не для корысти, не для битв, а для вдохновения, для звуков сладких и молитв — и вдруг эти



неоднократные попытки стать военным. Пушкин, весь полный противоречий, а точнее, само противоречие, но уже не мрамор, не бронзовая фигура, а живой человек, не до конца понятый, полный загадок, стал для меня вдруг таким близким, таким родным”.

В душе талантливого ученого-биолога Раевского происходила серьезная внутренняя борьба: зоология или пушкиноведение? И всё же диссертацию он защитил, и вместе с дипломом доктора естественных наук получил почётное предложение опубликовать её в трудах Чехословацкой Академии наук и искусств. Но он отказался и от этого лестного предложения, и от места, занимаемого в лаборатории. “Теперь я был душевно свободен и сказал себе: — “Довольно зоологии, да здравствует Пушкин!”.

Тему, над которой начал свою работу Николай Алексеевич, тщательно изучая не только тексты Пушкина, но и очень богатую чешскую пушкиниану, он определил для себя как “Пушкин и война”. Она в имеющихся в Праге изданиях была едва затронута и носила лишь характер отрывочных суждений. Н. Раевский не мог понять, почему же нет монографии на эту тему? И только со временем, кропотливо собирая и анализируя материалы, он понял, что написать её мог бы только опытный пушкинист, хорошо знакомый с военным делом. “В противном случае пострадает либо Пушкин, либо изображение войны”. Позже Николай Алексеевич обратил внимание на одну совершенно забытую обзорную статью генерала А. Михневича “Пушкин, как военный писатель”, взгляды которого он разделял (когда у него появится возможность работать с материалами в Пушкинском Доме, Раевский с сожалением отметит тот факт, что в архивах этого института такой статьи нет). Михневич считал Пушкина не только великим поэтом, но и великим патриотом и воспитателем молодёжи в патриотическом духе. Как перекликался, как был близок Раевскому пушкинский патриотизм... Эта статья станет для него настоящей поддержкой и стимулом в дальнейших поисках, потому что найдутся люди, для которых такая тема покажется совершенно неприемлемой.

В это же время, обретя уже статус столицы, Алма-Ата получает в подарок от Ильясa Джансугурова ещё один, после переведённой М. Бекимовым “Капитанской дочки”, полный перевод на казахский язык “Евгения Онегина”. Хотя в раздолье казахских степей уже давно звучал этот роман, талантливо пересказанный Абаем, который стал и автором мелодии на письмо Татьяны к Онегину.

Круг пушкинологических исследований Н. А. Раевского постепенно расширялся, далеко не ограничиваясь только темой “Пушкин и война”, несмотря на то, что вынужден заниматься профессиональными переводами по медицине и биологии, с чешского на французский. Однажды, случайно, Раевский узнаёт, что где-то в Словакии живёт дочь Александры Николаевны Гончаровой, свояченицы А. С. Пушкина, в замужестве Фогель фон Фризенгоф. Тщательно и настойчиво начнёт он свои поиски ближайшего окружения поэта. Конечно же, Николай Алексеевич понимал, что документы, касающиеся жизни Пушкина, в том числе и его переписка, могут находиться только у особ титулованных и богатых, поэтому для поиска ему необходимы были связи, позволявшие получить рекомендации в этом обществе.

“Мне удалось, живя за границей, завязать ряд знакомств в той среде, к представителям которой попали пушкинские материалы. Я считал, что, разыскивая их, по мере сил выполняю свой долг перед русской культурой, перед светлой памятью гения, так рано ушедшего от нас...”.



Здесь началась и его дружба с семьёй Набоковых, а некоторое время спустя и личное знакомство с уже известным в ту пору писателем, приехавшим из Америки навестить родных. “С Владимиром Владимировичем Набоковым я познакомился в Праге в начале тридцатых годов... Живю помню нашу первую встречу. Она была посвящена Пушкину. Я решил показать дорогому гостю очень интересную выставку “Пушкин и его время”, организованную художником Николаем Васильевичем Зарецким. Этот пушкинист-любитель собрал очень интересные иконографические материалы, среди которых было немало доселе неопубликованных новинок. Зарецкий использовал малоизвестные материалы, хранившиеся у потомков младшего сына поэта, Григория Григорьевича Пушкина. Выставка была размещена в витринах Государственной публичной библиотеки”.

Их связывали не только литературные интересы (Н. Раевский, ещё до личной встречи, переписывался с Набоковым, и Владимир Владимирович очень лестно отозвался о содержании и стиле его автобиографической повести “Добровольцы”), но и с детства любимые обоими бабочки. Оба при встрече, как самозабвенный чудак-энтомолог — герой повести Набокова “Пильграм”, они с удовольствием вслух предавались мечтам о путешествии в недоступные для них тропики.

Их связывала и безграничная, щемлящая любовь к Родине. Любовь людей, оторванных от неё и нестерпимо тоскующих...

*Наш дом на чужбине случайной,
где мирен изгнанника сон,
как ветром, как морем, как тайной,
Россией всегда окружён.*

(В. Набоков “Родина”, 1927 г.)

Они переписывались до самой кончины Владимира Владимировича. “Набоков ушёл в историю как единственный русско-английский писатель, но моя память сохранила всё же его образ как писателя чисто русского, убеждённо русского. В его романах чувствуется, что автор горячо и действительно любит Россию... Я знал о Набокове, что он в принципе был против революции, считал, что Россия должна развиваться без потрясений, эволюционным путём. Думаю, что из этих же соображений он был против вооружённой контрреволюции, которая, как и революция, сопрождалась обильным кровопролитием...”.

Именно Пушкин, его личная, творческая судьба помогали Николаю Раевскому ощущать за границей связь с Родиной, выйти из духовного тупика, как он позже напишет сестре, “не впасть в ничтожество”.

Он продолжил исследования пушкинианы. И в 1937 году, к празднованию столетия со дня смерти поэта, Раевский, обобщив собранные материалы, делает двухчасовой доклад на тему “Пушкин и война” перед квалифицированной аудиторией, где присутствовали не только русские, но и французы, и чехи, знавшие русский язык. “Моё первое выступление по Пушкину вызвало оживлённый интерес, может быть, отчасти и потому, что возможность мировой войны становилась всё более ясной. И внимание к вопросам войны и мира обострилось решительно у всех. Пушкин верил, что через сто лет армии не будет, но, увы...”.

К юбилейной дате в Алма-Ате выходит постановление о присвоении Государственной библиотеке имени Пушкина. Издаётся трёхтомное собрание сочинений А. С. Пушкина на казахском языке.



Город, как и всё огромное советское государство, обретает страшный символ времени — “чёрный воронок”.

В далёкой Праге Николай Раевский так и не узнает (он сознательно не ведёт переписку с родными) о том, что младший его брат Алексей — убеждённый борец за Советскую власть, в этот год будет расстрелян, а любимая сестра Соня после ареста выслана вместе с мамой на поселение в Караганду...

Постепенно круг исследований по Пушкину заметно расширяется. И у Раевского появляется надежда найти архив супругов графини и графа Фикельмон, которым посвятил он в дальнейшем более двадцати лет, собирая все возможные материалы. Кроме того, поиски дочери Александры Фогель фон Фризенгоф увенчались успехом, и судьба привела его в словацкий замок Бродяны. “По одноколейной дороге среди гор полупустой поезд медленно тащится на восток к долине реки Нитры, где и стоит замок Александры Николаевны. Отсюда ещё очень далеко до России, но словацкие женщины, куда больше похожи на русских, чем чешки. Моя соседка распеленала ребёнка, целует его и совсем по-русски говорит: “Душенька”...

Не без волнения я переступаю порог замка, в котором десятки лет жила и закончила свои дни баронесса, в прошлом Азя Гончарова. Что-то я увижу здесь?..

Итак, архива я не видел и ничего определённого о нём сказать не могу. Зато портретов, рисунков, мемориальных вещей, в то время никому не известных, я увидел множество... Поэт Владислав Ходасевич, которому я сообщил о результатах поездки в Бродяны, написал мне, что я нашёл клад”.

Знакомство с обитателями замка и никем до него не исследованными материалами станут началом его первой книги о Пушкине.

Вторжение фашистов в Чехословакию сделало невозможной следующую поездку в Бродяны и визит к потомкам графини Фикельмон, поэтому Раевский составляет биографические заметки, занимаясь темой “Пушкин в Эрзрумском походе”. Большая часть работы была завершена, когда Николай Раевский, в числе сорока шести человек, как считалось, небезопасных для гитлеровской Германии, был арестован.

“Продержав меня два с половиной месяца в тюрьме, гестапо, очевидно, решило, что для победоносного в то время третьего рейха этот русский литератор не столь уж опасен. Меня поэтому выпустили на свободу, но взяли подписку о невыезде из Праги. Немцы, к счастью, не знали, что я некоторое время тому назад написал не очень безопасную статью для французского журнала, издававшегося в Праге. В числе немногих я ясно понимал, что Чехословакия предана. Я подробно записал свои переживания тех дней, когда Бенешу не оставалось ничего другого, как подчиниться диктату западных держав. Несколько десятков страниц моего дневника я перевёл на французский язык и озаглавил этот отрывок “Пражской войны не будет”. По аналогии с известной драмой Жироу “Троянской войны не будет”.

Я закончил свою статью, вернее, серию выдержек из своего дневника короткой фразой: “Мне стыдно!”. (Через 41 год, приехав в Чехословакию, он узнает, что его помнят не только как писателя, чей творческий путь начинался здесь, но и как патриота этой много пережившей страны).

Все военные годы, зарабатывая на жизнь уроками французского и русского языков, Раевский продолжает свои исследования по Пушкину, с большим трудом получив разрешение в Пражской библиотеке на пользование

научной литературой, изданной в СССР. Ему приходилось работать даже под надзором.

Все свои рукописи и другие, наработанные по исследованиям материалы, особо редкие книги и художественные переводы Клоделя, Жироду, Тагора он передал надёжным людям и в университетскую библиотеку, когда стало ясно, что в скором времени в Праге начнутся бои.

Алма-Ата военных лет становится научным и культурным центром эвакуации. Сюда переедут киностудии “Мосфильм” и “Ленфильм”. Здесь живут и работают писатели К. Паустовский, В. Луговской, С. Маршак, А. Толстой, М. Зощенко, С. Михалков, О. Форш и ещё около ста писателей из России, Украины, Белоруссии. Артисты М. Жаров, Н. Черкасов, Б. Чирков, Н. Сац, кинорежиссер Сергей Эйзенштейн и многие другие.

Учёными, вместе с производственниками, внедряются десятки предложений оборонного и народнохозяйственного значения. В Алма-Ате трудятся учёные с мировым именем И. П. Бардин, В. И. Вернадский, Л. С. Берг, Г. Ш. Лифшиц, Н. Ф. Гамалея, Н. В. Цицин, С. Г. Струминин, Л. М. Мандельштам, С. Е. Малов и ещё целая плеяда представителей научной элиты.

В Государственной библиотеке им. А. С. Пушкина сотрудниками эвакуированного из Москвы института истории Никитиной и Дружининым создаётся фундаментальная научная работа по “Истории Казахской ССР”. Позже в Алма-Ате вышла книга с таким названием. Она была первой среди подобных, созданных во время войны.

За долгожданной победой — новый арест. Теперь посадили свои... “За сотрудничество с мировой буржуазией”... И опять его “спасёт Пушкин”... Председатель суда военного трибунала, полковник, оказался пушкинистом-любителем. Николай Раевский получил самый маленький срок — пять лет. Сначала лагерь, затем поселение. Случай помог ему передать из лагеря пакет с описанием пражских исследований в Пушкинский Дом. Позже он напишет сестре из ссылки: “Я рад, что пакет не бросили в печку, а доставили по адресу”. И тогда институт литературы официально обратился к одному важному лицу, обосновывая своё ходатайство тем, что материалы Николая Алексеевича Раевского имеют важное научное и общенациональное значение. До сих пор в архиве Пушкинского Дома хранится копия этого письма.

Местом ссылки выбирает он Минусинск, зная, что там находится известный далеко за пределами России краеведческий музей имени Н. М. Мартыанова. А при нём есть самая богатая в Сибири, после Томского университета, библиотека. Но возобновить работу по Пушкину ему всё-таки не удаётся. Поэтому свою неудержимую тягу к перу он посвящает повести-сказке для взрослых “Джафар и Джан”, с присущей ему тщательностью изучая древнеарабскую литературу. Ему удаётся писать лишь после длинного рабочего дня. На купленных по случаю бумажных обрезках создавая прекрасные картины любви между арабской красавицей-принцессой и пастухом-музыкантом. Закончив одну повесть, он тут же принимается за другую, посвящённую древнегреческому поэту Феокриту. Чтобы познакомиться с творчеством поэта, Николай Алексеевич делает заказ в библиотеку имени Ленина. Оттуда ему вместе с единственным полным русским переводом присылают также и английский издание с обширными комментариями. Помогало в работе над повестью и его давнее пражское



увлечение древнегреческой философией. В далёкой холодной Сибири, где и чернил-то достать было нельзя, потому что всё леденело от стужи, рождались сочные пейзажи греческой идиллии.

“... Уже началось знойное лето. Здесь, в горах, была поздняя весна, хотя солнце палило так же жарко, как и на равнине. Но зелень высоких дубов не успела ещё потемнеть, кроны не пропускали солнечные лучи, а густая невысокая трава была усеяна белыми брызгами анемонов. Где осталось побольше влаги, цвели низкорослые лиловые ирисы, гиацинты и нежно-розовые крапчатые лилии”.

В Минусинске начнётся его переписка с единственной из всей семьи оставшейся в живых сестрой Соней. В письмах к ней он искусно прятал среди будничных событий рассказы обо всём, чем жил все предыдущие годы.

Работал Николай Алексеевич в больничной лаборатории, брал кровь на анализы. “Я единственный лаборант с учёной степенью в районной лаборатории, на всём огромном пространстве от Ледовитого океана до Монголии”, — напишет он чуть позже Соне в Караганду. Из одного поселения — в другое... И на этом поприще он проявит большую ответственность и талант учёного, применив к исследованию анализа крови знания по теории вероятности, с которой познакомился ещё в артиллерийском училище. Это спасёт не одну человеческую жизнь.

Ежедневно, три часа в день, посвящал Николай Алексеевич и работе в музее, делая описание богатейших коллекций по зоологии и ботанике. Из-за музея Н. А. Раевский добровольно продлит свою ссылку ещё на восемь лет. Двадцать пять тысяч ботанических и восемь с половиной тысяч зоологических объектов им будет приведено в порядок... И снова вспоминаются известные строчки:

*Во глубине сибирских руд
Храните гордое терпенье...*

1954 год был памятным для Алма-Аты празднованием столетнего юбилея. Молодая столица активно растёт, в ней кроме жилых зданий появятся Дом правительства, главный корпус Академии наук Казахстана, Центральный стадион, ставшие архитектурной достопримечательностью города. В столице работает более ста школ, свыше десяти вузов и около трёхсот библиотек.

Наконец Н. А. Раевский получает долгожданную возможность приехать к сестре в Караганду. Его так обрадовала их встреча и разговоры, разговоры... Уже по возвращении Николай Алексеевич напишет сестре: “Пятнадцать дней, проведённых у тебя, были чудесной моральной ванной из ободряющей воды. Только выходить из неё было грустно. Да и сейчас грустно, что мы снова расстались. Но теперь я вижу перед собой не воображаемую Соню, а тебя настоящую, живую, с милыми твоими морщинками и усталым лицом”...

После свидания с сестрой в жизни Николая Раевского произошла ещё одна очень судьбоносная встреча — первое свидание с Городом... Так опишет он его в письме: “Чем ближе к Тянь-Шаню, тем живее становится природа, а у самой Алма-Аты — богатейшие поля, колонны пирамидальных тополей, и всё это на фоне чудесных гор с заснеженными вершинами. Очарование, да и только...”

Ночи в Алма-Ате мне напомнили Грецию — такая же ласковая теплынь, какую я описываю в “Днях Феокрита”. Город совершенно удивительный —



сплошной старинный парк — гигантские пирамидальные тополя, дубы, лет по восемьдесят-девяносто, акации и разные другие деревья, которые я уже не надеялся когда-либо увидеть. Здания невысокие из-за землетрясений — всего два-три этажа, так что их порой и не видно в этом удивительном парке. дождей не было давным-давно, листва, к сожалению, пыльная, но растёт всё буйно, роскошно, стремительно, потому что воды сколько угодно. Вдоль улиц бегут арки — поливай сколько хочешь. Ты знаешь, я помню цветники царских резиденций, видел цветы Версаля, Праги, разных чешских магнатов, но Алма-Ата в этом отношении... Площадь цветов в центре города и главный цветник городского парка совершенно изумительны. Есть в городе красивые здания (например, театр оперы). Но, в общем, растительность преобладает над архитектурой. Я рад, что наконец-то увидел нечто подлинное".

Пройдёт ещё пять лет, прежде чем Николай Алексеевич Раевский переедет в Алма-Ату. За год до этого он, после сорокасемилетней разлуки, побывает в Москве и лично познакомится с известной пушкинисткой Татьяной Цявловской, с которой переписывался несколько лет, и профессором Грабарь-Пассек. А потом и в Ленинграде в институте русской литературы Академии наук. Там Николаем Васильевичем Измайловым он будет представлен всем сотрудникам Пушкинского Дома, где станет всегда желанным гостем...

В Алма-Ате Николай Алексеевич работает в институте клинической и экспериментальной хирургии, составляя обширную библиографию работ по щитовидной железе на восьми иностранных языках и выполняя переводы научных статей с французского, английского, чешского и других языков по разным разделам медицины. Осуществляя идею Александра Николаевича Сызганова, под руководством которого работал Раевский, он создаёт музей по истории хирургии Казахстана, занимается подготовкой и составлением сборника очерков по истории хирургии.

Получив возможность пользоваться обширными пушкинскими фондами богатейших алма-атинских библиотек, он погружается в работу над своей книгой о Пушкине "Если заговорят портреты". Её в сокращении публикует журнал "Простор". На следующий год в издательстве "Жазушы" будет издана полная версия первой книги Николая Раевского. Она вызовет большой интерес у читателей, и автор получит тысячи откликов не только из разных уголков огромной тогда страны, но и из-за границы. Закончив первую, Раевский сразу же приступит к новой рукописи. Десять лет работал он над следующей книгой, имея теперь уже возможность более детально изучить свои пражские находки. Первооткрыватель дневника графини Долли и письма Пушкина к Долли Фикельмон, Н. А. Раевский живо и интересно делится с читателями подробностями жизни пушкинского окружения, безусловно, влиявшего и на судьбу поэта. Вторая книга "Портреты заговорили" имела ещё больший резонанс. Она дважды переиздавалась, была переведена на иностранные языки. Вышла более чем полуторамиллионным тиражом. И к автору полетели от благодарных читателей письма, письма, письма... Одно из них было от родной внучки Павла Воиновича Нащокина — Веры Андреевны, которая прислала Николаю Алексеевичу ещё не опубликованные ранее материалы о своём дедушке. Это стало предтечей ещё одной книги Раевского "Друг Пушкина Павел Воинович Нащокин". Первое издание книги было в Ленинграде в



издательстве “Наука”. Позже она войдёт в однотомник избранных произведений Н. А. Раевского, изданный в Алма-Ате тиражом в семьсот тысяч экземпляров.

Но, как это часто бывает, находились и те, кого не оставляли сомнения.

“Неужели где-то в далёкой Алма-Ате можно написать что-то новое о Пушкине?”. На этот счёт, наверное, будут интересны мнения некоторых специалистов и коллег Николая Алексеевича.

Доктор филологических наук Сергей Иванович Фомичёв: “Николай Алексеевич прочно связан с нашим Пушкинским Домом. Он давно начал с нами творческую переписку. Есть у нас уже и фонд Раевского. Третья его пушкиноведческая книга о Павле Воиновиче Нащокине, ближайшем друге Пушкина, вышла в издании Академии наук под наблюдением, так сказать, Пушкинского Дома... Что самое интересное, именно его книги подняли новую волну интереса к Пушкину, которая характерна для наших дней...”.

Доктор филологических наук, ленинградский профессор Борис Бурсов: “С Николая Алексеевича Раевского начинается новая отметка в движении нашего пушкиноведения за многие десятки лет... Я не скажу, что его работа самая выдающаяся, но это самая живая работа. А может быть, самая живая работа — это и есть самая выдающаяся работа? Его книга “Портреты заговорили” приобрела огромную известность и популярность, привила особый вкус читателю... Её популяризаторское значение трудно оценить. Несомненно, она сыграла свою роль и в смысле уточнения, изменения, появления каких-то новых веяний в пушкиноведении. Всё-таки пушкиноведение наше по традиции было какое-то закоряженное. Всё это было каким-то казённым делом. Факты они, конечно, тоже нужны, но как не хватало нам живого восприятия Пушкина, самого Пушкина”.

Писатель Олег Михайлов: “В чём же его успех, откуда такая популярность, почему нам так интересны книги Раевского о Пушкине? Почему они нас так волнуют? Ведь, казалось бы, в них речь идёт о лицах, пожалуй, второстепенных. Однако когда вчитываешься, строка за строкой пропускаешь их через себя, то вдруг начинаешь понимать, что в них есть тот самый “эффект присутствия”, без которого нет правды. Раевский как бы участник тех событий, о которых пишет. Жизнь его самого, словно часть той эстафеты, с помощью которой перенимаем мы понимание прошлого. Наконец, это исключительно добросовестный учёный-биолог, перенёсший свой метод в научное пушкиноведение... К тому же он — поэт, интерпретатор, блестяще справившийся с переводами выдающихся французских поэтов. Это человек необыкновенного артистизма, который проявляется во всём, в общении, в его живости, в его русском добром широком характере. В жизни Николай Алексеевич пленителен, как те герои, о которых он говорит. В его словах нет фальши...”.

Думаю, что Н. А. Раевскому А. С. Пушкин помог ощутить (как когда-то, по признанию самого Пушкина, Денис Давыдов дал ему “почувствовать, что можно быть оригинальным”) необходимость нетрадиционного жанра изложения своих исследований. Чтобы сделать их доступными не только узкому кругу специалистов. Это и стало секретом их чрезвычайной популярности, дало возможность многим людям узнать и полюбить не только Пушкина поэта, но и человека.



Позже в Алма-Ате издательством “Жазушы” сотысячным тиражом издаются повести “Джафар и Джан” и “Последняя любовь поэта”, рукописи которых ждали своего часа. Они тоже будут несколько раз переизданы у нас и за рубежом. Переведены на казахский и иностранные языки.

Но Пушкин до последних дней будет

оставаться предметом его пристального внимания. Тема, с которой когда-то началась пушкиниана Раевского — “Пушкин и война”, легла в основу его новой книги “Жизнь за Отечество”, которую, к сожалению, он так и не успел закончить. Перед тем как подробно остановиться на тех эпизодах жизни поэта, когда он вплотную соприкоснулся с войной, Раевский обращается к родословной поэта и влиянию на него военных друзей и знакомых, окружавших его.

Изучая библиотеку поэта, Раевский анализирует содержание литературы на военную тему и находит подтверждение тому, что Пушкин не только живо интересовался, но и подробно изучал её. Об этом свидетельствуют и поездка самого Пушкина в Оренбург и Уральск перед описанием “Истории Пугачёва”, и среди других книг редкие издания приятеля поэта А. И. Левшина, одно из которых “Описание киргиз-казацких или киргиз-кайсацких орд и степей” (1832 г.). Выписки из этой книги, ещё до её выхода в свет, Пушкин опубликовал в “Литературной газете”. Эта редкая книга хранится и в фонде Национальной библиотеки в Алма-Ате. Являясь важным основополагающим источником, в 1996 году она была переиздана трёхтомником в Казахстане.

Отдельные части книги Н. А. Раевского “Жизнь за Отечество” в разные годы были опубликованы в журнале “Простор”, подтверждая обоснованность взгляда автора на Пушкина, как военного писателя. Её последние главы появились уже когда Николай Алексеевича не стало, как бы завершая неразрывную цепочку его жизненного круга: Раевский — Пушкин — Алма-Ата...

Как же удавалось этому незаурядному человеку совмещать все стороны своей разноплановой деятельности? Сам Николай Алексеевич говорил по этому поводу: “Необходимо три умения. Умение ясно и чётко конкретизировать свою цель, умение чувствовать себя ответственным за исполнение поставленной задачи и умение распорядиться своим временем”.

А в Алма-Ате и сегодня продолжают рождаться литературные произведения и научные труды, вдохновлённые гением великого русского поэта А. С. Пушкина.

Фотографии из архива В. Коренчука.

г. Алматы.



Тургун СЫЗДЫКОВ

Время “канатоходцев”!

*Размышления о демократии, путях её становления
и о политиках новой формации.*

К написанию этой статьи меня подтолкнула публикация Арона Атабека “Что в силах одинокого поэта?” (“Тасжарган” № 2, 1 июня 2006 г.). Я не рафинированный интеллигент и далёк от академических кругов, а отношу себя к читающей публике казахстанской провинции. Не исключаю, что мои, несколько отличающиеся от позиции автора мысли, могут вызвать раздражение некоторой части творческой интеллигенции.

Ничего, кроме глубокого уважения, к А. Атабеку я не имею. Более того, считаю, что он очень талантливый поэт, отважный, искренний человек. Есть все основания надеяться, что в будущем в его лице наш народ обретёт личность, символизирующую нацию, и в сфере творчества, и в сфере политики.

Параметры ныне существующей демократии дают мне право на собственное мнение. Тем более что тон разговора с авторитетами продиктован самим А. Атабеком. Я постараюсь быть более деликатным, чем он.

Есть шутка: “Говорят, вместе со старостью приходит мудрость, но...” — не буду продолжать. Уверен, что Арон Атабек на события давно минувших лет через годы посмотрит несколько по-другому.

Фраза из его работы — “искусство политического канатоходца” показалась мне интересной.

Но, признаться, я в эти слова вкладываю совсем другой, положительный смысл. Автор отождествляет “политическое канатоходство” с конформизмом, беспринципностью, бесхребетностью. Наверное, это имеет место в современной политике, и в немалой степени. Но речь всё же не о людях — носителях этих качеств. Они в политике решают свои вопросы и лоббируют, не гнушаясь никакими средствами, интересы своих кланов. И только. Бог им судья.



**Тургун
Искакович
СЫЗДЫКОВ**

родился 2 августа 1947 года. Начинал трудовую деятельность механизатором совхоза “Червонный” Кокчетавской области. Многие годы работал в комсомольских, партийных, советских органах, главой, акимом района в первые годы становления суверенной государственности. Сейчас работает руководителем аппарата Акмолинского областного маслихата. Живёт в г. Кокшетау. В “Ниве” печатался в 2006 году (в № 5 была помещена его публицистическая статья “Обогатим страсти разумом”).

В отличие от мнения А. Атабека, я считаю, что “политический канатоходец” на современном этапе звучит весомым комплиментом политикам новой формации, смелым, мудрым и, что не менее важно, ответственным. В их числе я вижу и О. Сулейменова, ради которого А. Атабек отбросил “все спешные дела”.

Не каждый поэт может стать хорошим политиком. Это удел только избранных. Богом данные, очень ранимые души поэтов эмоционально выплёскивают свою реакцию на жизнь в форме Правды в первородном одеянии. Вдохновение торопит и не всегда оставляет время соизмерять свои мысли и действия с видимыми и невидимыми политическими потоками, влияющими на жизнь общества. В этом, наверное, нет ничего предосудительного. Особенно эти прекрасные поэтические порывы присущи поре молодости. Да и в почтенном возрасте не каждому дано достичь гармонии поэтического дарования с политической мудростью. Мои скромные познания позволяют вспомнить кроме Олжаса Сулейменова ещё и Фаризу Унгарсынову, Абиша Кекилбаева, Тулегена Мухамеджанова, которые, оставаясь выдающимися творческими людьми, в совершенстве освоили профессию профессионального политика. Путь простят мне другие, кого я не назвал. Я не хотел их обидеть. Конечно, таких людей больше. Как читающий человек, я искренний поклонник многих из них, включая А. Атабека. Но, если не суждено совмещать творчество с политикой, то — оставайся поэтом. Делай хорошо свою работу и тем прославляй Родину. Как у В. Маяковского: “... я буду солнце лить своё, а ты своё — стихами”.

Профессиональному политику, конечно же, поэтический дар только на пользу. Ибо ему не обойтись без присущих такой личности энергии влияния на людей, реакции ума, энциклопедических знаний, обострённого чувства порядочности.

В отличие от “чистых” поэтов, если так можно выразиться, поэты-политики просто не имеют права давать волю эмоциям. Они идут к цели не всегда через эшафоты, пробивая “лбом стены”, самым, кажущимся прямым, путём. У них более прагматичный стиль, не менее продуктивный и полезный для общества. В их профессиональном арсенале нередко чередой натисков сменяются тактическими отходами, уступками с целью избежания полного поражения и подготовки фундамента для грядущих побед — в интересах народа, общества, государства. Они наделены, кроме всего, даром слышать оппонентов, а также считаться с их интересами. Они хотят и умеют вести диалог.

Это именно их с уважением и даже восхищением можно назвать политическими канатоходцами.

Если перейти на образы, то с большой долей уверенности можно утверждать, что время политических фанатов, “камикадзе” проходит.

Задачи построения демократического, сбалансированного по интересам общества требуют совершенно новых подходов. Осуществление их по силам только политикам новой формации как во власти, так и в оппозиции, с Богом в душе, профессионалам, умеющим управлять эмоциями, прагматизм которых, честолюбие не в ущерб высокой нравственности, а любовь к Отчизне — не ширма для маскировки узости мысли и корысти интересов. Они в полной мере способны делать искренние, сознательные шаги навстречу друг другу ради высоких целей: единства, согласия, созидания.

Я осмелился вынести на суд читателя свои размышления по поводу демократии, которая, на мой взгляд, предполагает кропотливую, трудную работу по нахождению баланса интересов между всеми слоями общества. Она же, в свою очередь, невозможна без создания эффективной диалоговой площадки. Реализация этой программы доступна только тем, кто в совершенстве владеет искусством политической дипломатии.

Время “КАНАТОХОДЦЕВ”! Наши сегодняшние проблемы, по большому счёту, наверное, оттого, что их у нас ещё недостаточно. Но они — есть. Их с каждым днём становится всё больше и больше. В конечном счёте, они преумножат наши нынешние достижения, определяют будущее государственности.

Я не претендую на истину в последней инстанции. В СМИ, как правило, по таким вопросам высказываются авторитетные, узнаваемые люди, элита науки и политики. Как-то так сложилось, что “середина” и “низы” больше отмалчиваются. Наверное, это тоже показатель уровня развития гражданского самосознания, степени развития гражданского общества.

Мы (“середина” и “низы”) ближе к простым людям и по характеру повседневного общения, и по работе. Наверное, будет интересно знать вечно “воюющим” политикам о том, что думают об их действиях те, кто чаще всего пожинает плоды этой войны.

Демократия... Кажется, нет прозрачной понятия. Корни её тянутся из глубоких пластов истории человечества. К одним из начальных форм проявления её можно отнести общие сходы наших пращуров, советы вождей общин. Принуждаемые объективной необходимостью вписаться в жестокий мир, объединить усилия в борьбе за выживание в условиях неуправляемой стихии природы и непредсказуемости первобытных взаимоотношений, они заложили поведенческую основу человека разумного, наметили вектор развития цивилизации.

Вождями становились неформальные лидеры, служившие им в силу своего физического превосходства над соплеменниками щитом от многочисленных угроз беспощадного времени. Суровая действительность уже в тех условиях ставила их перед необходимостью соизмерять личные амбиции с интересами рядовых членов общин.

С той далёкой поры берёт начало и “перетягивание каната” между вождями, которые, взвалив на себя бремя ответственности за судьбу своих сородичей, тем не менее не всегда могли устоять перед соблазном использования своего положения для создания выгод себе и окружению. Но они были лидерами. Не боялись принимать решения, нередко судьбоносные для своего народа, были смелы, честолюбивы, могли быть жестокими. Им многое прощалось и прощается. Возможно, за то, что не уходили от ответственности даже тогда, когда ценой её могла быть собственная жизнь. Это они — верстовые столбы истории человечества, символы той или иной эпохи, хвалимые и клеймимые потомками.

Противники вождя и его окружения формировались в оппозицию. “Дремать” в таком соседстве было крайне опасно.

Продолжается это и сегодня. Вечный закон единства и борьбы противоположностей, несущий в себе наряду с проблемами большой позитивный заряд.



Наличие критической массы в лице оппозиции вынуждает власть имущих поступаться своим “эго”, искать баланс интересов в обществе, совершенствовать свою деятельность с целью максимального расширения ресурса самосохранения, социальной опоры среди населения. По большому счёту, это та повседневная, кажущаяся рутинной, работа, формирующая действенный механизм восходящего движения человечества.

Но тут есть необходимость, на мой взгляд, небольшого, но существенного уточнения. Позитивный вектор и темпы этого движения во многом определяются характером взаимодействия оппозиционных составляющих одного и того же целого, одинаково декларирующих, что главное для них — интересы народа.

Выбор непримиримого противостояния, как показывает богатая история человечества, ведёт к расколу общества, нередко к гражданской войне, деморализует население, пагубно влияет на политический вес государства в окружающем мире, снижает созидательный потенциал и ставит под угрозу его существование.

Есть и другой путь, выкристаллизованный из этой же истории, проверенный многовековой практикой международных и межличностных отношений. Он сложный, но более перспективный. Это путь формирования диалоговой площадки, позволяющий политическим силам с разными воззрениями, порой диаметрально противоположными, обрести надежду быть услышанными друг другом, искать и находить взаимоприемлемые решения в интересах собственного народа.

Хорошим примером построения внутривнутриполитических взаимоотношений может служить опыт Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), набирающий международный авторитет, за столом которого ведут диалог лидеры стран, пришедшие к пониманию, что нет альтернативы мирному сотрудничеству, цивилизованному решению имеющихся и возникающих проблем, какой бы сложности они ни были. Инициатором и активным строителем этого важного Совещания является наш Президент, чётко сформулировавший волю своего народа.

Уникальность, новаторство, позитивная сила этого политического института заключается в том, что добровольными членами его пожелали быть — в надежде найти выход из состояния вечной войны такие государства, как Индия и Пакистан, арабские страны и Израиль, народы которых устали от многовекового противостояния.

Нелёгко и, возможно, не так скор начатый процесс. Неимоверно тяжёлые шаги навстречу друг другу. Как и в любом серьёзном деле, он не застрахован от череды взлётов и падений, успехов и неудач. Об этом свидетельствуют последние трагические события на Ближнем Востоке, где клубок противоречий, созданный сплетением интересов многих великих держав, серьёзно обострил и без того сложную ситуацию. Но конечный позитивный итог, на мой взгляд, неизбежен, ибо он заложен в самой природе этого пути, базирующегося на доброй воле.

По инициативе Казахстана — и об этом можно говорить громко, гордо, с достоинством — наша республика стала местом продуктивного диалога мировых и традиционных религий.

Религии, служившие на протяжении многих веков знаменем в войне между народами, как мне представляется, возвращаются к своему изначальному божественному предназначению — сеять, лелеять и выращивать



семена мира, добра и справедливости. Элита служителей веры всей планеты, выражая волю своей паствы, озабоченная судьбой человечества, активно стремится вдохнуть в прагматизм политиков не всегда проявляющуюся духовность.

Эти поистине революционные шаги закладывают новаторскую по форме, планетарную по масштабам, высокодуховную по сути философию жизни, выводят на более совершенную нравственную орбиту международные и межличностные отношения, выдвигая реальную альтернативу мрачным предсказаниям некоторых оракулов современности о фатальной неизбежности столкновения культур, цивилизаций.

Мировое сообщество высоко оценило уникальный казахстанский опыт межэтнического и межконфессионального диалога как эффективный метод достижения высокой цели — духовного единения нации.

Чем не позитивный пример для политиков?

Большой интерес, особенно среди государств постсоветского пространства, проявляется к опыту работы Ассамблеи народов Казахстана, активно влияющей на формирование атмосферы мира и согласия в республике, в которой волею судьбы призваны жить и трудиться люди, принадлежащие к различным нациям, культурам, религиозным конфессиям.

Серьёзным шагом к созданию диалоговой площадки внутри нашего общества является деятельность Государственной комиссии по разработке и конкретизации программы демократических реформ, а также других не менее важных формирований.

Но коэффициент полезного действия мог бы быть гораздо выше, если бы в работе её принимала активное и заинтересованное участие оппозиция.

Мне представляется, что руководство оппозиции допускает серьёзную тактическую ошибку, бойкотируя официальные диалоговые площадки. Из опыта прошлого не извлечены рациональные зёрна. В. И. Ленин сегодня, конечно, не в чести, но почему бы не вспомнить и не использовать порождённую им и проверенную революционной практикой тактику использования любой трибуны, даже самой реакционной, для продвижения своих идей? Ведь диалоговая площадка не только форма поиска компромиссных решений, но и цивилизованный метод пропаганды своих воззрений.

Время революционных переворотов проходит. Цивилизованный мир всё больше не приемлет резких движений в политике. Печальный опыт многих поколений революционеров свидетельствует, что подлинный прогресс возможен только в том случае, если борьба, в первую очередь политическая, будет опираться на разум, а не на силу, и примет форму здоровой конкуренции интеллектов. Ибо в зародыше каждой силовой победы закладывается новая, более разрушительная, более жестокая борьба, ведущая к самоуничтожению.

К зрелому гражданскому обществу нельзя прийти через гражданскую войну. Оно — дитя мира и согласия, по существу олицетворяющее демократию, вокруг которой в обществе столько страстей и которой манипулируют порой не всегда чистоплотно, воюющие стороны, используя её то в качестве меча, то в качестве щита. Да и вообще, война, в какой бы форме она ни выражалась, уже изжила себя как средство решения спорных вопросов.

Позволю себе высказать мнение, что и властным структурам необходимо продолжить переосмысление философии и постоянно корректировать практику взаимодействия с оппозицией. Идеальный вариант —



рассматривать своих политических оппонентов не как врагов, а как партнёров в неимоверно сложной, интеллектуально тонкой работе по формированию гражданского общества.

С оппозицией жить нелегко, но она — важная часть целого. Без неё немыслимо, богатейшее по своему божественному замыслу, гармоничное общество. Только наличие в “политической аптеке” порой не всегда приятных “пилюль” критики способно спасти общество от болезней стагнации, злокачественных образований коррупции, шовинизма, национализма и пр., не создающих авторитет государству, громоздящих барьеры на пути полнокровной мирной, созидательной жизни.

Доверить эту тонкую, можно сказать, ювелирную, работу, можно только личностям, наделённым природным дипломатическим даром понимать оппонента, проявлять уважение к нему, деликатность к его мнению.

Много сил, напряжения, времени потребуется на то, чтобы часть государственных чиновников, компрометирующих власть (а они — есть), избавилась от качеств булгаковского Швондера и чеховского унтера Пришибеева бездарно повелевать людьми. Именно они, утратившие элементарную человеческую скромность, должны спуститься с высот своих зачастую непомерных амбиций, вернуть себе способность понимать, что это высокая честь и трудная работа — служить своему народу, или освободить место более достойным.

Совсем было бы хорошо, если бы стороны научились разговаривать как равные партнёры. Надо признать, что во власти ещё немало чиновников, не всегда умело включающих доверенные им административные ресурсы в борьбу интеллектов, предпочитающих более прямой, более лёгкий путь в решении спорных вопросов, не желающих обременять себя долгими разъяснениями и дискуссиями.

Одним словом, нужно впитать в стиль деятельности и оппозиции, и власти необходимость делать шаги навстречу друг другу, по аналогии с действующей Программой ЕврАзЭС “Десять простых шагов навстречу простым людям”, инициированной нашим Президентом.

Наверное, будет справедливо оговориться, что процесс этот усложняется не однородностью внутри как оппозиции, так и власти по политическим пристрастиям и мотивам своей деятельности. Известная схема: левые, правые, центр не охватывает всего многообразия политической палитры. Нередко активно влияют на формирование политической линии оппонированных сторон крайние, наиболее категоричные фланги.

Одни, утомлённые своим бессилием, грезят “цветными” революциями, ориентируются только на борьбу, только на победу. (Цена для них не всегда имеет значение). И на обломках, руинах обещают построить более совершенное, по их представлениям, общество. Не очень прельщает это простых людей, потому что через эту, ставшую классической, схему история уже проходила, на эти “грабли” мы уже наступали не раз.

Другие, нашедшие свою нишу во власти, имеющие что терять, пытаются использовать в борьбе с оппонентами, не всегда, мягко говоря, корректно, возможности государства, снижая позитивный потенциал диалога.

Они — эти фланги, тоже неотъемлемая часть нашей человеческой природы. И относиться к ним надо без лишней nervousности. Наверное, несколько успокоит нас признание определённой полезности их для выявления, в азарте борьбы болевых точек, “нарывов” общества. Признавая



их как объективную реальность, тем не менее не следует им отдавать политическую инициативу, так как навязываемые ими стахановские методы решения проблем нередко создают в обществе патовую ситуацию, которая нередко служит поводом для гражданского противостояния.

Наличие этих крайностей — ещё один весомый аргумент в пользу формирования эффективной диалоговой площадки с целью сближения позиций между оппонентами, предоставления возможности народу взглянуть подлинных своих радетелей, а также создания мощного “центра”, способного аккумулировать интересы абсолютного большинства населения и организовать их на созидание.

Возьму на себя смелость предположить, что “ястребы” от оппозиции и власти — при всех политических и чисто человеческих антипатиях друг к другу — смыкаются в одном: компрометируют власть. И не сразу разобраться, кто этим занимается успешнее.

Не отвергая другие многочисленные формы взаимодействия, всё же хотелось бы подчеркнуть отсутствие альтернативы “стола переговоров” равных партнёров, говорящих от имени народа. Сверка позиций, цивилизованное столкновение мнений — необходимое условие для приближения к истине, выработки и принятия выверенных, оптимальных политических решений. Они способствуют формированию своеобразного Каталога мер доверия внутри государства (по аналогу с СВМДА) между различными социальными слоями общества, позволяющего говорить об искреннем стремлении сторон к совершенному гражданскому обществу, подлинной демократии, где умный и сильный народ одинаково достоин сильной, умной власти и такой же оппозиции.

Демократия, в политическом смысле этого слова, — это реализация принципов народовластия. Споры о природе её, темпах и путях внедрения в жизнь нашего общества становятся всё жарче, непримиримее и нередко используются как козырные аргументы в борьбе за власть.

Мне ближе позиция тех, кто рассматривает демократию в качестве индикатора зрелости гражданского общества, производной которого она является. Её нельзя ввести декретом, огульным экспортом чужого опыта. Она должна вызреть в умах, сердцах граждан, а затем стать иммунной системой государства, в котором и власть, и граждане одинаково ответственны за свои поступки и действия, одинаково подотчётны и подсудны ей.

Иммунитет этому обществу обеспечивают наряду с высоким гражданским сознанием совершенные законы, чётко действующие механизмы их применения. Человеку гарантирована абсолютная свобода, но, что очень важно подчеркнуть, в пределах добровольно обозначенного правового поля. Каждый гражданин, голосуя прямо или косвенно за те или иные законы, сознательно соглашается на ограничение части своих свобод, могущих создать неудобства окружающим, нанести вред общественным интересам.

К примеру, многие наши беды, надо признать, происходят оттого, что не всегда можем обуздать свободу своих капризов, недомыслия, амбиций, собственного самомнения, жузового и чиновничьего чванства, не самых лучших природных инстинктов и т. д., в природе которых отсутствует позитив. “Зелёный свет” вседозволенности, бездуховности, стяжательству и прочим порокам — это, на мой взгляд, путь к деградации,



потере позитивных качеств человека, а через него к разложению и даже к самоуничтожению общества.

Каждый народ, каждое государство заслуживает того уровня демократии, насколько развиты гражданские отношения. Им соответствует качество власти и оппозиции. И обижаться на эти слова не следует. Идёт неимоверно сложный процесс перестройки сознания каждого гражданина, сопровождающийся болезненной ломкой стереотипов мышления, в целом мировоззрения, сформированного принципами прежней социально-экономической формации. Своеобразный ДЖИХАД внутри каждого человека. Это, по моему мнению, единственная война, которая имеет право быть. Требуется немало времени, чтобы вытравить из природы человека страх перед системой в лице государства — результат почти восьмидесятилетнего зомбирования иезуитскими методами под лозунгом построения суперсправедливого общества сродни библейскому раю, доведения до абсурда вполне приличной идеи, перекликающейся с вековой мечтой человечества. Только победив в этой внутренней войне, раскроется человек, почувствует гражданскую ответственность за страну, за народ, начнёт думать, говорить, действовать без страха, сообразно своей гражданской позиции.

Признавая наличие универсальных для всех народов демократических ценностей, мы должны иметь в виду, что вызовы эпохи, историческое окружение, традиции, обычаи, нравы и многие другие факторы определяют особенности сложного процесса становления гражданского общества в каждом отдельно взятом государстве.

Обратимся к некоторым примерам из истории.

Выше уже упоминалось о примитивной демократии наших пращуров. Вместе с развитием человека, человечества обогащалась и демократия. К примеру, высшим органом римской государственности (VI век до н. э.) было народное собрание, которое формировало Совет старейшин и Сенат до 300 человек. В свою очередь, повседневные дела делегировались Высшему Магистрату в лице претора (идущий впереди) и его заместителя — квестора. Опасность коррупции, злоупотребление властью, по-видимому, имели место и в те далёкие времена. Об этом свидетельствует то, что эти должностные лица ежегодно переизбирались. Следующим шагом римской демократии стало избрание уже двух преторов с равными полномочиями.

Была ли это демократия? Да, была. Своеобразная и довольно совершенная для той эпохи. Но эта демократия служила только патрициям. Мы не вправе с высоты сегодняшнего дня развенчивать её. Она отвечала духу своего времени и степени развития гражданского общества, ограниченного рамками того исторического сознания. Может быть, в качестве урока истории нам полезно будет знать, что исторически предопределённая неспособность патрициев и плебеев, равно как и других поколений противоборствующих сторон, внутри этой государственности сесть за стол переговоров и найти верные решения; консерватизм, инертность их мышления внесли существенную лепту в последующий развал империи.

Интересные факты есть и в нашей отечественной истории. Одной из особенностей степной демократии прошлого являлось то, что ханом казахов мог быть избран только потомственный чингизид, торе. Но этот акт был всегда под контролем судей-биев и полководцев-батыров, пользовавшихся абсолютным доверием своих родов, племён, жузов и представлявших их интересы при решении широкого круга судьбоносных вопросов, в



том числе и выборе монарха. Если использовать сегодняшние категории, то их можно было бы приравнять к выборщикам или депутатам. Никто не оспаривает исторический факт, что как раз они “сделали” казахским ханом Аблая, наиболее отличившегося в борьбе с завоевателями и умевшего считаться с интересами всех трёх жузов.

Вообще исторические источники свидетельствуют о том, что в целом казахский народ выигрывал тогда, когда ханы, бии, батыры преодолевали разногласия, интересы жузов, родов подчиняли интересам всего народа. Если говорить сегодняшним языком, то приходили к консенсусу. Не однажды диалог, как форма проявления межжузовой демократии, спасал наш народ от полного уничтожения.

Надо ли доходить до края, чтобы понять, что сила наша в единстве, а единство — это не что иное, как нахождение баланса интересов за столом переговоров?

И это, безусловно, тоже была демократия. Высшая на данной территории, в тот отрезок бесконечного времени, сумевшая обеспечить стабильность и объединить усилия “белой” и “чёрной” кости казахского народа для достойного ответа вызовам своей безжалостной эпохи. Она соответствовала менталитету степных людей и не могла быть другой, так как была производной от философии, образа жизни, обычаев и нравов самобытного гражданского общества. Другие формы демократии вряд ли прижились бы на этой почве. И силовое насаждение этой формы где-то в другом государстве, в другой части континента также не могло иметь успех.

Демократия — это не экспортный материал. Её надо выстрадать. Наряду с предоставляемыми свободами добровольно принять ограничения, необходимые для нормального функционирования общества. Это сознательно принятые нормы общежития, обязательства друг перед другом, которых нужно строго придерживаться, что невозможно без высокой дисциплины и внутренней культуры.

Подлинная демократия возможна только в экономически развитом государстве самодостаточных, культурных, сытых людей. Не противоречит, на мой взгляд, её сути добровольное ограничение части своих свобод, делегирование определённой части своих полномочий власти для оперативного принятия решений в критические для народа, государства моменты истории.

Демократия, в высоком смысле этого слова, должна работать на созидание, на укрепление государства. Если она способствует разрушению, хаосу, анархии, то это уже не демократия.

Совсем вроде бы недавно весь мир рукоплескал киргизскому президенту Акаеву, как самому “продвинутому” политику на постсоветском пространстве в вопросах демократии. Но не подкреплённая экономически, демократия киргизов мутировала в свой антипод, сама не заметив, как перешла грань и трансформировалась в анархию. Прекратились овации, “архитектор” же этой демократии неблагодарно вытолкнут за пределы страны.

В такой ситуации выход, наверное, один: подлинны лидеры должны, подавив страх и сомнения, взять инициативу и ответственность в свои руки и, смело, жёстко, решительно работать на консолидацию здоровых сил общества для вывода страны из кризиса. Кто-то может расценить это как узурпацию власти. Нет. Это больше реализация воли Бога, долга перед историей и народом.



Как бывший руководитель одного из районных Советов народных депутатов, я могу выразить запоздалое восхищение Президенту Н. Назарбаеву за тонкое политическое чутьё и решительность. Советы были сформированы своевременно. Иначе бы “заболтали” перестройку, “расшатали бы” митингами и демонстрациями голодную, холодную страну и, в лучшем случае, затянули бы на долгие годы выход экономики из пропасти. Иначе как божье провидение, расценить это нельзя. Слава Аллаху, не оскудела наша земля, не вырождается наша нация, если в трудную для народа годину выдвигает бесстрашных батыров, подлинных лидеров, которые, взвалив всю ответственность на себя, выводят страну непроторёнными дорогами к достойной жизни. Зная при этом, что на всём пути немало тех, кто с завидной энергией спортивного болельщика будет вести подробный хронометраж ошибок и просчётов — для того чтобы очернить трудную работу первопроходцев.

В слабом государстве не может быть совершенного гражданского общества. Это уже аксиома. В нём выхолащивается суть демократии, атрофируются созидательные функции. Приземлённые цели — добыть хлеб насущный, элементарно выжить, вызванные экономической несостоятельностью государства, сопровождаются нервозностью, агрессией населения, обострением политических, социальных, национальных и других проблем. Нередко страсти подогревают авантюристы от политики, толкающие “донкихотов” на баррикады. Власти, не имея реальной почвы и рычагов для кардинального решения проблем, как правило, начинают заигрывать с массами, а затем не могут справиться с этой стихией.

Приведу пример: в 1997-1998 годах площадь г. Кокшетау сотрясали несанкционированные митинги. Причина — проблемы со светом, теплом в домах, несвоевременная выплата пенсий, заработной платы, массовая безработица. Власти в условиях взрывоопасной ситуации смогли найти оптимальное решение. Ушли не только от настойчиво предлагаемого противостояния, но, что очень важно, и от заигрывания с оппозицией, прошли сложную процедуру равноправного диалога, одновременно “расшивая” накопившиеся проблемы.

Печальный опыт многих государств бывшего СССР предостерегает от опасности идти на поводу наэлектризованных масс, принимать популистские решения. Ибо это не имеет ничего общего с демократией, а напротив — мостит дорогу экстремизму. Ржа победной вседозволенности, анархии приводит к неуправляемости общества, подтачивает основы государственности и, в конечном счёте, подготавливает приход диктатуры, которая на многие годы сворачивает все элементы демократии. История помнит, чем обернулось для С. Альенде и его соратников, в целом для Чили, неумение учесть эти факторы в своей политике.

Многие поколения советских людей искренне считали, что живут в идеальной, совершенной стране. Теперь, задним умом, мы уже знаем, что не всё так делалось, как сказывалось. Одна из особенностей этой системы, на мой взгляд, заключалась в том, что любая замечательная идея постепенно доводилась до абсурда. Так случилось и с демократией. Искренним намерением привлечь к управлению государством как можно больше населения не суждено было воплотиться. Замечательные представители рабочего класса, трудового крестьянства и народной интеллигенции, тщательно отобранные всемогущим партийным аппаратом в



выборные органы, в лучшем случае обеспечивали физическое представительство классов и сословий. Даже у этих людей в кухонных разговорах вызывала неловкую улыбку доведённая до автоматизма, до уровня приобретённых рефлексов синхронность голосования при принятии важных решений. Эта система сформировала так называемое “молчаливое большинство”, “белые воротнички”, которых власти “обогревали” в обмен на беспрекословную поддержку их действий и содержали как удобный инструмент реализации, деформированного до неузнаваемости, принципа демократического централизма. В те годы горько шутили: “ДЦ — это когда заходишь на заседание бюро райкома партии со своим мнением, а выходишь с мнением первого секретаря”.

Была ли демократия в Советском Союзе? Я бы ответил: “Была”. Она обслуживала то гражданское общество, производной которой являлась и служила, до определённого времени, довольно эффективным инструментом этой системы. Идеальная в своём замысле, на практике она реализовалась в виде формальной, если так можно назвать, “ширмовой” демократии. Необходимости в полноценном политическом диалоге не было, потому что отсутствовал альтернативный объект диалога. Опорой этой демократии, на мой взгляд, служили взаимоисключающие явления: ВЕРА, СТРАХ и политическое НЕВЕЖЕСТВО.

Очень сильно просчитался М. Горбачёв, желая спасти неправильно сросшуюся конструкцию СССР, используя в качестве основного “лекарства” демократию и гласность в ударных дозах в условиях агонии экономики. Общество не было готово “переварить” такое количество свобод. Советский менталитет отторгал многие компоненты навязываемой, чуждой её природе демократии. Одряхлевший гигантский Союз почил в бозе, образно говоря, в объятиях молодой, сильной, энергичной демократии, так и не испытав ожидаемого удовольствия. Этому способствовала слабость и нерешительность поводыря.

На волне борьбы с авторитаризмом, диктатурой партии пришёл к власти Б. Ельцин. Казалось, триумфальное шествие демократии неминуемо приведёт к более совершенному обществу без больших потрясений. С пониманием люди отнеслись и к демонтажу тоталитарной советской системы управления обществом. Она — восстановлению не подлежит. За это, наверное, в каждой бывшей союзной республике, в столицах мира, включая Вашингтон, готовы соорудить Ельцину памятник. Но он останется в анналах истории как талантливый воспитанник партии большевиков, **разрушитель**, не сумевший удержать репутацию демократа, расстрелявший собственный парламент и опустивший Великую Россию до нижней критической точки. Его можно осуждать за это. Но при этом надо иметь в виду, что он, прежде всего, продукт своего времени, добавлю, не самый лучший, в полной мере соответствовавший уровню развития гражданского самосознания в обществе, демократичнее которого просто не могло быть. С ролью ИНСТРУМЕНТА в руках закулисных политиков он справился превосходно. Это к вопросу о том, что демократию в страну невозможно экспортировать, как и депортировать из государства, где совершенное гражданское общество. Она — часть из природы.

В связи с этим выглядит по крайней мере политически некорректной со стороны США, ряда международных организаций и государств



Европы попытка загнать государства мира на высокой политической скорости в “прокрустово ложе” своих моделей демократии. При этом не принимая во внимание особенности развития стран, менталитет народов, необходимость решения первоочередных задач на данном отрезке исторического времени, и многое другое, что создаёт прочную основу подлинной демократии.

Настораживает и то, что всё это навязывается с особой настойчивостью, которой могли бы позавидовать даже коминтерновские функционеры. Любой экспорт, будь это революция или демократия, сродни трансплантации чужого органа в медицине — может прижиться, а может и нет. К тому же и “донор” должен быть абсолютно здоровым.

Есть золотое правило нравственности: прежде чем предъявлять требования к кому-то, надо всему этому соответствовать самому. Америке, считающей себя эталоном демократии в мире, пришлось идти к сегодняшнему, далеко не совершенному состоянию, поэтапно, практически всю свою историю. Долго зрела эта страна, прежде чем поняла, что рабство, расизм не входят в категории общечеловеческих ценностей. Наше поколение имело возможность восхищаться мужеством Мартина Лютера Кинга, выражая всяческую солидарность его движению, а также возмущаться средневековым мракобесием куклуксклановцев. Буквально считанные годы как американская демократия позволила — не в качестве лакеев, а полноценными чиновниками — войти в Белый дом представителям чёрной части своих граждан. Отголосок несправедливого отношения к аборигенам, неграм остаётся и поныне. А ведь не комплексуют США, высоко поднимая планку демократических требований к другим государствам, хотя сами до сих пор не отменили смертную казнь — один из важных критериев оценки уровня демократии. Вынашивая гражданское общество, демократию в чреве своей истории веками, почему-то пытаются лишить этой объективной необходимости других, оказывают экономическое, политическое и даже силовое давление, чтобы ускорить этот процесс.

Право сильного! Отдельная большая тема для размышлений и осмысления. Но крайне недемократично, на мой взгляд, излишне злоупотреблять этим правом, лишая народы возможности выбора своего пути, опуская их, как метко выразился наш Президент в ходе визита в США, до положения ничего не решающих статистов.

Демократическая ли страна Америка? Да! Есть чему поучиться. Но не настолько, как она себя преподносит. К примеру, послушав “афористичные” высказывания президента Буша, с удивлением улавливаешь, что они перекликаются в своей сути с некоторыми идеями Осамы бен Ладена. Став во главе “крестового похода” против мусульманских государств и других стран, не укладывающихся в стандарты Америки, не вписывающихся в их интересы, называя это войной “за цивилизацию”, он подпитывает корни как внутригосударственного, так и международного терроризма. Чем не заговор этих личностей против человечества? Они, сознательно или бессознательно, смыкаются и становятся союзниками в решении вопросов войны миров, в желании толкнуть человечество к последней черте, за которой разговоры о мире могут потерять всякий смысл.

Нет и не может быть войны цивилизаций. Есть война экстремизмов. И всё начинается со СЛОВА! Так говорят священные писания.



Экстремизм слова нередко перечёркивает и без того хрупкое доверие не только между субъектами международных отношений, но и между различными слоями населения внутри государства, порождая экстремизм действий, апогеем которого является терроризм.

Надо быть осторожнее со словом. Особенно известным личностям, тем, чьи слова могут эхом отозваться как внутри страны, так и за её пределами. Я имею в виду президента Буша и действующего Папу Римского. Не хотелось бы усомниться в достаточности у этих выдающихся личностей современности интеллекта, стратегического мышления, элементарного умения прогнозировать последствия своих политических заявлений. Будем считать, что эти досадные ляпы — случайность. Но всё-таки....

Да и свобода печати тоже требует деликатности. Я против цензуры в прежнем, имперском понимании. Но я категорически против свободы слова якобы “независимых” журналистов, которые “честно”, с подобострастием преданного лакея, отрабатывают деньги хозяина, лоббируют не всегда чистоплотные его интересы. Во всём должна быть мера. За пределами её и слово теряет свои созидательные функции, трансформируясь в инструмент с огромным разрушительным потенциалом.

Было бы полезно всем нам извлечь должный урок из последствий, вызванных провокационными материалами некоторых западных СМИ, которые, прикрываясь лозунгом свободы слова и печати, не вникнув глубоко в предмет выбранной темы, некорректно, грубо, невежественно, некомпетентно растиражировали карикатуры на пророка Мухаммеда (мир ему и благословение Аллаха). Можно ли эту свободу считать признаком развитой демократии? Отнюдь нет. На мой взгляд, свобода слова, печати в цивилизованном обществе не означает свободу унижения, оскорбления иной веры, чужих святынь. Чем обернулся этот идейный экстремизм, мы уже знаем. Он серьёзно подорвал уровень доверия не только между отдельными государствами, но и внутри стран, где проживают граждане, исповедующие различную веру. Такая, с позволения сказать, “свобода” никак не работает на стабилизацию, а наоборот подливает масло в огонь. Да и в самих этих государствах с бесспорно высокой демократической репутацией, наверное, не в восторге от выходов своих, мягко говоря, политически “близоруких” соотечественников. К примеру, по материалам прессы, только Дания потеряла 50 % товарооборота с мусульманскими странами.

Должны ли мы ориентироваться на такую демократию? Не эта ли свобода без границ — причина вспышки во многих государствах мира, включая Россию, первобытного национализма, расизма, жестокого экстремизма по отношению к мечетям и синагогам, людям других вероисповеданий? Элементарная логика подсказывает, что перебор в свободе обязательно приводит к сбою политической стабильности в обществе.

Наш разговор будет неполным, если мы, в ракурсе данной темы, не попытаемся осмыслить процессы, происходившие летом 2006 года во Франции, пострадавшей свою демократию, своё гражданское общество, прошедшей, образно говоря, через войны, гильотины, революции и многие другие испытания.

Погромы и демонстрации “не вышибли из седла” французскую демократию, тем самым подтвердив высокую степень зрелости гражданского общества. Правильный вектор решения был найден, хотя проблема ещё снята не полностью. Среди многих уроков этих событий, являющихся



объектами глубокого изучения учёными-политологами и практиками, можно, на мой взгляд, выделить следующие:

— события во Франции показали, что даже в стране с богатыми демократическими традициями могут быть сбои в механизме деятельности гражданского общества, вплоть до сдачи позиций авторитаризму, если постоянно не заниматься его совершенствованием;

— Франция подтверждает своими действиями статус страны развитой демократии. Она грамотно проводит “работу над ошибками”, с большим напряжением, но выводит страну из политического кризиса, цивилизованными методами нейтрализуя инициативу экстремистски настроенных сил на противостояние. Это, в свою очередь, выводит французскую модель демократии из инертного состояния и поднимает на новый, более совершенный виток развития;

— опыт Франции подтвердил бесспорное преимущество диалога между властью и недовольной частью населения перед другими методами, как наиболее продуктивной формы решения проблем.

Бесценен опыт предыдущих поколений, отдельных государств по поиску путей построения гражданского общества, в котором закон превыше всего и совершенны механизмы его реализации. Он очень важен и потому, что позволяет значительно сократить путь к цели, взяв на вооружение всё положительное, не повторить ошибок и просчётов, обойти те “грабли”, на которые наступали предшественники.

Обогащая практику своей деятельности этим опытом, не следует забывать, что крайне неразумно слепо копировать его. Всякий опыт полезен, как подсказывает жизнь, в том случае, если пройдёт критическую экспертизу на предмет целесообразности использования с учётом многих особенностей: от глобальных проблем века до состояния экономики, политического окружения, менталитета народа и даже географического положения.

Не совсем корректно, наверное, звучит пословица: “Дурак учится на своих ошибках, а умный на чужих”. Но если судьба предоставляет нашей стране такую возможность, то почему бы не уважить себя и не выбрать второе?

Для успешного движения вперёд крайне важно, на мой взгляд, решительно освободиться от стереотипов прошлого в миропонимании, в корне изменить базовые подходы к решению как внутригосударственных, так и международных проблем.

Начался новый отсчёт времени. Прежняя философия неохотно, но вынуждена уступать инициативу новой, объективно продиктованной задачами, вызовами и угрозами современности. Решать их призвано новое поколение политиков — высоконравственных, дальновидных, прагматичных, масштабно мыслящих, умеющих вести диалог, находить консенсус внутри общества и соблюдать баланс интересов своего государства с планетарными интересами человечества.

С лёгкой подачи А. Атабека, можно было бы назвать их политическими канатоходцами, пока учёные и политики не подобрали более точного названия.

Пожелаем им удачи на трудном пути!



Владимир КОЧЕНОВ



Литературные встречи в Белокаменной

Поэты и писатели Астаны в конце минувшего года совершили творческую поездку в Москву. Как известно, между столицами Казахстана и России в рамках соглашения между правительством Москвы и акиматом Астаны о сотрудничестве активно развиваются отношения в гуманитарно-культурной области.

Как уже сообщала “Нива” (№ 12 за 2006 г.), в октябре в Астане побывали известные российские литераторы. Главной целью таких визитов является представление современной казахстанской поэзии и прозы москвичам и творчества московских писателей — казахстанцам.

В состав столичной делегации входили такие известные писатели и поэты, как лауреат Государственной премии Республики Казахстан, классик казахской литературы Анес Сарай, поэт, переводчик и издатель Бахытжан Кананьянов, главный редактор журнала “Нива”, поэт Владимир Гундарев, доцент Евразийского университета им. Л. Н. Гумилёва, поэт и переводчик Жанат Аймухамбетова и автор этих строк.

Программа пребывания казахстанских литераторов в Белокаменной была весьма насыщенной. Встречи с москвичами начинались с утра и продолжались до позднего вечера. Ноябрь в Москве — не самое лучшее время года. Серое небо, затянутое свинцовыми тучами, слякоть на улицах, бешеный ритм крупнейшего города мира. Всё это самые первые впечатления, которые вскоре растаяли как осенний снег, выпавший накануне нашего приезда. Москвичи, несмотря на разительные перемены последних лет, сохранили славные традиции бывшего первого города большой страны. Повсюду нас принимали тепло и радушно. Встреч было не счесть: Комитет по культуре г. Москвы, Российская Государственная библиотека (бывшая “Ленинка”), Центральная универсальная научная библиотека им. Н. А. Некрасова, Московский государственный университет им. М. В. Ломоносова, редакция “Литературной газеты”, посольство Казахстана в Российской Федерации, Международное сообщество писательских союзов (преемник Союза писателей СССР), московский Дом национальностей, галерея Александра Шилова. Словом, времени неспешно походить по московским улицам и проспектам, заглянуть в старинные московские дворики, увы, не было. Хотя Москву мы, разумеется, увидели, но через окна закреплённого за литераторами из Казахстана микроавтобуса.

Особенно сердечной была встреча в посольстве Казахстана в России. На эту встречу были приглашены представители московской казахской диаспоры. Сегодня в Москве постоянно проживает 20 тысяч казахов, а в



вузах российской столицы обучается 2 тысячи казахстанцев. Чрезвычайный и Полномочный Посол РК г-н Жансеит Туймебаев, несмотря на очень плотный рабочий график, тепло и сердечно принял литераторов из Астаны. За чашкой чая состоялся живой заинтересованный разговор о казахстанской литературе, поэзии и журналистике. Лестно было услышать из уст дипломата похвалу в адрес газеты «Вечерняя Астана». Мы всегда с большим интересом читаем вашу газету, она для нас является одним из важных информационных каналов о жизни нашей столицы, отметил г-н Туймебаев. Судя по всему, и журнал «Нива» входит в круг чтения сотрудников казахстанского посольства. Во всяком случае, Жансеит Кансеитович в курсе всех литературных новинок в Казахстане.



Беседа с послом Казахстана Ж. К. Туймебаевым за чашкой чая.

Чрезвычайный и Полномочный Посол коротко рассказал о той большой и многогранной работе, которую проводит казахстанское дипломатическое представительство в Москве. В дни государственных и национальных праздников в посольстве всегда многолюдно. В гости к дипломатам приходят представители казахской диаспоры и вместе отмечают наши праздники. Надо сказать, что московские казахи свято чтут заветы своих предков, соблюдают национальные традиции, прививают любовь среди молодёжи к родному языку, казахской культуре и обычаям. При посольстве работает воскресная школа, в которой малыши изучают казахский язык, литературу, историю и культуру. Встреча в посольстве завершилась большой пресс-конференцией, в которой приняли участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Казахстана в РФ Жансеит Туймебаев, лидеры московской казахской культурной автономии, творческая интеллигенция казахской диаспоры, журналисты. Состоялся обстоятельный разговор, в котором был затронут широкий спектр вопросов, характеризующих социально-экономические, политические и культурные аспекты жизни нашей страны.



Представители казахской диаспоры на встрече с писателями Астаны в посольстве РК в Российской Федерации.

Во второй день пребывания в Москве казахстанские литераторы побывали на приёме в Комитете по культуре г. Москвы. Заместитель председателя Комитета Анна Семёновна Попова сердечно, как старых добрых друзей, приветствовала столичных литераторов. Невольно вспомнились незабываемые дни культуры Астаны в Москве, которые проходили несколько лет назад. Анна Семёновна говорила о том, как мы дороги друг другу, как многое нас объединяет и связывает. Культурное пространство Казахстана и России всегда, несмотря на превратности времени, сохраняло свою целостность, было единым. Мастера искусств Казахстана всегда желанные гости москвичей, равно как и москвичи в Казахстане. Бахытжан Канапьянов подкрепил эту мысль таким примером. Его сестра Раушан — москвичка, занимает весьма ответственный пост в Государственной Думе РФ. Кстати говоря, в коридорах Государственной Думы можно встретить немало бывших наших соотечественников. Казахстан умеет готовить высшие кадры управленцев. Те, кто прошёл казахстанскую школу, сегодня занимают высокие посты государственного управления Российской Федерации. Взять, к примеру, министра Германа Грефа или губернатора Омской области Леонида Полежаева. Кстати, Леонид Константинович как-то на встрече с руководителями казахстанских СМИ говорил о том, что казахстанский опыт, который он приобрёл, работая в нашей республике, является, по его словам, высшей школой управления.

Заместитель председателя Комитета по культуре г. Москвы Анна Семёновна Попова очень просто и конкретно определила уровень нашего литературного сотрудничества с москвичами. Давайте обмениваться книгами — это будет хорошее начало, заметила г-жа Попова. Писатели Анес Сарай, Владимир Гундарев, Бахытжан Канапьянов, не мешкая, воплотили в жизнь этот похвальный призыв, подарив Комитету свои книги, которые были приняты с благодарностью.



Ж. Аймухамбетова, А. Сарай, В. Гундарев, Б. Канапьянов.

Кстати говоря, творчество Владимира Гундарева и Бахытжана Канапьянова хорошо известно москвичам. У Бахытжана много друзей-литераторов в Москве. В своё время он окончил Высшие литературные курсы при знаменитом Литературном институте им. М. Горького. Его книги представлены не только в “Ленинке”, но и, как позже выяснилось, в библиотеке Конгресса США. Свои книги и любимый журнал “Нива” Владимир Гундарев также обнаружил в картотеке главной библиотеки России, которую мы имели честь посетить. Наш классик Анес Сарай весьма рационально распорядился визитом в Российскую Государственную библиотеку. Для творческой работы ему были нужны редкие издания, которые он и нашёл в этой библиотеке.

Большая встреча с читателями состоялась в “Некрасовке”, так с любовью москвичи называют Центральную универсальную научную библиотеку им. Н. А. Некрасова. К этой встрече была проделана большая работа сотрудниками библиотеки, которой руководит талантливый человек, кандидат наук Светлана Николаевна Просекова. Заблаговременно были отпечатаны плакаты, которые извещали о предстоящей встрече с литераторами из Астаны. Было очень трогательно видеть в конференц-зале наших друзей, московских писателей и поэтов, которые приезжали в город на Ишиме. На встречу пришли Вера Григорьевна Галактионова, Вадим Николаевич Бурлак, Александр Сергеевич Ананичев. С большой теплотой московские литераторы вспоминали свою поездку в Астану, щедрое казахское гостеприимство, состоявшиеся литературные встречи. Замечательный московский поэт Александр Ананичев по возвращении в Москву написал стихотворение, которое посвятил начальнику управления по развитию языков г. Астаны Оразкуль Асангазы. Во время встречи в “Некрасовке” Александр с большим вдохновением читал замечательные строки:

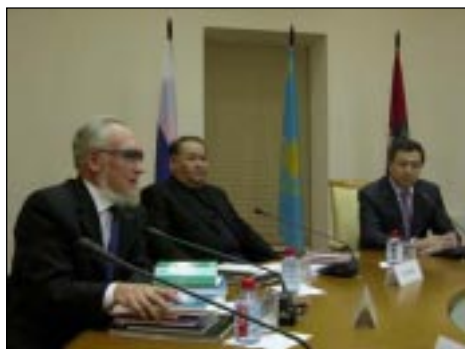


*Сестра моя, Ореке,
О чём ты грустишь вдалеке?
Твой дом от чужих обид
Великая степь хранит.
Зову тебя у реки...
Меж нами снега и пески,
Меж нами глобальный мир
Границы провёл пунктир.
Рахмет, Ореке, рахмет
За тёплый осенний свет,
За этот рассветный дым,
В котором уснул Ишим.*

О своём творчестве на встрече с читателями “Некрасовки” рассказывали казахский романист Анес Сарай, поэты Бахытжан Канапьянов, Владимир Гундарев. Жанат Аймухамбетова по-казахски читала свои переводы Н. Гумилёва и А. Пушкина.

Встреча завершилась праздничным обедом, в ходе которого звучали замечательные стихи, произносились признательные тосты за нашу дружбу, слова благодарности, адресованные директору библиотеки Светлане Николаевне Просековой, заведующей отделом общественных связей Лютфие Надимовне Ариффуловой и всем очаровательным сотрудницам “Некрасовки”.

В рамках московского визита состоялось заседание “круглого стола” в Доме национальностей. К этому событию была приурочена замечательная выставка “Золото степи”, организованная директором галереи искусств “Хас Санат” Жанной Енсебаевой. Её цель — познакомить москвичей с богатой историей казахского народа, уникальной материальной культурой номадов.



Заседание “круглого стола” в Московском Доме национальностей.



Участники встречи с писателями Астаны в Московском Доме национальностей.

“Круглый стол” в московском Доме национальностей был посвящён главному событию культурной жизни двух братских стран — Году Абая в России и Году Пушкина в Казахстане. Был отмечен выдающийся вклад титанов казахской и русской культуры в непрерывающийся диалог двух великих народов. Абай был выдающимся поэтом, мыслителем. О его творчестве вдохновенно говорили участники “круглого стола”. Был отмечен также вклад великого Абая в евразийское человековедение. Необъятное творческое наследие



Абая заключает мощный пласт его философских воззрений. Впервые было сказано об Абае как о выдающемся философе, основоположнике самостоятельной ветви развития философской мысли — евразийской философии. Эти идеи получили обоснование в совместной работе автора этих строк и замечательного философа Виславия Зорина “Ренессанс мудрости”.

Москвичка Татьяна Полтавская, в недавнем прошлом наша соотечественница, проникновенно на чистейшем казахском языке исполнила чужие души романсы на стихи великого Абая.

Дружеской была встреча с коллегами, проходившая в Международном сообществе писательских союзов, которую вёл заместитель председателя исполкома МСПС, секретарь правления Союза писателей России, известный поэт Владимир Бояринов (кстати, наш земляк, родившийся и начинавший творческий путь в Казахстане). В беседе принимали участие члены исполкома МСПС И. Сабило, Б. Бодюров, а также поэты С. Мнацаканян, Т. Коти, пресс-секретарь МСПС М. Переясллова и другие литераторы.

Запомнилась встреча в редакции “Литературной газеты”. Когда-то эта газета пользовалась огромной популярностью не только среди творческой интеллигенции. Она была своего рода компасом в литературном мире, освещала большую многонациональную литературу Советского Союза. Старейшая литературная газета была основана Александром Сергеевичем Пушкиным, и после грандиозного потрясения, имя которому Великая революция, издание было возобновлено Максимом Горьким. К сожалению, встреча с главным редактором газеты Юрием Поляковым не состоялась. Как нам приватно объяснили, главный редактор был занят на судебном процессе. Увы, так вы реалии рыночного времени. Теперь и знаменитая “Литературка” судится со своими оппонентами. Нас принимал генеральный директор издательского дома “Литературная газета” Алексей Рудольфович Соболев.



Встреча в редакции “Литературной газеты”.

Сегодня “Литгазета” переживает подъём, растёт её тираж и, стало быть, былая популярность. Как верно замечено: не хлебом единым жив человек. “Литературная газета” вновь обрела большого читателя. Её читают не только в России, но и как сегодня принято говорить, в странах ближнего и дальнего



зарубежья. Особенно большая читательская аудитория “Литгазеты” в Израиле. Этот факт ещё раз свидетельствует о том, что на земле обетованной сегодня живёт немало интеллектуалов бывшего Союза. В нашей стране “Литературная газета” представлена гораздо скромнее, всего-то парой тысяч экземпляров. Хотя интерес к российской литературе у казахстанской аудитории несомненно есть. Другие популярные российские медиа-бренды не в пример “Литгазете” “раскручены” в Казахстане. Речь идёт о таких совместных проектах, как “Известия-Казахстан”, “Комсомольская правда-Казахстан” и других. По мнению классика казахской литературы Анеса Сарая, “Литературная газета” в Казахстане будет востребована в том случае, если станет больше освещать литературу, поэзию и искусство Казахстана.

Литераторам двух братских стран необходимо чаще встречаться. Об этом говорили известные казахские писатели Алдан Смайыл, Аким Тарази, Кайрат Жумагалиев на встрече с москвичами в Астане. Аким Тарази вдохновенно вспоминал свои встречи в Союзе писателей СССР и с горечью говорил о том, что не был в Москве уже 15 лет.

Главный итог состоявшихся в Москве встреч — незабываемое ощущение нашего культурного единства, сердечной дружбы и теплоты наших отношений. Как точно было замечено Анной Семёновной Поповой, мы нужны друг другу, нам не жить друг без друга.

В последний день нашего пребывания в Москве мы побывали на Воробьёвых горах. Прежде, наверняка кто-то помнит, они именовались “Ленинскими”. Здесь расположен комплекс величественных зданий Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова. Инициатива поездки на Воробьёвы горы принадлежит, чего скрывать, автору этих строк. Когда-то, давным-давно, 17-летний юноша из сельской глубинки Казахстана приехал в Москву поступать в МГУ. Шаг этот был весьма рискованный. В ту пору в МГУ был немислимый конкурс. На геологический факультет было не пробиться — 14 человек на место. Среди абитуриентов — выпускники спецшкол, золотые и серебряные медалисты крупнейших городов Советского Союза. До сих пор горжусь тем, что не спасовал, не забрал документы, как это делали многие. Верил в себя, в нашу казахстанскую школу. В итоге эту заоблачную планку я взял с первой попытки. В Казахстан своим родителям отправил победную реляцию: “Я студент МГУ!”.

С Воробьёвых гор открывается величественная панорама современной Москвы. В ясный день можно рассмотреть золотые купола кремлёвских храмов. Когда-то в старину главным ориентиром Москвы была колокольня Ивана Великого. В годы моей учёбы в МГУ главным ориентиром была Останкинская башня. Сегодня на дворе — другое время. А стало быть, и другие архитектурные приметы. Как бы то ни было, Москва всегда прекрасна и дорога нам, казахстанцам. С Москвой для тысяч наших соотечественников связаны лучшие годы юности.

В заключение этих памятных заметок хотелось бы по поручению столичной делегации поэтов и писателей выразить сердечную благодарность заместителю акима Астаны Еркему Амирхановичу Аманшаеву, директору Астанинского филиала Союза писателей Казахстана Алдану Смайылу, начальнику управления по развитию языков Оразкуль Асангазиевне Асангазы, её заместителю Каламкас Кантеевой за оказанную честь представлять литературу Астаны в Москве и за превосходную организацию нашей поездки.

Особые слова благодарности мы адресуем нашему московскому гиду очаровательной Наталье Николаевне Гончаровой за то внимание и заботу, которыми она окружала нас в Москве.

Фото автора.



Яна АБДЕЕВА,
председатель КЛФ “Перекрёсток миров”
Восточно-Казахстанской областной библиотеки
им. А. С. Пушкина

Диалоги с Будущим Арсения Шаудера

*Отечество славлю, которое есть.
Но трижды — которое будет!*

В. Маяковский



“Алгеброй гармонию поверить...”. Эти слова в полной мере можно отнести к творчеству необыкновенного человека — нашего земляка, архитектора, музыканта и поэта Арсения Викторовича Шаудера. Выставка его произведений “Мир Будущего” состоялась 14 сентября 2006 г. в г. Усть-Каменогорске в Восточно-Казахстанской областной библиотеке им. А. С. Пушкина. Триста архитектурных эскизов в стиле “ультра-модерн” и более 30 стихотворений адресованы всем нам — казахстанцам XXI века, а также нашим далёким потомкам, которым, по утверждению Арсения Викторовича, предстоит жить в Синтез-Эру — самую совершенную стадию развития общества.

“Такая жизнь достойна высоты!”

*Это, я вам доложу, — зрелище. Дома. Дома
необыкновенных величин и красот.*

В. Маяковский

Люди всегда мечтали достичь облаков. Легендарная Вавилонская башня — первая архитектурная утопия человечества. Проект Дворца Советов в Москве — утопия XX века. Век этот дал миру огромное количество фантастических архитектурных проектов, которые могли бы в корне изменить нашу повседневную жизнь.

Начнём с того, что... Вот, скажем, вы, уважаемый интеллигент XXI века, довольны видом из своего окна? Если да, то вам сильно повезло. Значит, серые панельные коробки, натканные, словно клоны, по всей стране, не портят вам аппетит и не вызывают головную боль по утрам. Но представим на миг, что Астана... Нет, возьмём поближе — Усть-Каменогорск — это город дворцов и садов, где жители отдыхают после работы в мраморных беседках и слушают журчание фонтанов. Утопия? А почему бы и нет!



“Чтоб небоскрёб скорее Луну поцеловал...”

*Асфальт — стекло.
Иду и звеню.
Леса и травинки — сбриты.
На север с юга идут авеню,
На запад с востока — стриты.
А между — (куда их строитель завёз!) —
Дома невозможной длины.
Одни дома длиной до звёзд,
Другие — длиной до Луны.*

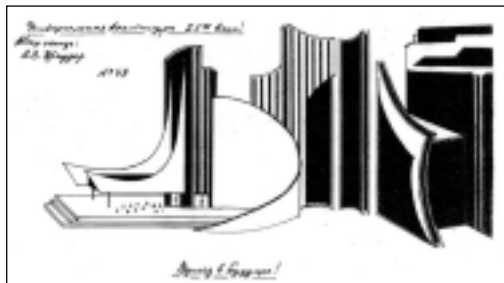
В. Маяковский

Русское “небоскрёб” — калька английского “sky-scraper”, которое не всем англоговорящим людям по душе. К примеру, американцы предпочитают ему слово “highrise” (“возвышающийся”).

На заседаниях устькаменогорского Клуба любителей фантастики “Перекрёсток миров” неоднократно обсуждались вопросы архитектуры Будущего. Именно так — с большой буквы. И Арсений Шаудер будущее видит светлым, радостным и поистине грандиозным.

Еще в середине прошлого века небоскрёбы были весьма непопулярны. Люди недолюбливали их за несоразмерность привычной жизни. Американский фантаст Роберт Кальверт писал: “Они как пришельцы, скорее, персонажи из космоса, но не из мира людей”. Любовь к высоткам привил всем Вуди Аллен своим фильмом “Манхэттен” (1979), про который говорят, что его главным героем является “силуэт Нью-Йорка”.

Арсений Викторович тоже очень любит небоскрёбы. И Нью-Йорк. Кстати, 40 из ста самых высоких зданий в мире находятся в США (12 из них в Нью-Йорке и 10 в Чикаго). XX век в архитектуре начался со стиля модерн. Формы, в которые облекалась архитектура со времён античности, вдруг стали расплываться, здания словно превращались в живых существ, в растения, живущие по законам мира природы. Причудливо-лепные изгибы линий, томная роскошь интерьеров, пасмурно-пастельные тона... Стиль А. В. Шаудера — “ультра-модерн”. Так называет его сам автор. И, пожалуй, трудно подобрать более точное определение. Недаром архитектуру называют застывшей музыкой. И это подтверждают работы Арсения Викторовича, музыканта по образованию (об этом чуть позже). Величественные сооружения, изображённые на его эскизах, отчасти напоминают арфу, орган, баян, рояль, гусли, виолончель. И это неслучайно: именно в синтезе науки и искусства видит Мастер грядущие успехи человечества, очередной виток Прогресса.



Названия его графических работ говорят сами за себя — “Универсальная архитектура 21-го века”, “Вместо ядерного полигона!”, “Цвети, планета Земля!”, “К вершинам всемирной цивилизации”.

Графика А. В. Шаудера завораживает своей музыкальностью. Она звучит, поёт о прекрасном



будущем Казахстана. Небоскрёбы — символ стремления нашей молодой республики к сияющим вершинам Завтрашнего дня, к миру без войн, где все люди радостно трудятся на благо всего человечества.

“Вглядитесь в эти совершенные линии, прислушайтесь! — говорят эскизы Мастера. — Это ваше Будущее! Давайте создавать его прямо сейчас!”.

Стихи же А. В. Шаудера о Будущем — прекрасное дополнение к его архитектурным шедеврам:

*И если человек захочет очень
В дерзании своём достичь всего,
В единстве творчества создаст
он всё,*

Что сердце просит...

Чёткие, запоминающиеся строки наводят на мысль о футуристах прошлого века, “будетлянах”, последователем которых, вольно или невольно, выступает автор.

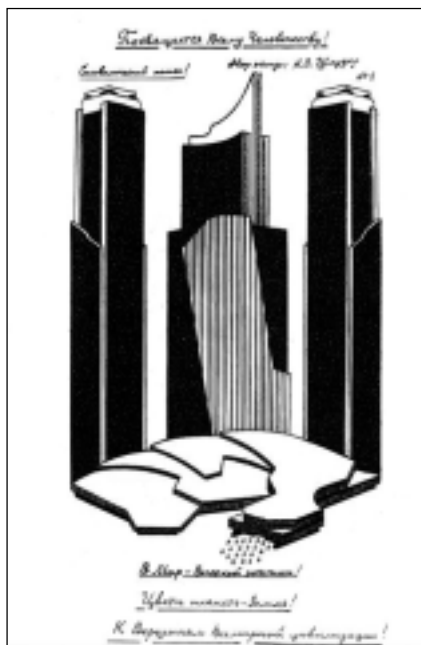
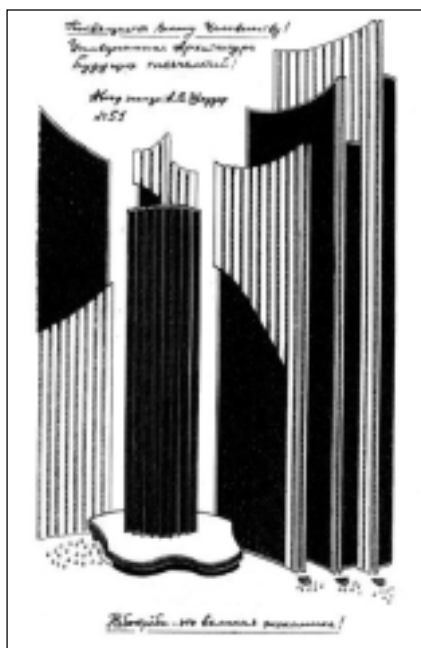
Так кто же он, этот неординарный человек, что, процитировав его же строки, “творчеством богат”?

“Парадоксальность судьбы”

*... Только сильные души
могли предвидеть,
почувствовать поступь
неизбежного грядущего
улучшения и устройства
человеческой жизни.*

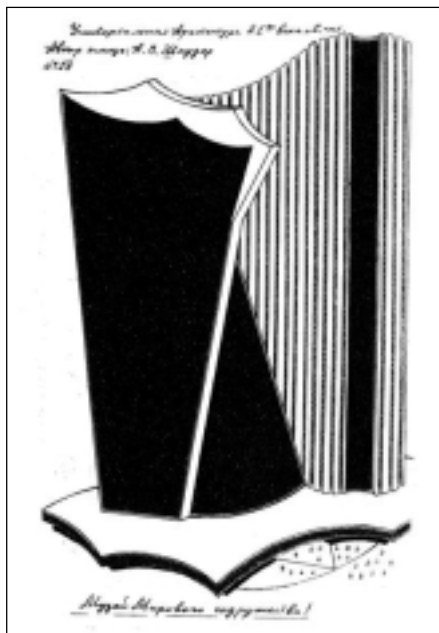
И. А. Ефремов

На свет он появился в Баку. В 1942 г. родители Арсения Викторовича были сосланы в Казахстан. В общей сложности, А. В. Шаудер прожил в Казахстане более 50 лет, в том числе с 1987 г. — в Усть-Каменогорске. Недаром говорят, что талантливый человек талантлив во всём. Уже отмечалось, что Арсений Викторович имеет высшее музыкальное образование. В Семипалатинске он закончил музыкальное училище по классу скрипки, в Новосибирске — консерваторию по классу альта. Играл в нескольких хороших оркестрах страны (СССР, позже — Казахстана и России).





Ещё в студенческие годы Арсений Викторович увидел Будущее. По его словам, “совсем другими глазами”. Что это означает? В общих чертах то, что А. В. Шаудер рисует Будущее в оптимистических красках, веря в неиссякаемые творческие силы и разум человека. Графические эскизы автора одобрены профессорско-преподавательским коллективом кафедр “Архитектура и дизайн” и “Основы и теория архитектуры” Восточно-Казахстанского государственного технического университета (ВКГТУ) и представляют интерес для профессионалов как редчайшее явление творческой деятельности энтузиаста.



Графика и стихи Арсения Викторовича — достойный ответ на распространявшиеся в нашей научной фантастике (не говоря уже о зарубежной) тенденции рассматривать будущее в мрачных красках грядущих катастроф. “В последний век Эры Разобщённого Мира... люди, наконец, поняли, что все их бедствия происходят от стихийно сложившегося ещё с диких времён устройства общества, поняли, что вся сила, всё будущее человечества — в труде, в соединённых усилиях миллионов, свободных от угнетения людей, в науке и переустройстве жизни на научных основах, — писал полвека назад гениальный провидец Иван Антонович Ефремов. — Так началась ЭМВ — эра Мирового Воссоединения”. А. В. Шаудер называет её Синтез-Эрой.

“О, здравствуй, здравствуй, “Синтез-Эра”, Ты — плод Великой Светотемы...”

*Мы рождены, чтоб сказку сделать былью,
Преодолеть пространство и простор,
Нам разум дал стальные руки-крылья,
А вместо сердца — пламенный мотор.*

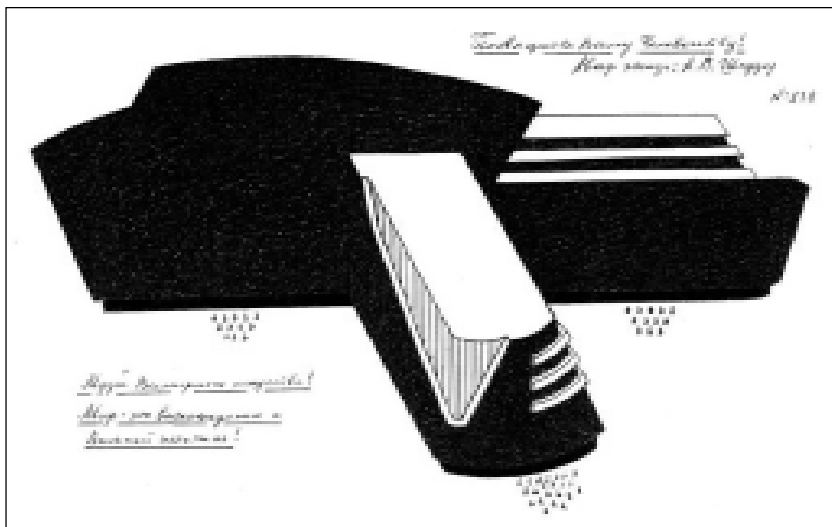
П. Герман

“Когда народы, распри позабыв, в единую семью соединятся...”. Арсений Викторович считает, что всю мировую цивилизацию можно рассмотреть диаметрально. Он предлагает в будущем иметь на нашей планете Всемирный Парламент для регуляции мира и экономического развития мирового рынка. “Если бы Международный Парламент был создан в начале XX века, то таких тяжёлых войн в XX столетии не было бы”, — говорит А. В. Шаудер.

Все силы общества, расходовавшиеся в древности на создание военных машин, содержание не занятых полезным трудом огромных армий, политическую пропаганду и показную мишуру, будут брошены на



устройство жизни и развитие научных знаний. “Синтез” — слияние, общность. Арсений Викторович предполагает, что, если человечество пойдёт мирным путём, то строительство во многих городах нашей планеты небоскрёбов достаточно целесообразно: это экономит землю (с чисто практической точки зрения) и, кроме того, открывает путь к высокой эстетике Будущего, провозглашаемый автором.



На протяжении двадцати лет этот удивительный “поющий” мир предстаёт в работах А. В. Шаудера. Образы приходят в разное время. Порою во сне (что неудивительно — именно там, в соприкосновении с Тонким миром, мы прозреваем Будущее, угадываем его бесчисленные грани!). Изначально создаётся карандашный набросок, затем — окончательная обработка чернилами. На каждый эскиз затрачивается от 3 до 8 часов (в зависимости от сложности изображения).

Последние полтора года Арсений Викторович на пенсии. И это позволило ему создать множество новых архитектурных работ, осуществить корректировку стихотворений. Недаром ещё древние говорили: “Если человек не развивается, то он деградирует”. А. В. Шаудер — сторонник бесконечного развития личности. Он — заядлый библиофил: в его домашней коллекции собраны книги по искусству, политике, множество энциклопедий и словарей.

А живое воплощение идей Арсения Викторовича — современный облик нашей новой столицы, города, устремлённого в прекрасное Будущее. Вместо ядерного полигона А. В. Шаудер предлагает светлые гостиницы, солнечные университетские комплексы, великолепные дворцы культуры, как бы символично парящие в воздухе аэропорты... “Счастливого пути в столетиях! — желает нам Мастер и утверждает: — Мир — это лик счастья!”.

И все его работы знакомят нас с этим миром — миром высокой эстетики и нравственности, миром Единства и преклонения перед трудом Человека.

г. Усть-Каменогорск.



Имя дома твоего

Любопытные бывают открытия при работе с картами Сибири! Занимаясь сравнительным ландшафтно-лингвистическим сходством нашего озера Чаны и африканского озера Тана, то бишь делая опору на сходство названий (в древности звука “Ч” не имелось в звуковом аппарате человека), я негаданно натолкнулся на скромное название села “Баган”, расположенного недалеко от озера Чаны.

Справочники и краеведческие издания подсказали: “название принесли с собой переселенцы времён графа Столыпина, из Белоруссии”. Всё бы так, будь переселенцы времён Столыпина так же ироничны и начитанны, как декабристы, ничтоже сумняшеся назвавшие две сотни лет назад затерянный в читинской тайге посёлок — “Итака”. Те, принудительно ссыльные декабристы, по меньшей мере, читали “Одиссею” Гомера. Белорусские переселенцы, думается, плохо помнили свою индо-иранскую прародину.

Баган... Баган... Названием подобного рода не могли осчастливить в то столыпинское время весьма болотистую и комариновую местность ни местные племена — приобские (ханты-манси), ни алтайские скотоводы. Хотя здесь, на этом месте сходились их хозяйственные интересы. “Не та лингва в строку”. Не тот язык создавал сложное, жёсткое и сакральное понятие “BHA GAN — “божья страна, местность”.

Если ещё раз внимательно глянуть на карту, то современный БАГАН находится почти посередине местности, на которой расположилось интересующее меня озеро Чаны, далее к северу — засолённое озеро Убинское, получающее подпитку, видимо, из-под земли, и носящее подозрительно “неместное” название. А рядом с самим селом Баган находится почти идеально круглое в плане озеро с названием САРТЛАН. От этого названия, как и от понятия “BHA GAN” у любого специалиста закружится голова. Ведь это слово означает древнее сакральное понятие: SAR-TI-LU-ANU! — “Царь живых рабов Бога Анну”! Но современные люди проходят мимо этого водоёма с постными лицами...

Хотя действительно, казалось бы — с чего это кружиться голове? С чего радоваться? Местные люди с удовольствием дают перевод названия “Сартлан”, и оно простое: “Щучье озеро”. А на каком это языке? — спросишь у знатока-аборигена, и тот надолго замолчит. Понятие “Озеро” в этих местах обозначается либо словом КОЛЬ (КУЛЬ), либо НОР (НУР). “Щука” же на местном языке “Хе-хуч” — “рыба-хищник, сорная рыба”, и в пищу её употребляли в большой голод.

Здесь нужно понять на тысячелетия привитое аборигенам жёсткое правило: “Обмани чужака”. Это правило помогало выжить родам и племенам в суровой битве за жизнь. Аборигены обманывали всех. Особенно назойливых составителей словарей послереволюционного замеса. Если сравнить дореволюционные “самоедские” словари со словарями, положим, 1937 года издания, то последними можно растапливать печку. Ибо исследователи до революции умели найти чистый и справедливый подход к людям

сибирского прарождения. А вот “краснозвёздные” учёные этого или не умели, или не хотели. И таких чужаков “самоеды” честно и бессовестно обманывали. В дореволюционных словарях “Обдорского края” слово “БОГ” честно произносили: “Нума Торум”. В русско-мансийском словаре (М., Наука, 1937 г.) “Бог” уже носит имя “ХЪЯ”! Долго объяснять, но это однозначно тому: “Да иды ты, паря, туда, куда на заборе три буквы указывают”! Один послереволюционный умник решил узнать, “как называются точки, что после себя оставляют мухи”? И получил честный ответ: “Серя”. Чужаков всегда обманывали. Недавно так в посёлке нефтяников обманули новосибирскую журналистку. Она спросила — что означает “Сургут”? Не сморгнув, ей ответили, что “это мелкий залив, богатый рыбой”. Это равносильно тому, что на вопрос: “Что значит Байконур”? — получить “светлый ответ в светлые очи”: “Бай такой был, казахский. Конуром звали...”.

Ну до Байконура мы ещё доберёмся. Сур-гут, Точнее — SUR-KUT — это “русский холм”. И этому названию не менее двух тысяч лет. А вот Баган — BHA GAN, это мощное понятие. В том смысле, что по Сибири таковых названий множество. И присвоены они определённой местности не просто так, от радости. Разберёмся.

“BHA GAN” — понятие индо-арийское. Оно могло быть, а точнее и было — привнесено на сибирскую землю во время возвращения ариев с юга в родные места, что случилось примерно шесть тысяч лет назад. Разрушительные последствия Великого Потопа закончились, в Сибири всё более или менее восстановилось и народы пошли назад, к когда-то тёплому, но до сих пор Ледовитому океану. (Оговорюсь — “пошли назад” — сказано мягко. Их начали с кровью выдавливать из Месопотамии “люди смерти”, люди Сахары, коих общее название сейчас — арапы).

Возвращаясь назад, индо-арии где-то восстанавливали прежние эпонимы и этнонимы. Так, например, возродилось имя озера Байкал — БААЛ-КАР (“Корабль Бога, Пристань Бога”). Точно так же был восстановлен БААЛ КАС — Балхаш, и множество других сакральных топонимов. На достаточно широкой дороге от Балхаша к Байкалу есть весьма “тёмная” местность с названием Баян-аул. Это восемьсот километров от Новосибирска, по прямой на юг, Павлодарская область Казахстана. Описать эту местность просто — огромная чаша из древних, донельзя выветрившихся гранитов. Место древнего взорвавшегося вулкана. В жерле вулкана — два озера с поэтичными и вполне казахскими названиями: “Джасыбай” и “Сабандыколь”. Согласно первому названию, этим озером владел “хороший бай”. А второе название говорит, что там часто проводились сабантуи. Пьянки, значит, пикники.

Так вот, название БАЯН-АУЛ. С точки зрения тюркской лингвистики (чем и является казахский язык), с “аулом” всё правильно. Но как в названии могло втесаться слово “Баян”?

Придётся всё глубже спускаться в глубины истории. Вполне возможно, что в далёкие времена более сильные тюркские племена по каким-то причинам вытолкнули более слабые и нищие роды из благодатных южных краёв в солончаковую степь. Там им и пришлось кочевать. И вдруг в голой равнинной степи они увидели древние горы, а среди гор — воду! Большой удачи для скитальцев придумать было нельзя. И главное, окрест на сто вёрст никто из людей не приближался к этому чудесному оазису



в степи! Спросить бы: “А почему не приближаются люди”? Но спросили только у аборигенов — как называется это место? И получили зловещий ответ: БХА ГАН ОЛА!

Такого звукового ряда уши казахов не поняли и не приняли. И переработали его в привычный им топоним: “БАЯН-АУЛ”! И возрадовались. И до сих пор радуются, открыв на том месте базы отдыха, построив резиденции для “высоких гостей”, а в советское время — пионерские лагеря...

Хотя оттуда надо было бежать... ВНА-GAN-OLA — “Запретное, заповедное Божье место”. Что там запретного и заповедного от древних богов — никто не искал. Только вот русские учёные из недалёкого от Баян-аула секретного города Надежда (Курчатов) однажды пробежались там со счётчиком Гейгера и быстро умотали оттуда. Один из учёных потом рассказывал мне: “Понимаешь, сначала мы, было, подумали, что в Баян-ауле сквозь древние граниты просачивается наш оружейный плутоний из подземных испытательных шахт... Ан нет. Там такой мощный родоновый импульс проскочил сквозь наши датчики, что зашкалило. И кроме того, ещё какой-то непонятный и вредный газ зафиксировали наши приборы... Между нами говоря, под этими древними горами залежи урана открыты и потом снова закрыты... Не езди туда больше, ладно?”.

Я и так не ездил. Кроме двух раз и то — накоротке. От тех мест, надо признать, ощущение не лучше, чем от озера Телецкого — накатывает вдруг, что стоишь ты под тёмной крышей, и пришёл тебе полный и окончательный каюк...

Эти факты мог бы опровергнуть любой человек, знающий ту местность. Мол, я-то живой... Это ещё надо посмотреть..., кстати.

Чтобы не слышать велеречивых и чванливых опровержений, обратимся к писаным фактам. Сей писанный факт уж точно сотворён казахскими сказителями! Речь идёт о великом казахском народном эпосе “Козы-Корпеш и Баян-Сулу”. Это имена двух влюблённых, которых богатая казахская родовая знать (вроде Монтекки и Капулетти) разлучила навсегда, путём выдачи юной Баян-Сулу замуж за богатого и старого бая — Карабая — “Чёрного богача”. Да, эпос бы мог состояться и подтвердить легенду, что казахи народ древний и даже когда-то пасли скот самого Чингисхана! Но эпосы пишут не на заказ, и пишут не торопясь, проверяя каждую букву. Мы вот сейчас возьмём и проверим только имена главных героев.

При проверке используются арабский, индо-иранский и аккадский языки.

КОЗЫ-КОРПЕШ. Это лишь ЗВУЧАНИЕ имени. Правильное его написание пропишем латиницей, по международным правилам разбора понятий. KA-SI-KAR-PES. Здесь KA — понятие “раб, строитель подземных шахт”, SI — вода (лёд), KAR — корабль (божий), PES (ПЕШ) — острый (нож). В полном смысле имя героя эпоса звучит исключительно по древнешумерски или по древнеаккадски: “Раб, строящий шахты во льдах для остроногого корабля богов”.

Кстати, название сибирского племени ЮКАГИР переводится с тех же древних языков как LU-KA-GIR — “Строители подземных шахт для кораблей богов”. Только здесь указан GIR — огромный, межзвёздный корабль, сто лет назад стартовавший из шахты в районе Подкаменной Тунгуски.

Разберём теперь имя девушки. ВНА-GAN-SU-LU. (Баян-Сулу). Здесь ВНА — божья, GAN (страна), SU — вода (жидкая), LU — раб (рабыня). Таким



образом, полное имя девушки из “эпоса” — “Водная рабыня Божьей страны”. Или, говоря понятным языком, — русалка.

Как лицо, заинтересованное в литературе, могу лишь сожалеть, что именно этот конфликт — “любовь ледоруба и русалки” — не стал сюжетом эпоса. Это был бы эпос, достойный творцов нетленной шумерской поэзии! И зримо подчеркнул бы культурный пласт казахского народа. Ведь где-то он есть? Этот пласт?

Но как бы ни было, найдутся отвергатели того, о чём я только что рассказал, как и отвергатели толкования понятия БАЯН-АУЛ. Хорошо. Предложим скептикам провести пальцем (или авторучкой) по параллели, что ровно проходит через Баян-аул в сторону Китая. И в полусотне километров извольте увидеть интересный топоним — “посёлок Майкаин”... Любый человек вздрогнет, вспомнив имя убийцы козлопаса Авеля (по Библии). И название Майкаин (праздник Каина) придумали не казахи. А те люди, что были здесь задолго до них и рыли в глубоких шахтах этой местности золото. Много золота. И, судя по древним норам, золото рыли здесь, в Майкаине, ещё до потопа. Каин, братоубийца Авеля, жил ДО Потопа!

Да, можно спросить автора: “Причём здесь Каин и Баян”? Да при том, что топонимы с именем Каина по Сибири распространены в невероятных количествах. А на Камчатке, под “Круглой сопкой”, похоронен правнук Каина, убивший его... Звали его Тувал-Каин (Тылвал, на языке ительменов)... “Кузнец Каин”. Они все носили бороды, в отличие от ЛУ-ЛУ — рабов. И название таких народов нашей страны, как ТЫВА СИ (чуваши), ТЫВА (республика) связаны и с Божьим повелением, и с профессией кузнецов. ... Сегодня это забыто. Но в Тыве (республике) до сих пор полно древних плавильных печей... Вот при том здесь и Каин, и БХА ГАН.

Если продолжить мою просьбу и читателю вести карандашом воображаемую линию на восток, то в государстве Китай он попадёт на северную его оконечность, в небольшие горы с ужасающим названием БАЯН-КАР-ОЛА. Повторюсь, для максимально полного понимания — слово БХА ГАН, в процессе его произношения другим устройством гор-тани, свойственным некоторым кочевым народам, превращается в слово БАЯН. Кроме того, некоторые кочевые народы и народы, приравненные к ним, на свой лад переиначивают гласные звуки. Так, москвичи — “акают”, вятичи — “окают”, казахи — “ыкают”, а поляки — “шикают”. Головы им руби, по-иному не будет.

Посему китайскую горную гряду следует называть правильно — ВНА-GAN-KAR-OLA. Что переводится просто: “Божья страна (местность) с кораблём в закрытом, заповедном месте”. Русское понятие “заповедное место” давно уже превратилось в сказочное и не ужасает даже детей. Хотя иногда надо бы. По древним русским законам посещение такого места каралось немедленной смертью, безо всяких оговорок. Если посетитель не погибал сам в том месте.

Что ныне известно об этих таинственных горах в закрытом государстве Китай? Известно то, что в тех горах умудрились при Мао Цзе-дуне найти остатки непонятного механизма и останки неких существ. Мало похожих на китайских людей. Кроме того, в тех горах была обнаружена милая деревенька, где проживали очень низкорослые (даже по китайским меркам) люди. И говорили они на непонятном языке.



Воспитанные в преданности идеям Мао, незадачливые находчики странных людей и странного механизма исчезли... Теперь туда не пускают даже научных работников и там всеми делами заправляет армия. Хотя Мао давно почил в бозе...

Немного отступления в сторону... Понятие ОЛА в нашей стране встречается один раз. В названии столицы Марийской республики — ЙОШ-КАР-ОЛА. Здесь, полагаю, читателю уже всё понятно про корабль и запретное место. Непонятно только первое слово — ЙОШ. Оно и останется непонятным. Более двух тысяч лет народ мари принимали за простых и убогих пастухов, не зная или не желая знать, что они — суть потомки великого народа МАРИ, шесть тысяч лет назад проживавшего на границе между Египтом и Шумером. Это были воины, несшие пограничную службу в помощь СУРам, надсмотрщикам богов. Понятие JOS (ЙОШ) — переводится с древнего египетского языка как “БОГИ”. А посему в самом центре Поволжья у нас тоже находится “Божье место с кораблём в заповедном месте”.

А сейчас я продолжу рассказ о тайнах Сибири. О “божественных местах”. И о Байконуре.

Казахское написание данного топонима: Байконыр. Вообще язык “южных казахов” (Старшего жуза) по отношению к казахам из Среднего и Младшего жузов, как мне кажется, очень засорён южнокитайским говором и грубой арабистикой, поскольку жить им приходилось сначала на юге Китая, а потом — в пределах Древнего Арабского халифата. Посему топоним Байконур в их звукоподражании должен бы звучать так: “Байконыз” или “Байконюл”. Но звучание топонима осталось резким, что свойственно наименованиям исключительно сакрального, тайного, божественного звучания. Когда нельзя было исключать или менять даже интонацию, не то что букву.

Опираясь на древние языки, снова попробуем расшифровать уже сегодня ставшее для нас священным понятие “Байконыр”. Сначала — в русской транскрипции. БАЙ КО НЫР. Понятие “гора” — НУР — всегда стоит в конце сложносоставного слова, каким обычно является топоним или эпоним. В данном случае мы имеем дело с эпонимом, обозначающим не кусок земли в версту в диаметре, а нечто более весомое и сокровенное. Любопытно было бы поискать в Джезказганской степи гору, когда там на тысячи квадратных километров одна ровная и безжизненная степь. Что, кстати, зашифровано в топониме Джезкызган (ЙОСКЫЗГАН — русская транслитерация) — “страна божьих, белых девушек”. Привидений...

Итак, в огромной степи в этнониме вдруг значится слово НУР — Гора. Есть одно индо-арабское (купеческое) слово, в значение которого входит понятие “гора”. Это название алмаза “Кох Иль Нур” — “гора (божественного) света”. Поэтическое, “рекламное” преувеличение, но всё же. Всё же арабские купцы, как их индийские собратья, не были запредельно романтичны. Они говорили то, что видели и осязали, иначе не быть бы им купцами... Таким образом, место в степи (Байконыр) имеет, видимо, основу для включения в название понятия “гора”. И, конечно, не гора из камня. В таком случае, если нам приходится иметь дело (НУР) с индо-арабским диалектом, то закономерно будет в том же ключе проанализировать слово БАЙ. По-казахски это означает “Богатый человек”. Что делать богатому



человеку (богатому обычно скотом) в солончаковых, бескрайних пустошах на краю пустыни Кызылкум? Но если мы примем за гипотезу слово не БАЙ, а “БХАЙ”? ВНАУАН?

Тогда мы будем находиться в двух третях пути от разгадки значения названия нашего “Космопорта”. Ибо “Бхаях” (русская транскрипция) в любом индийском эпосе означает не что иное, как “звук (старт) поднимающейся в небо “ВИМАНЫ” (Шема, корабля класса “воздух-воздух”, в шумерском обозначении). А когда такой корабль поднимается в воздух, то на ровной степи можно издали увидеть столб пыли, гору огня, или что там оставляли после себя неизвестные нам сегодня движители воздушных кораблей...

В понятии БАЙ КО НЫР осталось нам расшифровать слово КО. Учитывая, что гласные звуки при письме, да и при произношении в древности имели мало значения, следует нарушить правописание и поставить понятие КИ (планета Земля) в середину слова, вместо конца. То есть, выглядеть это станет так: ВНАУАН-КИ-NUR. То есть на русском языке мы прочтём: “Старт с планеты в горе света (???)”. Возможно ли это? Не подгонка ли это “романтического объяснения” уже свершившегося факта — постройки и работы космодрома Байконур?

В одной из серии статей, посвящённых противостоянию С. П. Королёва и Вернера фон Брауна в их космической гонке, автор с фактами доказал, что на Королёва и на фон Вернера работали не только научно-исследовательские институты. На них работали спецслужбы НКВД, гестапо, ЦРУ. И те спецслужбы по разным странам да по разным сектам искали нечто... что похоже на космические корабли. И ведь нашли!

В угоду или насмешку Судьбе, Сергею Павловичу Королёву из Индии были доставлены материалы, касающиеся устройства боевых ракет. А фон Вернеру достались с Ближнего Востока чертежи и описания гражданских Шемов. Хотя каждый желал иметь обратное... Любопытны некоторые совпадения. Институт, в котором состоялся наш Главный ракетный конструктор, назывался сокращённо — ГИРД. А ГИР (на шумерском языке) это “Космическая ракета богов”! Фамилия Королёв происходит не от слова “король”, как принято считать по “латинскому” именованию. Само понятие Король — это CAR-OLA — “Сар (Царь) в защищённом пространстве” — ЦАРЬ в ракете, если упростить по-русски. А несостоявшееся детище С. П. Королёва — ракету Н-1 (лунную ракету) работники космодрома Байконур прозвали “Царь-ракетой”! Вот и не верь после этого в надзор за нами, грешными, давно ушедших предков!

Автор обещал вернуться к понятию Алматы.

Да, когда-то по-русски поэтическое название Алма-Ата звучало интереснее. Но неграмотно. Слово Дед (Алма-Ата, как бы “дед, дедушка яблок”) в казахском языке всегда ставится на первом месте предложения. То есть должно было звучать: “Ата-Алма”. Но не звучало...

Да и само обобществлённое понятие “Дед яблок” ни в одном языке, кроме русского (РОД), не имело и не имеет смысла. Смысл во всех языках имело и имеет только слово МАТЬ.

Теперь возьмём справедливо восстановленное название города у подножия Тяньшаньских гор — АЛМАТЫ. Снова понадобится исследование с использованием индо-арабского языка. Впрочем, понятие МТ (мать) одинаково во всех языках. Посему напомним: AL-MA-TI. Смысловой перевод:



“Божественная родительница, дающая всяческую жизнь”. Особую оторопь у исследователя вызовет последнее понятие ТІ. Ибо, если МА — рождает, то она рождает ЧЕЛОВЕКА. Но если используется понятие ТІ, то речь идёт уже о рождении не только человека, но и всего сущего. Вот что вызывает исключительный интерес в связи с топонимом Алматы.

И вот тут-то нам придётся воспользоваться услугами священного Корана.

Дело в том, что не каждой местности, хотя разговор идёт о священном для многих восточных народов Семиречье, будет дано такое высокочтимое божественное название. В радиусе тысячи километров больше такого или подобного названия не сыщешь...

К сожалению, на долгих путях журналистики я забыл имя муллы павлодарской мечети, с которым мы “искали истину” по одному интересующему меня вопросу. Вопрос этот давно иссяк, а вот то, что говорил тот мулла, навсегда запало на ум. И теперь, когда я ищу доказательства своей гипотезы последствий Всемирного Потопа (цивилизация с берегов современного Ледовитого океана, а 13 000 лет назад — Океана тёплого — “скатилась” в Месопотамию и начала жизнь с “нуля”), мне всё время приходят на ум простые доказательства того муллы. Он назвал суру Корана — “Корова”, — в которой сухо говорится о том, что НУХ (библейский Ной) на своём корабле за шесть недель (!!!), а не за год, как описывает Библия, доплыл от берегов “Обской губы” до предгорий Тянь-Шаня и пристал там, где сейчас Алматы.

— Шесть недель? Не мало ли?

— Не мало, — отвечал мулла, — смотри: — он плыл по сильному течению, ему помогал ветер, и на его пути не было преград в виде гор...

— И что потом?

— Чти Коран, и ты узнаешь...

Автор Коран прочёл, и не единожды. Как и священную Библию — с карандашом в уверенной руке. Две Библии я “поправил” карандашом, иногда в бешенстве. А в Коране поставил один вопросительный знак — в суре “Корова”.

И шумерские, и аккадские, и ассирийские глиняные таблицы повествуют о том, что Ковчег с “парами животных”, читай — “с генофондом всего живого” — пристал к горе КОК ТИ БЕ — “Зелёная (молодая) жизнь творится”, и НУХ возвернул жизнь после потопа на подходящее жизни место... Эта вершина — Коктюбе — так красиво возвышается над городом Алматы...

Автор не стал бы так идеализировать Коран, если бы не одно обстоятельство, ни под каким соусом не учитываемое творцами Библии. Месопотамия и Синай, приараратская долина — представляли собой в “послепотопное время” исключительно мрачное и огромное болото. Такое болото, что оно сравнимо лишь с послепотопным болотом в котловине Западно-Сибирской низменности... А для нормального творения живых существ нужна была нормальная суша. Такой нужной сушей могли стать долины предгорий Тянь-Шаня, пологие, удобные, плодородные...

Имя дома твоего не всегда принадлежит тебе. Оно может принадлежать всему человечеству...

г. Новосибирск.



Пётр ПОМИНОВ,
кандидат филологических наук

“Любил и жил по совести, как мог...”

*Никто не может срока дольше
Одoleвать за гатью гать,
Но душу нашу кто-то должен
От подлости оберегать.*

Ю. Плеслов

Поэзия многолика и непостижима как сама жизнь. Голос каждого поэта тоже неповторим: есть поэты громкие и блестящие, есть тихие и внешне неяркие; есть удачливые и обласканные судьбой, есть и непризнанные.

А есть поэты как явление Природы. Им всегда трудно, потому что они живут, повинувшись только своему природному предназначению, которое принято называть талантом.

Поэзия Юрия Плеслова, на мой взгляд, именно из этой категории. Он — поэт природный, причём, к счастью, бережно и ответственно относящийся к своему дару. Слово как будто сохранило для него свою вещую суть.

Это очень невыгодно в наше время и далеко не каждому по силам сохранить верность своему слову и своему пути. Юрию Плеслову эта ноша оказалась по плечу. Он, в отличие от многих и многих, наделён и тонким поэтическим слухом, и способностью не только хранить, но и творить свой собственный мир, как бы тяжело не приходилось отстаивать этот мир перед совсем непоэтической реальностью.

*Вы учите меня:
“Смотри попроще!
Обман, грабёж, насилие... Жизнь — борьба.
Ведь и тебя ломали, между прочим,
Так что ж стесняться порванных рубаш?!”*

*Для вас пустяк,
а для меня — экзамен —
на людях чью-то слабость раздевать...
На всё смотрел бы вашими глазами,
да вот беда —
свои куда девать?!*

Это стихотворение из сборника стихов “Тишина”, вышедшего ещё в 80-е годы, несколько не утратило, как мне кажется, для Ю. Плеслова своего, по сути, программного значения. И эта абсолютная цельность внутреннего мира поэта — тоже большая редкость. Что мы только не пережили за эти годы и что сохранили из той жизни?! Мир Ю. Плеслова остался верен своим законам чести, правды и достоинства. А истинная цена этого, говоря пушкинским словом — самостояния — известна только ему одному.



Несмотря на редкие публикации в периодической печати и вполне известные проблемы с изданием поэтических сборников, внешне, с учётом жёстких законов нашей рыночной эпохи, поэтическая судьба Ю. Плеслова сложилась достаточно благополучно: он — член Союза писателей России, с его стихами хорошо знакомы земляки, его имя известно и признано корифеями поэзии и за пределами Восточного Казахстана, в чём я сам убеждался неоднократно. Но таковы неумолимые законы поэзии, что, кроме существования в режиме реального времени, у настоящего поэта всегда остаётся и своё время, и свой мир, и своя, до конца никому не ведомая — жизнь души. И эта жизнь “на грани как бы двойного бытия” не оставляет никаких шансов ни на покой, ни на безмятежное её созерцание.

Удивительно другое: как Ю. Плеслову удалось сохранить этот сокровенный мир, обойдя, почти не касаясь, все нелепости, откровенную ложь и лицемерие, часто близкие к подлости, наших последних десятилетий, найдя им в одном из стихотворений простое определение — абракадабра. Такая реакция мне показалась не только убедительной, но и совершенно органичной. Богатая лексическая палитра, безусловно, способствует не только языковой выразительности, но и жанровому многообразию лиро-эпической природы художественного мира поэта.

Поразительно, но поэзия у Ю. Плеслова способна принять на себя и вынести весь груз житейских невзгод:

*Мой поводырь поможет превозмочь
Неискренность, вражду и безразличие;
Смеясь,
Под ноги с плеч уронит ночь,
На берег дня мой грустный вздох поκληчет;
И, отдаваясь в утреннюю дрожь,
Вдруг зашептит, неистово прощаясь...
Поэзия — она рассказ про счастье,
Который недосказанным хорош.*

В творчестве Ю. Плеслова можно совершенно чётко обозначить две основные темы, которые организуют его поэтический мир: это любовь и природа. Именно эти вечные спутники поэтов и позволили Ю. Плеслову сохранить своё слово, а вместе с ним и себя. В одной из книг современный знаток русской поэзии XIX века, профессор Н. Скатов тонко заметил о творчестве А. Фета: “Его поэзия изощрена, но не извращена”.

Этот завет русской классики: чистота помыслов и искренность голоса — кажется мне, близок и Юрию Плеслову, замечательному поэту и, вопреки неподвластному нам течению времени, счастливому человеку, потому что он может, пусть с грустью и несправедливо жёстко по отношению к себе, но предельно искренне сказать, обращаясь к сыну, а по существу, обращаясь к неведомому будущему:

*Спешил за жизнью, споря, ошибаясь,
И расшибался, падая не в мох,
И близких ушибал, — как тварь любая, —
Любил и жил по совести, как мог...*

г. Алматы.



Наталья КУРПЯКОВА

В объективе — состояние души

Деятели искусства бывают известные, бывают именитые. И есть любимые, глядя на работы которых не задумываешься о званиях автора. Ты встречаешься с ним как с добрым знакомым и радуешься новой возможности посмотреть на мир вместе с ним.

В музее современного искусства Астаны в октябре 2006 года прошла персональная фотовыставка “Состояние-3” члена Союза фотохудожников России Генриха Куприянова. Он — однозначно любимый. Вот только, пожалуй, не совсем фотограф.

Фотографией Генрих Тимофеевич занимается ровно сорок лет. Однако один из его друзей говорит, что в слове “фотограф” есть что-то тяжёлое, “припечатывающее”. Генрих Куприянов — другой. Он художник.

— Здесь представлены не просто фотоработы, это подлинные произведения искусства, — сказал на открытии выставки скульптор Валерий Пирожков. — Он мастер, который предъявляет к себе строгие требования и умеет видеть то, что мы порой не замечаем.

И правда, иногда думаешь, что сюжеты для снимков автор находит буквально под ногами, разглядев кустик фиалки среди бурых камней (“Симбиоз”) или маленькую красную крышечку у “подножия” огромной чугунной урны.

А ещё про него хочется сказать: “Мой любимый доктор”, потому что, окончив Казанский государственный медицинский институт, он в 1964 году приехал в столицу целинного края и с тех пор работает здесь врачом-стоматологом. И ещё не известно, кого больше в Астане: тех, кто любит и знает творчество Генриха Тимофеевича, или тех, кто знает и любит его за профессионализм врача. Факт исключительный — человек, побывавший в его руках, при упоминании имени своего дантиста начинает радостно улыбаться и даже сожалеть, что время приёма пролетело так быстро. Кстати, симбиоз предполагает сосуществование двух организмов разных видов, приносящее им взаимную пользу. Определение очень подходит Куприянову, в котором как-то очень согласованно уживается любовь к искусству и медицине...

Генрих Тимофеевич скучает по эпохе чёрно-белой фотографии и с недоверием относится к современным техническим изыскам: “Фотографию можно сделать на шёлке, на стене, да хоть на кастрюле! Не в этом ведь суть”. Конечно, он прав. Невозможно представить, что фотохудожник “отщёлкал” энное количество кадров и лучший поместил в рамочку. Почти у каждой фотографии есть своя история, иногда она повествует о судьбе человека и всегда обращена к нашей душе.

— Это уже третья фотовыставка Генриха Куприянова в музее, — говорила его директор Нелли Шиврина. — Каждая — событие для нас и горожан. Мы не меняем её название, а только указываем номер, так неизменным остаётся творческое кредо мастера — не только увидеть и запечатлеть, но и показать состояние души.

Фотоснимки у зрителей находят самый живой отклик. Одни решают купить фотоаппарат и испытать свои силы в творчестве, другие, наоборот, зарекаются фотографировать. Кто-то восхищён пейзажными зарисовками — лесной тропинкой, беседкой среди сосен, тенистым островом, порой листопада. А кому-то ближе “фотографическое хулиганство” — композиции “Ответ К. Малевичу” или “Предчувствие весны”, запечатлевшее “колосящийся” на подоконнике лук. Иные, разумеется, в шутку, претендуют на соавторство.

— Бывало, садимся в старенький “Москвич” и выезжаем на натуру, — рассказывает очевидец. — Зима, мороз лютый, вид вокруг потрясающий. Объектив мутнеет мгновенно. Но — успели, сняли!

От фотографии “Минус тридцать пять” будто веет холодом, чуть искрится морозная дымка, и кажется, что холодно даже солнцу.

Что бы ни снимал Генрих Куприянов, он остаётся лириком и романтиком, которого легко узнать по стилю и настроению. Будь то портреты друзей — художник М. Бимурзин, скульптор В. Пирожков, эффектный “Мужской портрет на красном фоне” (В. Конищев) или ветка рябины в простенькой вазочке (“За окном осень”), побывавшая на выставке в далёком Амстердаме. Им созданы серии “Прогулки по городской набережной”, “Фантазии на архитектурную тему”. Их главный герой — родной город, когда-то провинциальный Целиноград, теперь — строящаяся столица независимого государства. Новая выставка Г. Куприянова посвящена Дню Республики.

Он ловит моменты городской тишины и безлюдья (“Первый луч”, “Полночь”, “Перед закатом”), когда знакомые очертания столицы смотрятся несколько иначе — торжественнее, загадочнее, когда они только вдвоём — художник и его любимый город. Через несколько минут улицы и набережная заполнятся людьми: прошагают по ступеням рабочие с тяжёлыми носилками, а у воды присядут отдохнуть юная велосипедистка и беззаботный роллер (“Знакомство”).

А где-то недалеко расположилась провинциальная гостиница: на плохо оштукатуренной стене вызывающе и наивно смотрятся надпись “HOTEL”, обвитая лампочками, и белая пластиковая дверь. Первые уроки арифметики получает маленький попрошайка, пересчитывающий мелочь в картонной коробке. “Всюду жизнь”, — напоминает нам автор. На снимке с таким названием сквозь каменную кладку пробилась и расцвела зелёная ветка...

— В экспозицию отобраны фотографии последних лет. Но есть несколько старых чёрно-белых. Может быть, они технически несовершенны, но дороги мне. Я считаю их знаковыми, — негромко говорил Генрих Тимофеевич. — Однажды в Москве я увидел женщину, преклонившую колени перед Могилой Неизвестного Солдата у Кремлёвской стены, и вспомнились строки любимого мною поэта-фронтовика Михаила Дудина: “Жалеть уже о павших поздно, но забывать о них нельзя”... Так родилась фотография “Солдатка”.

С другой фотокарточки старого альбома из окна покосившегося деревянного домика улыбаются нам три озорные детские мордахи (“Деревенское детство”). В таких снимках есть особая прелесть и одухотворённость. Но их немного. Впрочем, и новые работы надо спешить увидеть. Генрих Куприянов не держит свои творения дома, они расходятся среди друзей, просто знакомых и не знакомых вовсе. Но потом они обязательно сохраняются, как память о встрече, о подаренном нам особом состоянии сопричастности, сотворчества, сопереживания.

г. Астана.

Серик МУКАНОВ

Непридуманнные истории

Тайна старой конюшни

Это древнее, покосившееся сооружение из камышитовых стен когда-то было конюшней. Дощатый пол давно прогнил, а перегородки из отёсанных берёзовых жердей, отполированных боками лошадей, кое-где сохранились. Трухой стала в кормушках солома, а где были россыпи овса, весной через щели между досок пробивались полосы нежной изумрудной зелени. Через некоторое время они неизвестно кем и когда как будто подстригались. И так до глубокой осени, каждый стебелёк этих зелёных ленточек был одной и той же высоты. Чья это была работа — оставалось тайной.

Из-за ветхости сарая худая, крытая дёрном крыша которого давно поехала набок, скотину Косан там не держал. Но на кривой двери пустой конюшни при добротном, штучной работы запоре, по-прежнему висел единственный в хозяйстве амбарный замок. На то была особая причина.

Немтой Косан — так незлобиво прозвали его соседи — хозяйство вёл крепко. В доме всегда был достаток. Рядом со старой конюшней лет десять тому назад он построил из осин добротный просторный сарай. Любая живность у него водилась: и кони, и коровы, и овцы, и птица всякая. Прижились даже индюки. А у его соседа Рамазана кони не приживались: или украдут, или какой заболит, или околеет ни с того ни с сего. Что только ни предпринимал Рамазан против такой напасти — не помогало. Смирившись с судьбой, он бросил это занятие. Коням-красавцам Косана завидовал.

Серик Кабиденович МУКАНОВ

родился 10 октября 1949 года в г. Мамлютке Северо-Казахстанской области. Трудовую деятельность начал инструктором Мамлютского райкома комсомола. После действительной срочной службы в армии был принят литсотрудником в местную районную газету “Знамя труда”.

Редактировал районные газеты, работал собкором республиканской газеты, был издателем и глав-



ным редактором областных журналов. Окончил факультет журналистики КазГУ им. Кирова. Член Союза журналистов Казахстана. Ранее публиковался во всесоюзных и республиканских изданиях. Готовит к выпуску сборник рассказов. В настоящее время на государственной службе — начальник отдела департамента

внутренней политики акимата Северо-Казахстанской области. Живёт в г. Петропавловске. В “Ниве” выступает впервые.



И эта зависть не давала ему покоя. А везение соседа Рамазан связывал с тайной старой конюшни. Разгадать её пытались многие.

Любопытство соседей усилилось, когда они увидели, как Косан ставит крепкие подпорки на падающую стену старой конюшни. Казалось, подтолкни чуть-чуть эту развалюху — и она упадёт. А тут подпорки ставит. Непроста это. Рамазана распирало от любопытства. Через щели забора было видно, чем занимается его сосед. Не выдержал — подошёл к Косану, трябующему большой колотушкой основание одной из подпорок:

— Ты что, сосед, Пизанскую башню спасаешь от падения? Разобрал бы, дров-то сколько будет.

Косан в архитектуре был не силен. Про Пизанскую башню и слыхом не слыхал. Поэтому слова соседа пропустил мимо ушей и усердно продолжал своё дело. А тем временем Рамазан через худые стены внимательно ещё раз рассматривал внутренности сарая. Всё было по-прежнему, как и два-три года назад, когда он с другом украдкой ночью обследовал сарай. Только птичьего помёта на полу стало больше. Паутина на дверях — значит никто не заходит. При желании забраться вовнутрь несложно, но опасно. Упасть это сооружение на голову могло в любую секунду. А этот немтой подпорки ставит..

Только после пятого заданного вопроса, для чего он укрепляет развалюху, Косан, закончив дело, сел на чурбан для колки дров, неспешно достал из кармана брюк свой любимый “Беломор”, прикурил, сладостно затянулся и, глядя соседу в глаза, произнёс:

— Надо.

Загадочно заулыбался и замолчал. Рамазан понял бесполезность своих усилий, со злости плюнул себе под ноги, матюкнулся и пошёл прочь.

... Косану было лет восемь, когда его отец Ахмед построил эту конюшню. Лошадей он любил и содержал их отдельно от домашней живности. Водил дружбу с цыганами. Но воровство презирал, а менять коней, покупать и продавать их — обожал. Их было у него всегда три: для упряжи, под седло и рабочая. Каждой лошади соответствовала по размеру сбруя и седло. Потемневшей серебряной окантовкой были украшены уздечки, шлеи, хомуты, дуги. Отец терпеть не мог, когда один из соседей на кобылку монгольской породы надевал хомут тяжеловоза.

— Что ты из красавицы чучело-то сделал, а? Она же у тебя из хомута выпрыгнет и ноги себе сломает, а? — возмущался он, бранился и, если Косан был рядом, внушал ему: — Вот так, сынок, никогда не делай. Гармония должна быть между лошастью и сбруей. Понял? Гар-мо-ни-я!

Много воды утекло с тех пор, но помнит Косан тот светлый весенний день. Он спал, а отец тормозил его:

— Вставай, сынок! Пойдём покажу. Они прилетели.

— Кто прилетел? — кулачками потирая глазёнки и не понимая о чём речь, спрашивал Косан.

— Карлыгаштар! Ласточки! Счастье к нам прилетело! Вставай же!

Схватив в охапку своего единственного сына, Ахмед выскочил во двор и показал на открытые двери конюшни.

— Смотри, сейчас увидишь.

Вдруг в проёме двери тенью мелькнула одна из ласточек. Косан на фоне красной грудки птицы заметил маленький прутик, зажатый в клюве. Не задерживаясь долго, она вылетела. Через несколько минут другая летела с кусочком глины в клювике.



— Гнездо строят. Выбрали наш дом. Это на счастье, сынок. Беречь надо это гнездо. Пока оно будет — будет и счастье в нашем доме. Понял?

Чтобы не спугнуть ласточек, Ахмед месяц привязывал коней во дворе, а дверь конюшни держал открытой. Домашним строго запретил лишние хождения. И именно в тот день за чаем Ахмед рассказал старую легенду-быль.

... Во времена нашествия джунгар Толе-бий жил на юге Казахстана. Узнав от гонцов о приближении врага, аул начал сниматься с летовки. Спешно разбирались юрты, в табуны сбивался скот, в большие арбы, запряжённые волами и верблюдами, грузился домашний скarb. Направление было на север. Только эта паника и суeta не трогала одного человека — Толе-бия. Он, отправив домашних, молча сидел у своей неразобранной юрты. На уговоры сородичей отвечал однозначно:

— Не могу. За меня не беспокойтесь.

На рассвете следующего дня конница джунгар влетела в долину, где стоял аул Толе-бия. Вместо большой ожидаемой добычи захватчики увидели одинокую юрту и сидящего у порога старца.

— А ты почему не бежал со своим аулом? — грозно спросил у аксакала предводитель воинов, не слезая с разгорячённого скачкой коня.

— Бросил бы ты на растерзание врагу своих малолетних детей, спасая собственную шкуру? — вопросом на вопрос ответил Толе-бий, продолжая сидеть.

— Конечно, нет, — ответил джунгар, — но я не вижу твоих детей.

— Вон они, мои дети, — показывая на тройку желторотых птенцов ласточки в гнезде под куполом юрты, ответил аксакал.

— Оказывается, ты мудрый и мужественный человек. Как тебя зовут? — признавая своё поражение, спешил с коня вождь джунгар.

— Толе-бий, — был ответ.

— Коня в подарок Толе-бию за ум и отвагу, — крикнул своим нукерам грозный джунгар.

С тех пор Толе-бия в южных краях зовут Карлыгаш-бием.

Такова легенда. На всю жизнь запомнил Косан сказ отца. С тех пор прошло полвека. Сколько же времени каждое лето выводит и ставит на крыло своих птенцов не одно поколение ласточек в старой конюшне. Вместе с ними растут и радуют стареющего Косана его дети и внуки. И он глубоко верит, что есть гармоничная связь между старым ласточкиным гнездом и его семейным очагом. И больше всего Косан боится нарушить эту гармонию. Она такая хрупкая...

Вкус курта

С обретением суверенитета Казахстана у каждого из нас появилась возможность выезжать за границу. Бум шоп-туров начала девяностых ещё свеж в памяти многих. За “бугор” не выезжал, наверное, только ленивый. Понятно, что ехали в основном за товаром, но были среди этой пёстрой массы и туристы-романтики. В числе последних от предложения съездить в Венгрию не отказался и автор этих строк.

Поездом через Москву на четвёртые сутки мы добрались до Будапешта. Отель “Лиде”, где разместили нашу группу из двадцати человек, мало чем отличался от наших райцентровских гостиниц. Только удобства были не во дворе.



Венгерским языком никто из нас не владел. С местными изъяснялись жестами и мимикой. Это в городе. На вещевом же рынке, что поразительно, тут и там звучала родная русская речь.

Местных продавцов отличить от их коллег из бывшего Союза было очень сложно. Дело доходило до курьёзов. Понравились джинсовые брюки — давняя мечта. За прилавком две миловидные девушки. Пытаюсь торговаться:

— Мадам, минимум мани?

— Смотри, Валя, турок джинсы захотел! — ответ одной из них меня огорошил.

— Я те дам “турок”!

— Ой, свой советский, оказывается, — обрадовалась торговка.

Выяснилось, что они москвички, а работают на “хозяина”.

Но в памяти остался не этот случай.

Нас в группе было трое казахов. На бартер или реализацию, проформы ради, мы привезли на всех троих десятка два неликвидных в наших магазинах серпов, несколько будильников, метчиков, плашек для нарезки резьбы, свёрл, рожковых ключей и прочую дребедень плюс по две поллитровки “Русской” на брата. Вот и весь наш товар, который разместился на одном столике.

Была поздняя осень. Продрогли на сыром ветру. Естественно, бутылочку “Русской”, для согрева, распечатали. Смотрю, проходят два крепких чернявых симпатичных молодых человека. Один из них на русском:

— Так, мужики, слушайте сюда! Базарная такса: по сто форинтов и по бутылке водки с каждого. Приготовьте. Будем через полчаса. В случае невыполнения — весь товар подлежит конфискации.

Пока мы “переваривали” эту установку, рэкетиры спокойно пошли дальше вдоль торгового ряда. Для них, видимо, эта прогулка было делом будничным. Возмутиться, потребовать разъяснений мы могли у себя дома, на родине. А здесь была заграда...

Первым опомнился и сообразил старший из нас Капез:

— Постойте! Главный у вас есть? Хотим с ним поговорить.

— Хорошо. Он к вам подойдёт скоро, — ответил тот, что помоложе.

Гость не заставил себя долго ждать. Коренаст. Походка борца. Возраст — за сорок. Взгляд колючий. Национальность определить трудно.

— Мы казахи, а ты кто? — огорошил кавказца неожиданным вопросом Капез.

— Чеченец.

— А историю своего народа знаешь?

— Знаю.

— В годы войны, какой народ многих вас, чеченцев, приютил, дал кров и еду, спас от гибели? Теперь же в знак благодарности вы нас грабите в чужой стране! Это справедливо?

И тут произошло то, чего мы никак не ожидали.

— Успокойся, айналайн, — на чисто казахском языке, протягивая через прилавок обе руки для приветствия, отвечал крепыш. — Это исправимая ошибка. Прости, брат. Успокойся, прошу тебя. Никто в Будапеште, пока я здесь, вас не обидит. Отвечаю...

Вот так, на венгерской земле, состоялось наше знакомство с представителями криминального бизнеса — рэкето. Дело прошлое. Аллах ему судья. Суть не в этом.



Звали его Гасан. Родился он в соседнем ауле Кокчетавской области.

— Что ты, брат, удивляешься моему казахскому? Учился до пятого класса в казахской школе, пока наша семья не переехала в Грозный. Гостеприимность и щедрость казахов знаю не понаслышке. Родители рассказывали, как их, больных и голодных, раздетых, из товарных вагонов встречали казахстанцы. В своей землянке, размером в тридцать квадратных метров, с глиняным полом семья аксакала Каирбая приютила три семьи чеченцев. Одна корова выкормила 15 человек. Благодаря ей все остались живы. Курт из старых запасов Каирбая-аты спас от голода не только моих родителей. Его вкус вспоминают они до сих пор. Курт был не только лакомством, но и сытной пищей. Так что вы мне не только земляки, но и братья. Приглашаю вас в гости...

Слушая исповедь Гасана, я был горд за свой народ, толерантность и гостеприимство которого оценивается по достоинству другими нациями и народностями, если их представители хоть раз были за казахским дастарханом. И как не вспомнить стихи Бахтыгерая Искакова в переводе Ольги Савельевой:

*Когда в дому полно гостей,
Домбра не замолкает.
Собакам мяса и костей
На много дней хватает.*

*Хозяин высший дастархан
На весь аул накроет,
Как будто гость из дальних стран
Вернулся к нам героем.*

*Всегда готовы показать
Своё гостеприимство,
Казах умеет угощать, —
И этим мы гордимся.*

*Экватор можно обойти
Без денег и без страха,
Если чудом на пути
Встречался дом казаха.*

Лысуха

В конце пятидесятых неподалёку от Мамлютки, у небольшого озера Степное, открылся откормсовхоз "Прогресс". Мой отец, как и многие наши соседи, работал там. С этим хозяйством крепко связано моё детство.

Мне было лет десять и на летних каникулах я подрабатывал на ремонте животноводческих баз. Бригада женщин мазала стены, а я на лошади месил им глину. Был в подпасах. Кроме зарплаты, привлекало то, что за мной, как за взрослым, закрепляли лошадь. Это обстоятельство было главным.

Кроме того, здесь была приличная конюшня... А к коням меня всегда тянуло. Всех их знал наперечёт. Немало было интересных и забавных случаев. Один из них помнится и ныне.



Для объезда многочисленных гуртов крупного рогатого скота моему отцу по штату была положена лошадь, кобыла по кличке Лысуха. Она была неброской стати. Кличку свою, видимо, получила от узенькой белой полосы с детскую ладошку на лбу. В меру была резва. Одинаково хорошо ходила в упряжке и под седлом.

На службу к отцу она попала по неписаным законам судьбы. И по стечению обстоятельств, которые миновать было просто невозможно...

... В тот летний день была отправка лошадей на петропавловский мясокомбинат. На весовой их взвешивали, бирковали и по крутому деревянному трапу загоняли в “ЗИСы” — мощные по тем временам грузовики с высокими нашитыми бортами.

После погрузки водители пошли в контору оформлять проездные документы.

Я проходил мимо одной из машин. Вдруг на мою наголо стриженную голову что-то капнуло. Первое, что пришло на ум — воробей нагадил. Потрогал ладошкой — нет. Поднимаю голову и встречаюсь с огромными фиолетово-карими глазами Лысухи.

Просунув голову через деревянные решётки, она плакала. Крупные, с горошину, слёзы катились по худым скулам, оставляя узенькую блестящую полоску-ручеек. Тогда Лысуха была тощей и больной.

Во мне как будто что-то надломилось. Впервые в жизни я видел, как плачет животное. Не раздумывая, рванул бегом в контору.

— Папа, там, в машине, Лысуха плачет! Не отправляй её! — выпалил я отцу, выписывающему отгрузочные документы.

— Успокойся. Кто плачет?

— Лысуха.

— Какая Лысуха?

— Которая в машине.

— Не может быть, — не поверил отец.

— Ахметович, давай быстрее нам бумаги — ехать надо, — торопил кто-то из водителей.

Будто не расслышав их, отец почему-то пристально посмотрел на меня и поднялся со стула:

— Пойдём.

Так была решена судьба Лысухи. Благодаря стараниям конюха — доброго дяди Вани, через несколько месяцев она превратилась в прелестную лошадку и стала служебным гужевым транспортом моего отца. И мне частенько доводилось быть у него кучером. Горд и счастлив был тогда безмерно.

“Крес на крес”...

Как-то на Пасху мой неразлучный дружок и “учитель” русского языка Лёнька Иващенко взял меня с собой славить по немногим христианским семьям нашего татарского края. Он был года на два младше, ниже ростом, щупловат, но напорист.

Для меня, только к семи годам начавшего познавать язык Пушкина и Достоевского, Лёнька был авторитетом непререкаемым.

— Серик, кабшик ал, — сказал мой дружок, прихлопывая рукой по своей холщовой сумке, разукрашенной большими фиолетовыми чернильными пятнами.



Я знал, что он её стащил у сестры-старшеклассницы, а то, что за это получит тумачков, моего друга не пугало.

Его знак был ясен: надо брать с собой сумку. Но у меня такой не было. Зачем, для чего, он не объяснял. Да я бы тогда и не понял. Ибо изъяснились мы в основном жестами, смешивая русские, татарские, казахские фразы. Ташу Лёньку к своей бабушке.

Кстати, она тоже по-русски, как говорят у нас, — “не бельмес”. Но мигом, с помощью больших ножниц она раскроила мешковину и на ручной швейной машинке сшила вещь, подобную той, что висела у Лёньки на плече.

Обход мы начали тогда с семьи Худенко, что жила на соседней улице, за нашими огородами.

— Христос воскрес! — выпалил Лёнька с порога.

Степенно так перекрестился и положил поклон в сторону угла, где за любовно расшитым рушником виднелся лик святой Богоматери. По примеру дружка пытаюсь креститься и я.

— Воистину воскрес! — это уже тётя Поля приветствовала нас.

— А це кто с тобой, Лёнька, крестится? — указывая на меня, спрашивала хозяйка дома.

— Что молчишь-то? Говори, зачем пришёл?

Меня она, конечно, знала, но ей хотелось меня разговорить.

— Крес на крес, совхоз “Прогресс”, — не раздумывая долго, выдал я свой первый в жизни рифмованный экспромт.

Реакция была мгновенной. Тётя Поля от души хохотала, содрогаясь всем своим дородным телом.

— Ой, уморил! Ой, уморил! Крес на крес! Ой, не може! “Прогресс”-то зачем приплёл, зараза ты эдакий? — приговаривала она, утирая цветным фартуком от смеха слёзы и тут же громко сморкаясь в него.

Успокоившись, тётя Поля подала нам пасхальные дары: пышные куличи, крашеные яйца, при этом приговаривая:

— Бувайте здоровы, хлопчики! Бувайте здоровы!

Спрятав в свои холщовки гостинцы, мы с Лёнькой шли к другим соседям. И к вечеру у нас было полно всякой вкуснятины, которой мы потчевали своих домашних...

Как мы похожи...

Как порой похожи мы на своих братьев меньших.

Помню детскую картинку. Наш двор. Лето. Среди разномастных кур выделяется такой импозантный, с яркой окраской петух. Изредка разгребая ногами землю, он горделиво осматривал свой многочисленный гарем. А в другом конце двора среди несушек старались быть незаметными два молодых его собрата. Когда старый петух начинал клевать что-то в земле, они тут же начинали приставать к курочкам и обычно добивались успеха.

Взрослые парни куража ради насильно напоили лохмоногого вином и отпустили. Оно ему явно не понравилось. Раскрыв клюв, он судорожно дёргал шеей, мотал головой, сопел. Немного погода успокоился. Вдруг ни с того ни с сего захлопал крыльями и закукарекал. Да, видимо, не совсем правильно, ибо все курочки дружно посмотрели в его сторону.



Хмель брал своё. Шаткой походкой импозантный кавалер, опустив одно крыло, стал кружиться возле одной из курочек. Та, бросив своё занятие, изумлённо уставилась на старого ухажёра.

Он явно принуждал её к связи. Видимо, пьяных не терпят и куры. Не получив согласия, Петя отошёл от своей избранницы и стал приставать к другой...

Этот эпизод из деревенской жизни я вспомнил недавно. На автобусной остановке. Седовласый, прилично одетый мужчина, явно подшофе, подобно нашему Пете, приставал к женщинам.

Стало грустно: как мы похожи...

Спектакль

Душным июньским днём на одной из улиц меня, спешившего по вечно нескончаемым бранным делам, окликнула старая цыганка в цветастой, накинута на плечи, шали:

— Сынок, угости сигареточкой, родной!

Машинально, не привыкший отказывать в таких случаях, протягиваю ей, открывая, пачку.

— Вижу, хороший ты человек, — не меняя интонации, умело прикуривая и сладостно затягиваясь, продолжила она. — А хочешь погадаю и всю правду про тебя расскажу? Ни копейки не возьму. Не золоти ручку, не надо.

Правды я не захотел. Уже потом её цветастая шаль напомнила мне случай.

В начале девяностых в городе были проблемы с алкогольной продукцией. Водку в магазинах продавали только по две бутылки на человека. Если свадьба — требовали справку из загса, если на поминки — документ из похоронного бюро. Словом, спиртное было в дефиците.

С самого раннего утра у одной винно-водочной лавки образовалась длинная, угрюмо-пёстрая очередь. Жаждающих потушить “горящие шланги” прибывало с каждой минутой. Стояли молча.

Вдруг гнетущую тишину нарушил цокот копыт. Резвая вороная трёхлетка, запряжённая в легкий ходок на резиновом ходу, гарцуя, направлялась прямо к заветному зарешечённому окну.

Сонная, с бодуна, очередь встрепенулась.

— Эй ты, куда, цыган, паскуда, прёшь! — набычившись, встал грудью перед лошадью щетинистый верзила. — Видишь, люди стоят...

— Трр-рр, Машка! — натянул вожжи бородатый цыган средних лет.

Вороная, всхрапывая, встала как вкопанная. Бородач проворно спрыгнул с тарантаса, отошёл слегка в сторону и плетёным длинным кнутом резко, с оттяжкой, полоснул по спине сидящей в повозке цыганки в цветастой длинной шали. Та взвилась свечкой, взвизгнула, залопотала что-то на своём, запричитала, но с телеги не убежала. А цыган умело и неистово полосовал её по спинной части кнутом и громко приговаривал:

— Я тебе говорил купи “Столичную”, а не “Московскую”! Куда теперь я её дену, если не примет магазин! Убью, зараза!

— Эй, брат, — не выдержал какой-то слабонервный из жаждущих, — чо ты бабу-то убиваешь почём зря? Продай лучше нам эту водку!

— И то правда! — прекратив избивание, сверкнув злыми глазами, выдохнул цыган, как будто этого предложения и ждал.



Мужики рванули к повозке. Десятки рук взметнулись к цыганке, протягивая мятые трёшки и пятёрки. В давке кого-то снесли с ног. Не обращая внимания, что его могут затоптать, мужик неистово орал:

— Без сдачи дай мне бутылку!

Вмиг два ящика “Московской”, а это 40 бутылок, были распроданы.

Счастливицы, ошалевшие от радости, на зависть очереди, осторожно прижимая белоголовые бутылки “Московской” к груди, растворились в толпе.

Тем временем цыган сел в повозку, круто, на месте на 180 градусов развернул вороную, хлопнул её вожжами и громко гикнул:

— Н-ноо-оо, пошла, родная!

Кобылка как будто и ждала этой команды. Взяв резво с места, вытянувшись в струну, она расстелилась в красивой рыси. И через минуту перед поворотом на ветру прощально мелькнула цветастая шаль цыганки.

Вопли, мат, ругань, угрозы и проклятия были потом, когда кто-то из нетерпеливых “счастливых”, открыв бутылку, глотнул “с горла” — вместо водки там была... отдающая хлоркой, обыкновенная водопроводная вода...

Спектакль был сыгран блестяще.

“Токал”

Сразу за нашим огородом — озеро, заросшее джунглями камышей. Издавна здесь гнездятся, выводят птенцов и ставят их на крыло десятки видов пернатой дичи. Летом кваканье миллионов лягушек, крики быстрых чаек, гоготанье степенных гусей, уханье медлительной выпи, курлыканье длинноногих красавцев журавлей, криканье юрких уток, посвист шустрых куликов — всё это сливается в единую неповторимую фантазмагорию. Нашли здесь пристанище и гордые пары лебедей, цапель, разных видов казарки.

Рядом с дикими собратьями росла и домашняя птица моих односельчан. В немалом подворье нашего хозяйства были две светло-коричневые утки и крупный селезень с тёмно-фиолетовыми полосками на крыльях. Как-то по весне украдкой, в незаметном уголке старого сарая, утки облюбовали место и сели парить. Недельку селезень был во дворе. Одиночество, видимо, тяготило его. И однажды он исчез.

Дней через пять утром он объявился. Да не один. За ним по протоптанной птицами тропинке семенила маленькая, с рукавицу, Серая Шейка — дикая утка-кряква. Она настороженно крутила головкой по сторонам, готовая в любую секунду взлететь. Только уверенное селезинное “кря, кря”, казалось, успокаивало её.

— Смотри, смотри, — увидев в окно любовную парочку, в усы усмехнулся отец, — токал — вторую жену привёл наш пропавший селезень. Ах, зараза, ах, ловелас старый! Не выходите во двор — спугнёте молодую. Пусть привыкнет.

Тем временем перед дверью сарая утка в нерешительности остановилась. Кавалер её что-то по-своему крякнул и медленно двинулся к двери. За ним покорно направилась и “токал”.

Прошло несколько дней. Ей, видимо, понравилось у нас.

По утрам влюблённые дружно шествовали на озеро, а вечером по тропинке топали домой. Вскоре “токал” тоже села парить под кучей старых



досок, сваленных в углу сарая. Селезень был ей верен. Как истинный джентльмен, сопровождал её на кормёжку, отгонял от неё любопытных кур. Своих старых подруг он уже не замечал.

Флегматичный наш селезень ещё больше изменился, когда “токал” впервые вывела из-под досок восемь тёмненьких, с жёлтыми пятнышками утят. Любовь к Серой Шейке, ежедневные семейные хлопоты заметно активизировали его. Он явно сбросил в весе, стал энергичен и подвижен. Смело, шипя, бросался, распластав крылья, на своих старых друзей — нашего пса Майтабана или на кота Барсика, когда они близко подходили к его семейству. Такое за ним раньше не замечалось.

Утята росли быстро. Днём родители водили их на озеро, а вечером, как по расписанию в одно и то же время, возвращались домой. Интересно было за ними наблюдать. Старые наши ути свои выводки водили вместе. А строй утят “токал” селезень возглавлял сам.

Близилась осень. “Токалята” заметно подросли и вскоре начали вставать на крыло. Всё-таки природа берёт своё. Объединившись в стаи, водоплавающая дичь на озере делала пробные облёты. В их числе была со своим выводком и наша Серая Шейка. Селезень так летать не мог. Это его явно тяготило.

Однажды вечером с озера он вернулся один. Поникший. Отказался от насыпанного в корытце зерна. К прежним подругам не подходил — держался особняком. На озеро не ходил. Спрятав клюв под крыло, подолгу простаивал в сторонке.

Прошло несколько дней. В обеденное время вдруг, как обычно, строем, “токал” ввела во двор своё потомство. Уточки были удивительно похожи на мать. Различить их мог только их отец, наш старый селезень. Это надо было видеть. Он радостно и часто закрывал, задёргал головой, перебирая лапками... Не менее говорливы были и остальные. Но не прошло и пяти минут, как стая, словно по команде, подняв во дворе облако пыли, взмыла в небо. Надсадно-тяжело замахал крыльями и наш селезень. Сил хватило ему перелететь только через низкий забор. Грузно упал в бурьян.

Тем временем стая совершила прощальный круг над нашим домом и вскоре, набирая высоту, исчезла за крышами соседних домов.

Селезня на месте падения я нашёл мёртвым...

Майтабан

На мокрого, дрожащего от холода, размером с рукавицу, щенка в темноте дождливой осенней ночи Кабиден чуть не наступил ногой. Пожалев живую тварь, завернул его в подол брезентового дождевика и принёс домой.

— Какая же это безжалостная душа выбросила его на верную гибель в такую погоду? А может, заблудился? — ворчал он, отряхивая в сенках от дождя верхнюю одежду.

Тридцатилетний Кабиден, мой будущий отец, был единственным оставшимся в живых сыном у престарелых Ахмета и Тортай. Они беззаветно любили своего последыша-копая и, естественно, строили планы его женитьбы, негласно подыскивая подходящую невестку из хорошей семьи. Выбор был. Одна из них весной должна была войти в дом Ахмета долгожданной снохой. И сваты были хорошие. А это обстоятельство было немаловажным, если не главным.



Старики были суеверны и любое малозначимое событие в семье соотносили с добрыми знаками предстоящей свадьбы. По крайней мере им очень этого хотелось. Поэтому найдёнышу они были рады и тут же, словно сговорившись, назвали его Майтабаном, дословно — “масляная подошва”, а в вольном переводе “счастливая нога”.

— Ойбай, Тортай, налей в кумган скорей тёплой воды и подай мне наш медный тазик, — командовал Ахмет, стараясь особо не показывать проснувшиеся вдруг родительские чувства: сын вырос, пора бы и внуков нанять. А тут какой-никакой, а детёныш.

— Ишь ты, папаша нашёлся, — отвечала ему между делом Тортай: — Посмотрю как завтра своих-то внуков будешь купать!

— О, Аллах, дай мне возможность только и заниматься воспитанием внуков всю оставшуюся жизнь!

Вот такова история появления в нашей семье Майтабана. И вправду сбылись молитвы стариков, как и планировали: вскоре Кабиден женился. Моя будущая мама Жамал пришлась ко двору моим предкам: пятерых внуков подарила она Ахмету и Тортай. И эту радость они связывали с появлением в их доме Майтабана. Поэтому он рос вольным. Беспородный пёс был смышлёным и добрым охранником. Ребятишкам он позволял всё. Мы ездили на нём верхом, запрягали его в санки, катал он нас на буксире на лыжах. Забавных случаев с ним было немало, но особенно запомнился один.

Через улицу жили старики Тлямовы. Дед Нуратай со своей старухой держали корову. Летним вечером бабка, просепарировав молоко, крынку со сметаной поставила в кладовку, дверь которой закрыть забыла. Этим и воспользовался Майтабан. Воришку за лакомством сметаной бабка застукала на месте преступления. Он был близок к завершению своего пиршества. И когда старуха огрела его клюкой, Майтабан рванулся, а вытащить голову из крынки не смог. И метался он, тыкаясь во все стороны. Хозяйка, несмотря на возраст, оказалась проворной. С головы метавшегося ослеплённого пса она ловко сняла посудину. Крынка была спасена. А белоголовый Майтабан, с капающими остатками сметаны, рванул из кладовки вон...

Завтра будет утро

Моему младшему внуку Руслану три годика.

Зима. Ночь. Мягкий свет абажура. Готовимся спать, а Руслан традиционно прибегает в нашу спальню понежиться в постели. Ложится под одеяло между аташкой и апашкой, смотрит в заоконную темень ночи и, удивлённо разводя ручонками, восклицает:

— Опять темно! Опять ночь! Опять спать!

И через секунду, натянув одеяло до подбородка, поблёскивая карими глазками, серьёзно вздохнув, утверждал:

— А завтра — утро!

И тут же, с хитринкой, вопрос:

— Правда, аташка?

Он знает мой ответ, он уверен, что я ему скажу:

— Да, правда, мой золотой. Завтра обязательно будет утро...



Борис ЩЕРБАКОВ

В час Луны

Так уж устроено, что только солнечный свет открывает нам все прелести мира. Вечер — время перемен: гаснут цвета, меняется настроение, лёгкая тревога вселяется в сердце. Ночь — что обратная сторона Луны: загадочна и “чужда”, необъяснимо волнующая. И всё это с невероятной силой переживаешь в час Луны в отдалённых горах Монрака — хребта, “залёгшего” между зайсанскими далями и Чиликтинской долиной. Учёные относят его то к Сауру, то к Тарбагатаю. А он и сам по себе интересен... Всё это нашло отражение в казахских преданиях и легендах об этом хребте.

Есть у хребта ещё одна странность, которая с особой силой проявляется в лунные ночи. Но, прежде, в минуты заката, когда солнце коснётся гористого горизонта Тарбагатая, островерхие, крутобокие горы Монрака на глазах меняются: вспыхивают то лиловыми, то голубыми, то сиреневыми красками. И в этот прощальный час, когда день уже за порогом, горы хребта обретают фантастическую контрастность и поселяется здесь особый, ни чем не связанный с нашим временем, мир... Наступает момент, и сползающее багровое светило выплёскивает последние лучи на его вершины, и тогда, словно огненные языки, клиньями врезаются они в синий бархат потемневшего неба. Угольно-тёмными становятся провалы и ущелья. Нельзя не вспомнить горную палитру Рериха, с её необыкновенными, но правдивыми красками. Несомненно, что великий художник “отливал” в картины свои горы в часы заката или на восходе...

Так было и в этот вечер: солнце уже исчезло, сумрак завалил ущелья и теснины. Горы в ожидании близкой ночи настроились на тишину и покой. И мир оказался на стыке времён, когда особенно ощутима вечность.

На каменистом склоне, среди ковылей и полынок, я сбросил лёгкую походную ношу и разложил небольшой костёр. И как только языки его лизнули вечернее небо, на горе объявился фантастический образ красного всадника на красном коне, опалённый багровым светом. Лошадь “красного всадника”, сухо стуча копытами, остановилась около. Фантастический образ его померк. Всадник — аксакал, каких можно встретить повсюду в казахской степи. Поздоровались.

— Давно тебя смотрю. Что делаешь?

Звали его Мукаш. Это был известный здесь местный табунщик.

— Лошадей пасу. Здесь, — он кивнул головой в сторону, откуда приехал. — Табун у родника. — Он сбросил притороченные к седлу нехитрые пожитки и стреножил лошадь. Чукнул на неё, слегка ударив камчой. Лошадь неуклюже, с трудом передвигая ноги, медленно пошла к своим.

— Ночевать будем? — спросил он.

— А чего, вдвоём веселее, — принимаю предложение.

Мукаш — стар и сед. Всю жизнь прожил здесь, в горах, — на кыстау, на джайляу... Дети давно разъехались по городам, а он и сейчас живёт где-то недалеко в чабанской избушке.

— Давно тебя вижу. Сижу, наблюдаю, — говорит Мукаш, — что здесь делаешь? Один зачем ходишь?

— Ты же тоже один. И ничего...



— Я не один. Я здесь родился. Здесь мой дом... В этих горах могилы моих предков... А ты зачем?

Разговор наш затянулся. На расстеленную газету выставляю паштет, сухари, сахар... Мукаш вынимает из мешочка и бросает на "стол" запашистые, пропитанные бараньим салом лепёшки — чильпеки.

— Твоя еда нехорошая... Чильпеки, курт ешь? — спросил он. — Когда курт ешь, кушать и пить не хочется... Полезный очень — из молока овцы, козы и коровы. Вкусно и хорошо... Курт ешь если — кишки болеть не будут.

Время от времени Мукаш прерывал разговор, вслушивался... за сопкой слышался храп и короткое ржание...

Он вынул из свернутой кошмы небольшой мешочек, туго перевязанный сыромятным ремешком. Развязал его и вытряс на наш импровизированный стол с десятков круглых, похожих на теннисные мячики, каменистых шариков. Я взял один из них и прикусил. Но не тут-то то было: зубы тупо скользнули, и во рту только кисловато-молочнистый привкус.

— Ты пошто так ешь, не видел никогда курт?

— Ел, как же.

— А чего зубы ломаешь?

Мукаш теперь по одному шарiku клал на плоский, не остывший ещё от зноя камень, и осторожно бил по нему другим: курт рассыпался, издавая глухой звук, — "ках-ках...". В нос ударил свежий, кисловатый запах.

— Теперь давай тёплый кипяток, — показал он глазами на чайник. Тут же он насыпал в кружки мне и себе беловатой "дроблёнки" и перемешал.

— На, пей!

Мы пили нечто тёплое, напоминающее густое кислое молоко, отдающее солнцем и ветром.

— Ешь всегда курт — будешь крепкий и ходить хорошо будет. Так всегда делали мои предки...

— А ты что так всегда и пасёшь здесь лошадей? — спрашиваю.

— Да, всегда. Только завтра родственник будет пасти. Потом снова я...

Из-за гор выплыла громадная луна и в упор смотрела на нас. Свет её был настолько ярким, что без труда можно было читать мелкие заголовки на разостланной газете. Теперь время от времени жидкая борода моего собеседника стеклянно вспыхивала. А сам он в "степной" позе — с подогнутыми под себя ногами, походил теперь на сказочного Хоттабыча. Я огляделся: маслянисто, словно подсвеченные изнутри, светились скалы и осыпи. Но по-прежнему черны и тревожны были ущелья. Мёртвый свет поглотил теперь весь этот мир — от макушек скал до самых далёких звёзд.

Мукаш оказался на редкость неразговорчивым. И хорошо: так хотелось насладиться тишиной и покоем наступившей ночи, послушать таинственные голоса...

Окончив чаепитие, аксакал аккуратно расстелил кошму, подтолкнул под голову седло и лёг на спину с запрокинутыми за голову руками. Молча и сосредоточенно глядел он в далёкие золотистые небеса, словно видел их в первый раз; о чём-то думал, шевелил губами и снова жадно вглядывался. Мне вдруг показалось, что он видит там нечто мне неведомое. Я тоже прилёг на спальнике, и мы оба молча смотрели в звёздные дали. О чём думал старый табунщик, осталось загадкой. Как он — старый степник и кочевник, выросший под этим небом, — воспринимает его?

Над пустынными горами плыла чудная тёплая ночь, обнажая далёкие звёздные миры. Ночи такие бывают только в настоящих больших пустынях.



Угасая, костёр постреливал, и тогда жарко зыркали из-под серебристого пепла огнистые глазки последних угольков.

Призрачный свет обнажил в этот час совсем другой мир. Очаровательный и тревожный. Всё стало неузнаваемым — скалистые сопки, поникшие травы... Смоляные провалы и щели, густо-чёрные, как тетеревиный хвост, пугали. У спящих скал, у ручейка стоял тонкий золотистый дымок. Феерический свет размывал очертания гор, и казалось, что это подводный мир, в глубинах которого таится напряжённая тишина, и вечность дышит тебе прямо в лицо. В этот час, когда просыпаются на земле тёмные силы, когда луна вздымает приливы морей и океанов, а кровь, напрягая виски, поднимает лунатиков, и творится на земле в это время что-то колдовское, таинственное... Будто призрачное светило оживляет все спящие днём тайны.

Я смотрю на луну: под золотистой мантией прорисован её мрачный образ. Спокойная, Великая плывёт медленно, оглядывая каждый камешек, сжигая темноту. Но тут же, следом, ползут чернота и мрак. Луна обходила свои ночные владения, наслаждаясь красотой и покоем. На кончиках листьев уснувших трав, на усатых ковылях подрагивал чуткий небесный огонь. Зыбкой вуалью свет её падал на лицо табунщика.

Всё было красиво и тревожно, когда тишина — закон, а молчание — необходимость. И нет, пожалуй, другой звезды или планеты, способной создавать настроение скрытой печали и лёгкой скорби, как может это луна. Мир остановился: не плывут облака, спят ветры, недвижно серебро ковыльных разливов... Горы мутны как затонувшие корабли в глубинах времени. И всё, на что ни посмотришь, — в тревожном, молитвенном молчании, в глубоком гипнотическом сне.

Мукаш спал. На впавших щеках его угнездилась плотная тень. И только высокие скулы удерживали подрагивающий свет.

Я смотрю на него и спрашиваю себя: "Кто ты? Кто я?.. Зачем мы вместе в царстве заблудших теней?".

Полнокровная луна вспугнула сон мой. Тихо, чтобы не разбудить его, встаю и иду на ближайшие сопки. Обожаю одиноко бродить в лунном свете по диким, безлюдным местам. Сейчас же, когда вокруг совершенно незнакомый мир, лечь и уснуть было бы грешно...

— Ты пошёл? — спросил неожиданно Мукаш.

— Да!

По вершине горы шёл как по острию земли, разделённой на мир света — со стороны луны — и мир теней. Спустился в ущелье, и сразу словно растворился, исчез... И если бы не перезвон цикад, соло одиноких сверчков и печальное урчание жаб, можно было подумать, что оказался не в горах, а в фантастическом сне или на другой планете, с которой сорван скаल्प. А вокруг долины и горы — всё это лунные территории, где есть своё море Дождей и море Жажды, море Облаков и Спокойствия, нет только Океана бурь. Если на Луне есть свои горные хребты, как Альпы, Аппенины, Кавказ, возможно, был когда-то на ней и Монрак. Теперь он здесь — на нашей Земле между Сауром и Тарбагатаем. В это можно было бы поверить, если бы вместо Луны над головой светился голубой шар родной планеты.

Мистика говорит, что в час Луны, когда мерцает "острый блеск гранитов", просыпаются тёмные силы. И сам я не иду, а крадусь бесшумной лисой вместе с моей неразлучной тенью. Но как только прохожу коридорами серебристых теней ближних скал, — тень пропадает, оставляя меня опять в одиночестве.



А луна прямо в лицо, задумчивая, и смотрит омертвевшим взглядом. Всюду покой и печаль... И кажется, нет выхода из этого царства.

Но вот — красные, фиолетовые, синие точки огней из-под тёмных камней (!!) — на меня смотрят восьмиглазые пауки. Как хорошо, что есть хоть кто-то живой. В разломах гор и тишины завелась вдруг говорливая каменка, охнула сплюшка, проскулил монгольский снегирь — обитатель “лунных” ландшафтов... На сердце полегче. Запинаясь о камни, шумя ковыльными травами, тревожа сон спящих камней и чутких архаров, иду к ночлегу. Слышу, как в стороне раскричался, раскудахтался и шумно улетел за соседнюю гору перепуганный кеклик. На душе праздник.

— Ты пришёл? — сквозь сон тихо спросил Мукаш.

— Да!

— Чего ходил?

— Так, любовался горами...

— Ночью чего смотреть? Горы ночью неинтересны.

— Почему ж? Очень даже...

— У тебя светлые глаза, может, тебе и видно всё, — шепчет он.

— А ты разве не видишь своими, тёмными?

— Мне не нужно ходить ночью одному, как каскыр. Я знаю здесь всё, что ты видишь и слышишь днём... Ты плохо знаешь горы, потому подсматриваешь и подслушиваешь... Сейчас можно хорошо спать — каскыра нет. Когда лошади спокойны, табунщик отдыхает...

Я хотел было задать вопрос — почему он так решил, что нет каскыра, но он опередил:

— Я хорошо слышу, слышу, как отдыхает табун.

— Давай спать. Завтра опять день будет жаркий, — говорит он и, передвинув поудобнее седло, перевернулся набок.

Луна опустила ещё ниже — стала ещё больше и ярче. И ещё пуще опалила спящие горы серебристым светом. Подохла ковыли, сильнее позолотила выпуклые скулы на усталом лице моего собеседника, и ещё ярче стала светиться редкая его борода.

В этот полуночный час, час Луны, гипнотический взгляд её крепко-накрепко сковал всё живое. Меня тоже клонило ко сну. “День снова будет жаркий”.

Мелодии старой домбры

За степным увалом, где бежит среди скал и кривых топольников каменистая речка, приютилась старенькая юрта. Войлочная кровля в заплатах, с одного боку — труба самоварная. Жидкий кизячный дымок проливался светлыми прядями, бесследно тающими над чахлой степью.

Гость в степи всегда желанный, всегда ему найдётся место за столом в юрте. Это знает каждый, кто знает казахскую степь. И ещё есть непреложный закон — чем проще юрта, тем приветливей её хозяйин.

В этот час знойного полдня у коновязи, за плетнём, сохли кизячные лепёшки и, отмахиваясь от мошки и слепней, на коновязи стояла лошадь, наслаждаясь отдыхом.

Из-за щелеватой, слегка перекошенной двери юрты выскочил взъерошенный пёс с подрезанными ушами и хрипло залаял... Дверь приоткрылась и показалось женское лицо.

— Ыть — э! — послышался мужской голос: из юрты вышел хозяйин.

— Здравствуйте! Саламатсизбе! — приветствую.



— А, аман-аман, — кивнул головой он и, остановив на мне взгляд, как бы между прочим сказал: — Чего стоишь, айда, заходи...

Сбросив рюкзак у входа, стягиваю сапоги — под ногами мягкая старая кошма.

— Айда, садись, — показывает он на круглый низенький стол, на котором ещё не убрана посуда и прикрытая полотенцем еда. В наспех сложенной печурке сквозь серую золу просвечивали перегоревшие кизячные слитки.

— Шай акель, — мимолётно сказал он хозяйке, которая уже успела всполоснуть и поставить перед нами на стол пиалы.

В юрте всё было привычно, как в каждой другой, затерянной в безмерных казахских степях от Каспия до Алтая: обстановка походная, небогатая, но всё чисто и уютно. У стены — кереге, на деревянном топчане на стопе одеял пирамидой — подушки. В сторонке, под сармаком, небольшой, когда-то зелёный, сундук, обитый крест-накрест полосками схваченной ржавчиной жести. Да ещё волчья шкура и старая, с потёртым грифом домбра с подвязанной к ней кисточкой перьев филина. Да ещё в неказистой застеклённой рамке семейные фотографии.

— Куда идёшь, — спросил хозяин.

— Экспедиция...

— Геолог?

— Нет. Архарами интересуюсь. Есть в твоих горах архары?

— Есть-есть, — кивает он головой, — только мало. Раньше много было. Теперь нет почти...

Просто и свободно завязался разговор. Хозяйка отвернула полотенце: на деревянной тарелке золотисто блеснула горка свежих баурсаков. Жумакан, так звали хозяйку, тут же в большой пиале поставила желтоватый каймак...

Нурбулату — под шестьдесят. Не первым уже серебром тронуты редкие усы; полупроседь в коротко остриженных волосах вспыхивала слюдяными искорками по всей голове.

Несмотря на годы, лёгкая и подвижная Жумакан, с бархатистыми глазами, одетая в красное цветистое платье и вельветовый жилет, быстро управлялась около стола. Серебряные литые браслеты тускло светились на её загоревших проворных руках.

Разговор наш тянулся неторопливо, как и всё, чем живёт и дышит степь: временами он оживлялся и опять своим руслом, тихий, как степной ручеёк, спотыкаясь о мелкие перекатные камешки, усиливал бормотание. Говорили обо всём... Солнце, казалось, нисколько не переместилось, а я будто уже сто лет знал Нурбулата: знал главное — сколько у них детей и внуков, сколько баранов своих и сколько чужих...

— А что, волки есть? — кивнул я на шкуру.

— Волка много, — сказал он, — плохо стало, шибко много волка...

Жумакан всё это время молча стояла у топчана, также молча подливала в освободившиеся пиалы крепкого душистого чая и ловко бросала в него с деревянной ложки каймак: размешивала его и подталкивала — мол, пей. И опять стояла у топчана с пристальным взглядом, словом не обмолвившись, только время от времени вокруг её красивых, чуть уставших глаз сбегались тоненькие складки.

Степь любит разговорчивых. Без беседы здесь жить скучно. И каждый свежий гость интересен здесь. Хозяин юрты, как повелось, жил



законами своей степи и не терял время, чтобы узнать побольше — о городе, о ценах на жильё, на продукты...

— А что жена у тебя такая молчаливая? — спрашиваю.

Нурбулат рассмеялся:

— Так надо. Молчаливая попалась, хорошо... Меньше ворчать будет... — смеётся.

— И так всю жизнь промолчала? — настраиваюсь на шутку, — хорошая жена тебе попалась...

— Зато в руках её хорошо разговаривает домбра, — добавляет Нурбулат. — Когда женился, сразу договорились: если хочет со мной поговорить, пусть берёт домбру и всё рассказывает. А по-другому у меня времени нет. Степь большая, нужно ездить по ней в гости, на сакман... А если слушать женщину, дома век просидишь.

— Да ну его, болтает что попало, — она смешливо глянула на мужа и махнула на него рукой.

— Вот видишь, — он показал на домбру. — А это она, — повёл пальцем на рамку: на старой, чуть подёрнутой желтизной фотографии сидели молоденькие девушки в национальных костюмах, в тюбетейках, украшенных султанами перьев. У каждой в руках домбра с направленными в одну сторону тонкими, схваченными жильными кольцами, грифами.

— Она у меня лауреат, — сказал Нурбулат, — музыкант хороший.

Рассматриваю старое фото: большеглазая Жумакан из всех своих подружек выделялась прямым, открытым взглядом, прожигающим насквозь.

— Красивая! — говорю.

Нурбулат усмехнулся:

— Не знаю, обычная... После свадьбы, — продолжал он, — я ей сказал, у тебя, женщина, свои дела, у меня свои, а домбра — это мужской инструмент.

— Так ты ей даже и через домбру не даёшь слова?

— А зачем, когда женщина молчит, лучше и быть не может, — хитровато усмехается и косит на неё зеленоватым глазом.

— Ой, не слушайте его, старого болтуна... — несмело вновь возразила Жумакан, — когда надо, он у меня по струнке ходит... Любит похвастать, такой и молодым был... Теперь седой, а всё такой же...

И она с упрёком добавила ещё несколько слов по-казахски.

Пьём чай: запашистые, пропитанные бараньим салом баурсаки источают тонкий, свойственный только им аромат.

— Сам-то играешь? — обращаюсь к Нурбулату.

— Мы все играем. Внуку моему пять, а он уже играет. Жалко, пока ещё не приехал в гости. Каждое лето у меня живёт. Музыкантом будет... Казаху нельзя без домбры, это наш национальный инструмент, избранный предками.

— Скажи, Нурбулат, давно голову ломаю, почему у домбры только две струны?

— Не знаю, — шутя ответил он: вокруг его пронизательных глаз залегли шоколадные морщины. — Ты спроси, почему у моей Жумакан глаза чёрные, а у меня как весенняя трава? Тоже не знаю. Думаю, — отвечает лукаво, — казахи считать умели только до двух. Потому и натянули только две...

— Получается, русские, делая балалайку, считали только до трёх?

— Кто знает, может, и так... — смеется Нурбулат.

— А что тогда скрипка, по-твоему?

— О, скрипку делали, наверное, итальянцы, думаю, знали, сколько будет два плюс два. Недалеко ушли...

— У гитары шесть и семь бывает струн... и что?



— Кто мастерил её, совсем грамотные были, только каждый раз ошибались — на одной гитаре натянут шесть струн, на другой — семь. Грамотные, но путали... шесть и семь...

— Арфу, — продолжает он, — придумали, наверное, греки — они-то — превеликие математики: струн столько, что любой грамотный со счёта собьётся. — А если по-серьёзному, не знаю, почему на “одной палка два струна”, и иронически добавил: — Может быть, чтобы лёгкой была при кочевье, и ещё — её такую легко и быстро сделать было степному жителю. Кто теперь скажет... почему?

Нурбулат бережно снял домбру, сел на прежнее место, подобрав под себя ноги, широко расставив колени, и посмотрел вопросительно, словно хотел спросить — “послушаешь?”.

— Конечно, сыграй...

Сосредоточившись, он прикрыл глаза, нагнул стриженую голову, припав ухом почти к пузатому телу домбры, и стал тихо пощипывать, настраивая. Глухо и невыразительно отозвалась домбра на прикосновения его рук, словно со сна.

Но вот Нурбулат подтянул закрутки грифа, поднял её и неожиданно, с яростью ударил по серым струнам. Глухо и недовольно отозвалась домбра, — охнула, как престарелая байбише. Ещё миг, и в волшебной пляске забегала рука Нурбулата по тонкой шее, забилась раненой птицей кисть другой руки над струнами, и тогда помолодевшим голосом залилась она свободно и мелодично, ни на миг не прерывая дыхания и торопливого, утробного пения. И волна голоса её, подобно молодому жеребёнку, что сорвался с привязи на свободу и, соревнуясь с ветром, умчался в необъятную степь. И, казалось, что у домбры не две, не три и не пять струн — звучал целый струнный ансамбль. Руки Нурбулата, не зная усталости, летали по старой домбре и голос её легкокрылой птицей кружил теперь под шаныраком в поисках воли... Ему было тесно...

Нурбулат, не открывая зелёных глаз, покачивал головой, словно усыпленной волшебной мелодией, но руки по-прежнему не знали покоя.

Какое-то особое очарование охватило меня. Картины прошлого степи одна за другой проплывали в сознании. И откуда сила такая, вызывающая из глубины сознания что-то давно позабытое и утраченное? Обежал свежим взглядом своды юрты, нехитрую, но удобную обстановку...

И слышу уже грудные переливы, как воркование горлинки. Они кружились уже где-то над юртой, и было чудо: голос домбры парил далеко в поднебесье — и мелодия сама, без Нурбулата, жила собственной вольной жизнью — звучала печальная мелодия старинной народной песни “Караторгай”. Песня чёрного жаворонка — караторгая — медленно переходила в печальное песнопение снежной пурги, и снова вдруг, неожиданно, рассыпалась песней — джурбая, вернувшегося с зимовий в раннюю талую степь. И ещё перед глазами не исчезли картины весенней степи, как вновь тоскливыми и печальными голосами оживляют даль летящие белыми связками к степным озёрам первые лебеди.

Домбра, казалось, теперь пела и рыдала сама. Мы лишь слушали её живые легенды... И можно б поверить, что всё это сама домбра, если б не гордая голова Нурбулата да огнистый, мятущийся взгляд пронзительных глаз, да ещё его спокойные, быстрые руки... А голос старой домбры — грудной и печальный, словно песня влюблённой, раскрепощённой собственным счастьем, рвался прямо к солнцу. Домбра не умолкала: раскалённая



лихостью и огненной страстью хозяина, — взмахнув, торопливо рассказывала о просторе, бездонных небесах, о страданиях и думах степняка, вспоминала былое кочевых народов Великой степи.

Я понял, что две струны — это не просто, это всё — диалектика мироздания, единое — света и тьмы, добра и зла, любви и ненависти... Она теперь соединяла, казалось бы, несоединимое, и голос и мотив души её делал прекрасным противоречивый, прекрасный мир. Нет, не просто две струны, это два полюса — север и юг, запад и восток... И читаю будто в хитроватых глазах музыканта: "... до двух только считать умел казах, а может, больше и не надо..."

Можно и согласиться: "больше не надо"...

Мелодия вдруг угасла. Я "вернулся" с дальних высот в юрту, но она уже полнится русской, балалаечной мелодией — "Светит месяц, светит ясный...". Перед глазами наши, пристанские завалинки, деревенские посылки... Наши бабушки и дедушки...

Вот тебе и три струны, как три стороны — классический счёт в боевом строю...

Частят пальцы, скачет и мечется кисть, возрождая былое Великой степи, — и слышен уже копытный перебор скакунов — эпическая волна ворвалась в юрту, и зримо представляется летящая конница. Разбивая и расплёскивая тишину, не знающее преград и пощады, мчится из прошлого дикое племя кочевников, скинув кривые ятаганы, с гортанными криками и оскалом. И мчатся навстречу батыры, с обветренными скулами, не знающие смерти, разметав крылья халатов. Вся степь в движении, и летит племя на племя сквозь века, навстречу собственной судьбе...

Много бед и лишений несли с собой пришлые, чужие племена. Хранит всё это память народная, помнят об этом старая домбра, Великая степь и сердце Нурбулата.

— Ай! — вдруг вырвался возглас, не то с болью, не то с восторгом, из груди музыканта. И домбра, словно выплакавшись, поутихла, но не надолго: вновь, с прежней силой заговорила о чём-то... и снова полилась плавная мелодия — "На сопках Маньчжурии". Нет, не двухструнная домбра напевала старинный вальс — пела скрипка с лирической томностью и чистотой. Это было невероятно...

Жумакан стояла, прислонившись к печи, и молча слушала страдания и радости старой домбры. И только широко открытые бархатисто-тёмные глаза выдавали её душевный пыл и скрытую страсть: время от времени в них вспыхивал огневой блеск и грусти, и восторга.

Нурбулат вдруг откинулся назад, домбра ещё раз вздохнула и покорно умолкла... Некоторое время под шаныраком висела непривычная тишина. Говорить не хотелось...

Прежде чем поблагодарить гостеприимную хозяйку и моего "строного" друга Нурбулата, пришлось выпить ещё несколько кесушек чая.

Прощались мы и вправду как старые друзья: Нурбулат велел передать привет семье и друзьям моим. Даже его взъерошенный пёс, со сварливым характером, и тот тёрся около ног моих, повиливая хвостом. Лошадь по-прежнему, опустив ещё ниже голову, вяло обмахивалась жёстким хвостом, погрузившись в полулёгкую дрему.

Смахивая пот с загорелого лица, Нурбулат стоял у низкого плетня, из которого торчали колья с гончарными кринками, похожими на чьи-то уродливые головы.

Вдруг из юрты полилась тихая и нежная, до боли знакомая мелодия — прощального “Полонеза Огинского”. И кто бы представить мог — здесь, в степи, у родничка, среди каменистых сопок — живая мелодия великой классики. Полонез, набирая силу и суровую торжественность, проливался светлой болью и весёлой грустью, о чём-то печалась... Пела снова домбра с глубоким чувством, с болью расставания, то отдаляясь, то замирая. То вдруг вновь накатываясь и возрождаясь... Играла Жумахан...

Молча мы слушали божественный голос простого народного инструмента. Я позавидовал себе сам: уверен, никто не мог услышать этого произведения, обжившего своды мировых театров, в сухой степи у родничка под аккомпанемент поющих степных жаворонков. Всё привычное в необычной обстановке обнажается и с пронзительной силой врезается в самое сердце.

— Скажи, Нурбулат, для чего подвязан султан с перьями филина на твоей домбре?

Лицо его стало серьёзным:

— Домбра эта — подарок моей жене. Она большой музыкант: когда была девочкой-подростком, в её родном ауле аксакалы привязали эту кисточку к её домбре. С тех пор эта домбра называется у нас укуле-домбра. Очень почётное, редкое звание. Это пожелание счастья и удачи юному музыканту в его будущей жизни. У нас это — большая честь музыканту. А я так себе, играю для души, для таких, как ты. Как умею. Внук мой тоже играет...

Мне тут же вспомнился случай давней моей юности: пришёл я к приятелю посмотреть первый раз в жизни телевизор. Год 1959 шёл. С экрана пели артисты, слышать которых приходилось только по радио да с патефонных пластинок. И вот молодой паренёк-казах... Ведущая представила его как музыканта, композитора, поэта-песенника. К тому же сам он, оказывается, прекрасно играл на аккордеоне, баяне, скрипке и домбре.

Было что-то необычное в этом парне: поражала разносторонняя способность, неординарность творческой личности.

Прошли годы. Оказавшись в Алма-Ате, довелось однажды познакомиться со скромным молодым музыкантом, производившим впечатление измученного, тихого... Но вот представился случай, когда он взял в руки домбру. Тонкие его пальцы с молниеносной скоростью запорхали по грифу, затрепетали над струнами, и зазвучали прекрасные национальные мелодии. Но вдруг, трудно поверить, полились одна за другой классические мелодии — “Чардаш”, “Танец Брамса № 5”, “Турецкий марш”, “Полонез Огинского” и разные другие “вещи” из мировой классики.

— Вали, — обратился я, — скажи, а было ли...

Я напомнил ему о той давней телевизионной передаче.

— Да, — скромно ответил Вали, — выступал, было...

Вали Бекенов приехал из Китая в годы великих перемен и лихолетья. Оставив чужую страну, он вернулся на родину. Вали, оказывается, был дворцовым музыкантом у Мао Цзэ-дуна.

И вот теперь здесь, в степи, с новой силой явился мне образ Вали, заново воскрес в памяти, когда я вновь услышал волнующую мелодию полонеза.

И пока я отдалялся от каменистых горушек, от гостеприимной юрты, мелодия не переставала звучать. Пела степь щедрой своей душой; звучали струны человеческого сердца, живущего на этой земле. Это была уже не та мелодия, рождённая в Польше в её мятежные годы. И это был не просто голос инструмента о двух струнах, а мелодия степи, рождённая старой укуле-домброй, вспомнившей вдруг забытую, старую классику.



Адрес редакции: Республика Казахстан, 010000,
г. Астана, пр. Победы, 56 (112), кв. 13.

Телефон/факс: (3172) 39-38-06.

Телефон корпункта в Алматы: (3272) 53-51-12.

Сайт: www.niva-kz.narod.ru

E-mail: gundarev@hotmail.ru

Редакция знакомится с письмами читателей, как правило,
не вступая в переписку.

Рукописи не возвращаются и не рецензируются.

Авторы опубликованных материалов несут ответственность
за подбор и точность приведённых фактов, цитат,
экономико-статистических данных, имён собственных
и прочих сведений.

Мнения авторов могут не совпадать с точкой зрения редакции.

Корректор **Ю. В. Демиденко.**

Набор и вёрстка **Е. В. Дмитриевой.**

Технический редактор **В. А. Богданов.**

Учредители:

В. Р. Гундарев и ТОО «Издательство «Фолиант».

Собственник:

ТОО «Редакция казахстанского литературно-художественного
и общественно-политического журнала «Нива».

Свидетельство о переучёте № 3518-Ж.

Выдано Министерством культуры, информации и общественного
согласия Республики Казахстан 27. 01. 2003 г.

Сдано в набор 06. 12. 2006 г.

Подписано к печати 15. 02. 2007 г. Формат 70 x 100 1/16.

Уч.- изд. л. 20, 00. Тираж 1000. Цена свободная.

Заказ № 222.

Номер набран и свёрстан в ТОО

«Редакция казахстанского литературно-художественного
и общественно-политического журнала «Нива».

Типография ТОО «Жаркын Ко».

010000, г. Астана, пр. Абая, 57/1.